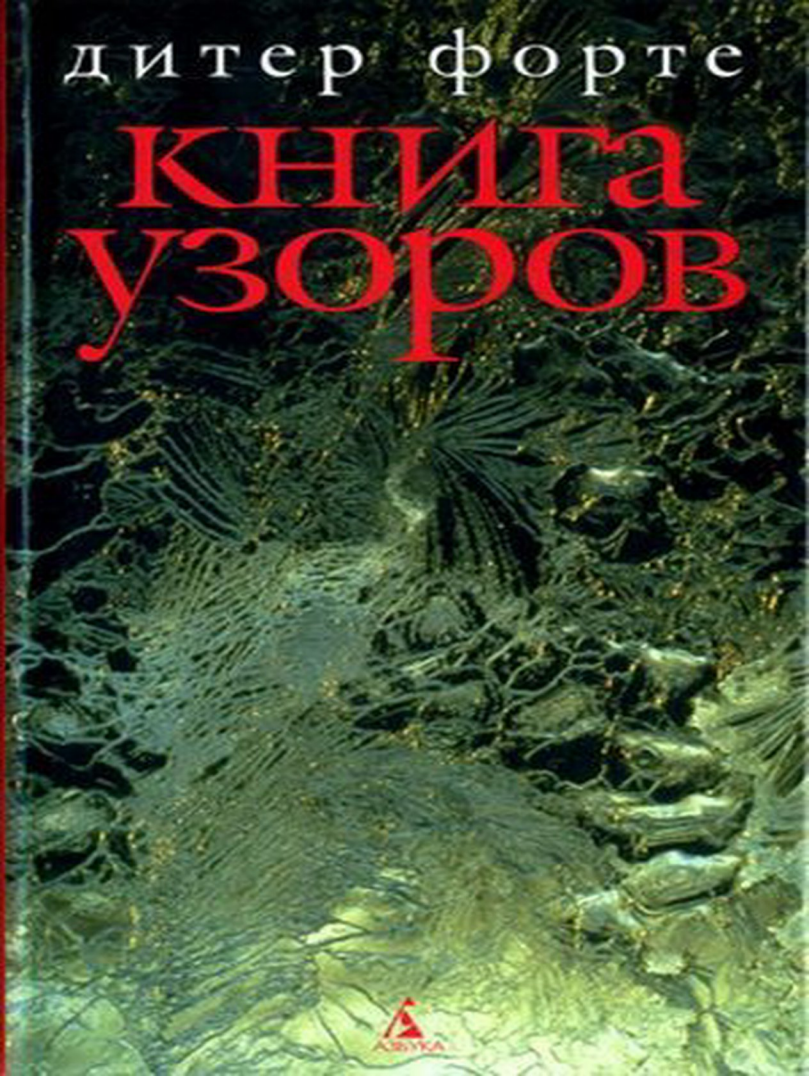
дитер форте

книга узоров



Книга узоров
Дитер Форте

Аннотация
Дитер Форте. Книга Узоров
I. Хроника и события
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
II. Жизнь продолжается
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
III. Время замерло
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Аннотация

Известный немецкий писатель Дитер Форте у себя на родине прославился как драматург и сценарист. Достижения Д. Форте в области литературы отмечены престижными литературными премиями.

Роман «Книга Узоров» встает в один ряд с главными эпосами второй половины XX столетия. Это захватывающее и красивое повествование сплетается в необыкновенный узор из событий и судеб главных героев… Одно поколение сменяет другое, но в каждом есть два неизменно повторяющихся имени: Иосиф и Мария. Эти имена сопровождают нас на протяжении всей книги, придавая повествованию библейское величие и значительность.

Дитер Форте
Книга Узоров

Посвящается Марианне

Переселения народов, которые историограф пытается нанести на карту, идя на поводу у случайных находок из фаянса и бронзы, и которые совершенно непонятны потомкам народов, их создававших.

Божества утренней зари, не оставившие после себя ни изображений, ни символов.

Борозда от Каинова плуга.

Роса на траве в раю.

Гексаграммы, которые обнаружил один император на панцире священной черепахи.

Воды, не ведающие, что они есть Ганг.

Тяжесть розы в Персеполисе.

Тяжесть розы в Бенгалии.

Лица, которые надевает на себя маска, охраняющая зеркало.

Имя шпаги Хенгиста.

Последнее видение Шекспира.

Перо, записавшее удивительную строку: He met the Nightmare and her name he told.

Первое зеркало, первый гекзаметр.

Страницы книги, которые читал заурядный человек и которые открыли ему, что он сможет стать Дон Кихотом.

Багрянец солнца на закате, который живет в критской вазе.

Игрушка мальчика, которого звали Тиберий Гракх.

Золотое кольцо Поликрата, которым пренебрег Гадес.

Среди этих, забытых вещей нет ни одной, которая не отбрасывала бы теперь свою длинную тень и не предопределяла бы то, что ты делаешь сегодня, или то, что ты будешь делать завтра.

Х.Л.Борхес. «Основа»

I
Хроника и события

1

Шли они из Ло-яна в Чан-ан через Лоу Чжоу и Дунь Хуан в Лоп-Нор, минуя пустыню Такла Макан, в Карашар, Кхо-тан и Кашгар, через Памирское нагорье в Ташкент, Самарканд, Хамадан, Пальмиру к антиохийской гавани; бесконечные караваны из дальних стран, везущие с собой старинные предания об императрице Лэй Цзу, которая прогуливалась в своих садах в долине Желтой реки и, спасаясь от напавшей на нее змеи, укрылась на тутовом дереве, а в листве этого дерева маленькие безобразные гусеницы опутывали себя тонкими нитями и превращались в твердые коконы, из которых выскальзывали потом нежные бабочки. Это были предания об одном великом восточном императоре, который носил столь драгоценные одеяния из шелка, что все посольства сообщали об этом, исполненные трепета, а сам император под страхом смерти запретил выносить за пределы империи тайну о шелковице — тутовом дереве и о шелковичной гусенице. В столице империи он на высоких кольях выставлял головы тех, кто нарушил запрет.

2

Ночь была черна, как вода, и по этой воде скользил плоский челнок. Они ждали долго, выжидали в безлунной тишине, а потом проталкивали челнок через топь, опираясь на длинные шесты. Они искали протоки, которые пронизывали болото, на ощупь улавливая руками едва ощутимое течение, шестами проталкивали лодку вперед, если она застревала в иле или в тростниковых зарослях и никак не двигалась дальше, — молчаливая, изнурительная работа под покровом холодной ночи, во тьме, которая не подавала никаких знаков. А если во мгле болота начинало брезжить утро, они забирались на своей лодке в густые сырые заросли и, замерев, дожидались следующей ночи, которая поможет им продвинуться дальше. В этой длинной узкой лодке, которую когда-то сделали своими руками, они сидели, закутавшись в тяжелые, плотные накидки, насквозь пропитанные сыростью; словно безмолвные курганы, сидели они на этих деревянных дощечках, которые были их единственной родиной, и ждали ночей. Ночей, которые защитят их, которые помогут им искать свой путь.

3

Под ярким светом сицилианского солнца в Палермо, прекраснейшем городе мира, как называет его Идриси и как с восторгом пишет Ибн Джубайр, в королевской резиденции самого богатого и самого цивилизованного государства Европы, где высятся великолепные дворцы, церкви, синагоги, мечети, где множество постоялых дворов, купален, лавок, а на оживленных улицах и в садах беседуют между собою на разных языках сарацины, евреи, греки, византийцы, римляне, — там в мастерских норманнских королей сидели ткачи-шелкопрядильщики из Фив и Афин, из Коринфа и Византии. Они соединили воедино искусство византийского шелкопрядения и древнее арабское узорчатое плетение нити, и все вместе выткали из пурпурного атласного шелка большую королевскую мантию с золотым парчовым подбоем. А на ткань они нанесли узор в виде норманнского льва и сарацинского верблюда. И куфическими письменами, сей старинной благородной арабской вязью, написали, что соткали эту королевскую мантию «в году 528-м от Хиджры, в 1133 году от Рождества

Христова, в благословенном городе Палермо». Соткали королевскую мантию императора Фридриха Второго, притчу во языцех, поразившую мир, королевскую мантию Священной Римской империи Германской нации.

4

На Дубовой горе, там, где рос дуб с небывало мощными ветвями, знаменитое старое кряжистое дерево, невозмутимо раскинувшее свои большие и малые ветки и веточки, осеняя собою весь холм, — там, на горе, стоял старик по имени Бородач, который появлялся лишь раз в году, и в полуночном лунном свете широко простирал свои руки. Долго стоял он так, с закрытыми глазами, потом вдруг пронзительно вскрикивал. Он выкрикивал священные заклинания, слова-обереги, неведомые всем остальным, он проклинал Род и Родяницу, пугал их, изгонял их из этой земли.

В свете полной луны на почтительном расстоянии от него безмолвно стояли люди, образовывая большой круг. Это были жители окрестных деревень, у их ног деревянные кадки с пшеницей, медовые ковриги и молодое ягодное вино, ивовые корзины с живыми курами и гусями — жертвенные дары, которые принесли они Сварогу и сыну его Даждьбогу — добрым богам, что повелевали зерну зреть. По знаку Бородача они положили свои дары в середину круга, потом вновь отсту-

пили в безмолвном трепете и стали ждать. Когда забелели утренние предрассветные туманы, они в глубоком поклоне склонились перед первыми проблесками зари, а затем Бородач схватил дубовую дощечку, на которой грубо вырезан был лик Перуна, бога громов и молний, спустился к реке и бросил доску в воду, к берегиням — речным нимфам. Люди, которые толпой последовали за ним, брали длинные шесты от лодок, на которых они сюда приплыли, подталкивали плывущую доску к середине реки и кричали: «Сгинь, Перун, сгинь!» Они не переставая выкрикивали эти слова, пока плывущая дощечка окончательно не исчезала из виду.

Так делали каждую весну, испокон веков, и рассказ об этом передавали из поколения в поколение.

5

В предрассветных сумерках, как гласит предание, незадолго до того момента, когда восходящее солнце озаряло своими узкими лучами тесные улочки города Лукка, можно было видеть, как мессер Фонтана совершал свой ежедневный путь до собора Сан Мартино. Скупым кивком головы приветствовал он статую святого Мартина, который делил свою сводчатую нишу на беломраморном фасаде с каким-то нищим, и, пройдя через портик с вырезанным в камне изображением лабиринта, долго стоял в сумрачном соборе, погруженный в размышления, перед Вольто Санто, озаренной свечами святыней города Лукка, — распятием из ливанского кедра, которое много лет назад выбросило волной на песчаный пляж. А кое-кто говорил, что оно появилось в городе вместе с ткачами-шелкопрядильщиками, которые покинули Палермо после Сицилианской вечери, в пасхальный понедельник, когда после смерти императора Фридриха Второго началось восстание против тирании французов, — покинули, чтобы поселиться в свободной республике Лукка.

Мессер Фонтана, уроженец Лукки, этого древнего города, некогда возникшего на месте города этрусков, был ткачом-шелкопрядильщиком, и в Книге Узоров рода Фонтана можно найти первые записи, сделанные его рукою на греческом языке, который тогда все еще был языком всех ткачей шелковых тканей: «При третьей по счету луне приходит пора обрезать тутовые деревья, и женщины должны приступить к выращиванию гусениц шелкопряда. Продергивай уток через каждую третью и пятую нить основы, измени это число, потом — опять и создай узор, величайший из всех узоров на свете, именуемый парчой».

6

Он выстроил себе на холме дом из торфа, который вырезал и заготовлял все лето. В ближайшей березовой роще он свалил несколько невысоких деревьев, вбил эти сваи в зыбкую почву — получилось прочное, крепкое основание для дома. Стволы дубов, заваленных при строительстве плотины, он перетащил сюда с помощью взятых напрокат быков, обтесал тяжелые бревна, сделав их четырехгранными, положил нижний венец в форме квадрата и так сооружал венец за венцом, подгоняя бревна одно к другому. Щели заполнил торфом, пол засыпал глиной, которую привез ему какой-то крестьянин, и утрамбовал, крышу покрыл соломой, а затем из каких-то бросовых досок сколотил дверь. Потом поселился в этом доме вместе с женой и детьми и всю зиму ждал, не случится ли чего с домом. Дом выдержал морозы, снега и весенние бури — и только тогда он успокоился.

7

Знойными послеполуденными часами Джованни Фонтана, облачившись в свою известную всему городу карминно-красную мантию, любил прогуливаться в тени дубов по городским валам Лукки. В Лукке, граждане которой слыли разумными, гордыми и свободолюбивыми людьми, водился обычай сажать повсюду, где только находилось свободное место, вечнозеленые скальные дубы: на площадях, на плоских крышах башен и даже на городском валу. Вот почему вид на город представлял собой приятное для глаз чередование пятен темной зелени и теплого кирпично-красного цвета крыш. Это была картина полной гармонии, сливающаяся с окружающим ландшафтом. А на валу под сияющим голубым небом гулял свежий ветер, в котором ощущалась близость моря. На горизонте виднелась твердая, слепящая белизна мрамороломен Каррары, а в долине перед ними — ровные ряды тутовых деревьев.

Свободная республика Лукка в Тоскане была столицей шелка, и Джованни Фонтана играл в ней немалую роль. Он был гонфалоньером своего

квартала, предводителем ткачей-шелкопрядильщиков, и вместе с банкирами и торговцами города определял судьбу республики. Шелковые ткани Лукки ценились на вес золота.

В мастерской самого Фонтана, где за шестью ткацкими станками трудились более двадцати ткачей, рождалась густо-зеленая и ослепительно-красная парча с золотым и серебряным узором. Здесь умели вплетать золотые нити узора в шелковую основу прямо во время процесса создания ткани, на том же самом станке, — искусство, секретом которого владели только ткачи Лукки. Шелк и золото обращались в фигуры львов, парами стоящих на задних лапах и обрамленных орнаментом из листьев и вьющихся ветвей. Римская курия была ненасытным потребителем этих дивных изделий, а шелковые одеяния, изготовленные семейством Фонтана, хранились в папской сокровищнице.

Когда он возвращался с прогулки по валу в свой ткацкий квартал, то уже издалека его приветствовал знакомый мерный стук ткацких станков, который отмеривал рабочий день ткача точнее, чем колокольный звон на башне Сан Мартино. В боковых улочках красильщики вывешивали на просушку разноцветные шелковые ткани,

и они сияли на солнце между крышами тесно стоящих узких домишек, расцвечивая переулки причудливой радугой Востока. Перед дверьми мастерской высилось громоздкое сооружение — навой. Нити основы протянуты были через всю улицу, и, пока его сын присматривал за тем, как ведется эта сложная работа, внук, то смеясь, то хныча, сидел на тяжелой мраморной плите, которая натягивала нити и с каждым поворотом навоя чуть-чуть подвигалась вперед.

Он ненадолго заглянул в саму мастерскую, где его дочь вместе с другими женщинами вплетала нити основы с навоя, в те нити, которые позже закреплялись на рукоятях. Работа, которая требовала терпения и концентрации: неверно расположенная нить могла испортить весь узор. Несколько женщин наматывали цветную уточную пряжу на маленькие катушки ткацких челноков, которые затем надо было расположить на станке в точности так, как того требовал узор. Эти приготовления к ткацкому процессу отличались кропотливостью и часто оказывались куда сложнее самого изготовления ткани, поэтому в такие дни в мастерской царило напряжение. Малейшая ошибка могла на много дней превратить ткацкий станок в бесполезный инструмент

и испортить весь заказ.

Поэтому Джованни Фонтана, не проронив ни слова, сразу поднялся по узенькой лестнице на второй этаж, в свою контору, достал из сундука большую тяжелую Книгу Узоров, раскрыл ее и продолжил работу над подробным описанием нового придуманного им узора: на розовом атласном фоне равномерно располагаются заостренные овалы из тонких голубых стеблей вьюнка, которые сетью покрывают все пространство ткани. В овалах — резвящиеся драконы, павлины и единороги. Крылья и хвосты животных и птиц, а также листья вьюнка были столь изобильно украшены золотом, что оно почти полностью подавляло собою шелковый фон. На эту ткань приходило много заказов от королевских дворов Европы, так что работа на ближайшие годы была обеспечена.

8

Его заточили в крепость, потому что он проделал отверстие в плотине, — он хотел, чтобы сохранились благоприятные для нереста рыбы старые донные почвы, которые река каждый год намывала на топкой отмели. Изобилие рыбы, рыба, которую можно ловить руками или бреднем, рыба, которую плотина, перегородившая как раз это топкое место, чтобы защитить землю от воды, вынудила перебраться в самую стремнину реки. Десять лет заточения в крепости — таков был приговор, но рыбак его не понимал. Он не отрицал, что проделал отверстие в плотине, — но ведь и рыба, и он, а вместе с ним и его плоскодонная лодка появились здесь гораздо раньше, и построенная плотина была несправедливостью по отношению к нему и к реке, которой эта плотина навязывала новое русло.

Он умер в крепости. Он был старшим сыном. Его положили в землю под старым дубом, в том месте, которое они выбрали себе под кладбище.

9

— Мы свергли Угуччионе вовсе не для того, чтобы герцогом стал Каструччио. Он хочет сделаться капитано дель пополо. Но он никогда не чтил устав граждан города, а став герцогом Лукки, и вовсе отменит его. Лукка больше не будет республикой. Хорошенький же намечается День святого Мартина.

Джанни Фонтана, внук Джованни, сидел в старом тесном помещении конторы вместе со своим младшим братом Паоло, который только что вступил во владение своей долей в наследстве, и со своей женой Анной, дочерью банкира из Лукки. Это была гордая, красивая женщина, которая даже по будним дням ходила только в шелковых платьях, а свои черные, перевитые золотыми нитями волосы носила как корону.

— Лукка откупится от него, — был ее ответ.

Джанни встал. Он был очень высокого роста, поэтому в тесной конторе ему приходилось все время слегка нагибаться.

— Банкирам Лукки ничего не грозит, их деньги припрятаны далеко отсюда, где-нибудь в Европе, а в Лукке они не держат ничего такого, на что

герцог мог бы наложить лапу. А наши мастерские находятся здесь, и поэтому нас легко поработить.

Анна указала на Книгу Узоров, которая лежала перед ними как главный аргумент, обладающий неоспоримой силой:

— В Книге написано: кто удалится от тутовых деревьев, тот потеряет свободу.

— В Книге написано также: тот, кто вовремя не размотает кокон, потеряет жизнь, — ответил Джанни.

А Паоло сказал, что в Книге много чего написано и нет только одного: там не сказано, куда теперь податься.

Джанни достал какое-то письмо и показал его остальным:

— Венеция предлагает ткачам-шелкопрядильщикам из Лукки собственный квартал на Понте-ди-Риальто. Флоренция предлагает нам немедленное вступление в цеховое сообщество.

Молчание длилось долго. Потом Анна сказала:

— Флоренция совсем недалеко от Лукки. Там тоже растут тутовые деревья. К тому же Флоренция — свободная республика.

Вот так семейство Фонтана покинуло Лукку накануне Дня святого Мартина в 1327 году. В тот самый день, когда ткачи-шелкопрядильщики

обыкновенно устраивали праздник и из года в год соревновались в том, кто вытчет самый красивый шелковый полог для Сан Мартино. В тот день, когда Каструччио Кастракани вступал в свою должность и становился герцогом Лукки. Они воспользовались суматохой в канун праздника, чтобы вместе с другими ткачами выехать за городские ворота, которые предусмотрительно отворили для них друзья. Их дети с фонариками в руках шли впереди, придавая всему обозу облик вечерней праздничной процессии в честь нового герцога. Но за городскими воротами огни погасили, и дальше все двигались уже в полном молчании.

Семья Фонтана оставила в Лукке свою мастерскую, станки, склад готовых тканей и прочее добро. Все, что у них было теперь, — это Книга Узоров, несколько образчиков дорогих тканей да умение ткать шелк.

10

Плоскодонный челнок плыл по реке, которая с тихим журчанием струилась по илистому дну, скрытая ночной тенью деревьев, ветви и корни которых свешивались в воду. Челнок крутило в водоворотах, он то цеплялся за что-то, то его снова несло дальше. Течение реки влекло его мимо топких берегов, мимо песчаных отмелей, его то выносило на стремнину, то тащило обратно: встречные потоки то заставляли челнок стоять на месте, то внезапно отпускали его на волю воли. И так, почти незаметно проходя сложный узор своего непредсказуемого пути, челнок продвигался в ночи, под ясными холодными звездами, которые вспыхивали в воде. Да и сама река текла, подчиняясь звездам, она становилась все шире, течение — все стремительнее, в нее неслышно втекали притоки и каналы, воды дальних гор, она влекла челнок все быстрее и быстрее, а берега отдалялись под неизменным звездным небом.

Какая-то рыбачья лодка поймала челнок у самого устья; юноша, который лежал в челноке, был мертв. Это был сын того сына И его тоже похоронили в земле под старым дубом, где уже

нашли свой покой многие.

11

Каждый год в день их бегства Анна напоминала всей семье о той самой «беседе в Лукке» и о том, как они начинали всё сызнова в сырых подвальных хранилищах шелка во Флоренции, под мрачными сводами, куда доступ сухому воздуху был закрыт, чтобы шелк, когда его будут ткать, сохранял свой вес.

Собственно говоря, во Флоренции не было недостатка в торговцах шелком, которые поставляли ткацкие станки и шелковую пряжу, но и станки, и пряжа оставались собственностью торговцев. Все узоры оговаривались заранее, ткани принимали у ткачей по твердой цене и в жестко установленные сроки. Ткачи, работавшие по заказу для крупных торговых домов, именовали себя малыми мастерами. Они полностью подчинялись своему заказчику и, если не хотели лишиться ткацкого станка, обязаны были держаться установленных узоров и определенных цен. И семейству Фонтана приходилось поначалу ткать пользующиеся спросом флорентийские узоры, сцены из Библии, ангелочков, Мадонну в венчике, инициалы Христа. Раппорты на ши-

роком флорентийском станке приходилось без конца повторять, потом ткань разрезали на полосы, и в таком виде они служили украшением для церковной парчи, их нашивали на торжественное одеяние священников. Но Фонтана не занимались теперь изготовлением платья. Здесь существовало разделение труда, работа делилась на мельчайшие этапы, и каждый выполнял только свою маленькую часть, результат же — прекрасное одеяние — мог увидеть лишь торговец.

Анна, которая, благодаря своему отцу, понимала кое-что в финансах и все больше брала дело в свои руки, управлялась с ним столь ловко, что вскоре у них в маленькой мастерской уже стоял собственный станок. Ниточники, которые все, как один, были родом из Лукки, ибо только они умели работать на луккском филатории — большой, изобретенной в Лукке шелковой мельнице, — регулярно поставляли ей пряжу. Поэтому ночами можно было изготовлять ткани, которые Фонтана придумывали сами. Вскоре возник небольшой кружок постоянных покупателей из числа состоятельных граждан, которых интересовали такого рода изделия. А когда Анна, признав во всаднике, скакавшем во весь опор по их улице, Сальвестро

де Медичи, прославившегося во время восстания Чьомпи, умудрилась набросить ему на плечо кусок золотой парчи, — тогда Фонтана снова сделались самостоятельными шелковых дел мастерами, хозяевами мастерской под названием «Мастерская парадных шелков». Медичи поддерживали партию пополани, которая выступала за демократическую конституцию, и помогали сторонникам этой партии — уроженцам Лукки.

Отныне Фонтана принадлежали к числу флорентийских мастеров, которые благодаря своей искусности довели до совершенства узор с гранатовыми яблоками, превратив пальметты и розетки, обрамляющие эти яблоки, в обширные, сложно переплетающиеся богатые орнаменты, в чрезвычайно трудоемкие золотые узоры, которые они ткали на темно-красном или черном бархате. Многие тысячи нитей с одного навоя, бесчисленные подъемы и опускания уточной нити, ножи, разрезающие шелковые петельки, превращая их в теплый бархат, — и тогда сквозь бархатные ворсинки начинает просвечивать ткань основы, вытканные углубления, в которых внезапно вспыхивает золотой узор, королевские ткани из черно-золотого и пурпурно-золотого парчового бархата, из светлой бархатной голубизны, сквозь

которую прорывается блеск золотой парчи.

12

Меж плавающих комьев земли ему виделся мерцающий слабый свет, это была крохотная щелочка, через которую проникал острый лучик света, и он не понимал, откуда этот лучик. Он не знал, сон это или уже смерть, потому что видел еще и реку, поблескивающую в лунном свете, которая текла так привольно и спокойно, а на ней плот. Какие-то люди жгли на нем костер, смеялись, переговаривались, и он слышал их голоса так близко, будто сидел на берегу. В вечерних сумерках плот проплыл мимо, и те, кто сидел на плоту, закивали ему, узнавая в этом угасающем свете. Между тем стремительно темнело, плавающие земляные кочки отбирали у него воздух, но если он будет дышать, только дышать — и больше ничего, тогда, может быть, они расступятся перед ним и не будут так толкать его вниз, в трясину, в эту тесную тьму, из которой не выбраться никогда, но к которой придется привыкнуть, как пришлось привыкнуть к ночам, которые для кого-то были все равно что день. А ведь ночь означала не только мрак, страх и пустоту, в этом мраке были огни и звуки, были светлые точки, и

они плыли над трясиной, сбивали с пути людей, уводили их к лешим и русалкам, которые по ночам не спят. Звуки из-под воды и из-под земли и огни меж высоких деревьев, звезды, которые видишь все яснее, если всю ночь смотришь в небо, в тот мерцающий свет, что яснее, чем день.

Это был правнук. Он исчез в болотах.

13

Когда Анна умерла, дело уже перешло в руки внуков. Так повелось, что первенца, который наследовал дело, называли Джанни или Джованни, а второго по старшинству всегда называли Паоло. Джанни был человеком серьезным. Трудяга, он дни напролет корпел над новыми узорами, потом испытывал их на станке и переносил на шаблон. От Анны. Паоло унаследовал купеческую сметку, он вел всю бухгалтерию и обеспечивал сбыт тканей. Алессандро, третий по старшинству из сыновей рода Фонтана, которого братья тоже взяли в долю, заведовал небольшим филиальчиком в Ливорно, где расположен был флорентийский порт. Ему нравилось это пестрое бурление жизни, он с удовольствием проводил время среди греков, евреев, арабов, испанцев, голландцев, англичан, которые торговались друг с другом на разных языках, создавали кланы, молились каждый своим богам, как-то сосуществовали. Алессандро придерживался мнения, что искусство торговли шелком приносит больше прибыли, нежели само ткачество. Он обладал бесценным даром: жить в свое удовольствие, не забывая между тем о деле.

Именно он первым узнал, что Козимо де Медичи намеревается перенести Базельский собор 1439 года во Флоренцию. Для шелковых дел мастеров настали золотые времена. Джанни, Паоло и Алессандро во время больших приемов сидели на возвышении в соборном зале и сравнивали ткани и узоры, обсуждали изящный крой платьев — словом, все то, что во Флоренции в те дни не сходило с уст. У себя в мастерской они принимали кардиналов, огромные деньги люди платили тогда только за то, чтобы их обслуживали именно ткачи Фонтана. Шелковых дел мастера сделались на несколько лег королями Флоренции.

Воспоминание это празднество оставило ужасное. Алессандро проявил заносчивость и осмелился рассердить некоего важного господина, не пожелавшего оплатить шелковую ткань: Алессандро оделся в платье из такой же ткани и, намеренно столкнувшись с господином на соборной лестнице, под хохот зевак начал сравнивать качество того и другого наряда, — то был последний день, когда Алессандро довелось смеяться. На следующее утро Джанни нашел его в мастерской заколотым. Алессандро упал навзничь на ткацкий станок, и кровь лилась на красный шелковый бархат, натянутый на станину. После

похорон Алессандро Джанни срезал этот окровавленный кусок шелковой ткани и вложил его в Книгу Узоров, ничего на этот раз не написав.

Вернулись более спокойные времена. Джанни, который отныне ткал для постоянных заказчиков только красные ткани с красным же узором, умер, как и жил, тихо и незаметно, склонившись над Книгой Узоров. Паоло без особого пыла продолжал вести дело, исключительно ради потомков, и через некоторое время его можно было назвать скорее банкиром, нежели шелковых дел мастером. Будучи уже совсем пожилым человеком, он подружился с Беноццо Гоццоли, который получил заказ увековечить Папский собор в придворной капелле Медичи на большой фреске. Поскольку у мастера то и дело возникали вопросы по поводу тканей, красок, узоров, ибо Медичи хотели видеть себя па фреске в самых своих роскошных одеяниях, Паоло часто приходилось с озадаченным видом стоять в шелковых одеяниях мастерской Фонтана на фоне участников собора, бредущих по некоей райской местности. Гоццоли так расставил на переднем плане этих Медичи, словно то были иллюстрации к Книге Узоров дома Фонтана, и Паоло пожелал для себя маленькую копию фрески — «в качестве образца

для заказчиков». Гоццоли исполнил его желание, и теперь картина, которая всему миру известна была только как фреска из придворной капеллы Медичи, висела также, правда в уменьшенном исполнении, в конторе шелковой ткацкой мастерской Фонтана — мастерская эта была по тем временам широко известна. Умирая, Паоло попросил вложить ему эту картину в руки, — но теперь он видел не только торжественную процессию, разодетую в шелк и бархат, в одеяния с золотой канвой и кружевными узорами, — нет, он видел чудесный ландшафт своей родины Тосканы, густую синеву неба, твердую белизну мраморных гор, плодородные холмы, покрытые фруктовыми деревьями и виноградниками, а в долинах по берегам рек — бархатную зелень тутовых деревьев.

14

Встать спозаранку и весь день в мглистой мороси насыпать этот земляной вал, сыпать землю с телег на плотину, чтобы унять эту вспухающую воду, эту взбесившуюся реку, которая, пенясь и вскипая от бессмысленной силы, в ярости тащила за собой деревья, дома, скот… Утонувшие коровы, которые запутались в ветках, захлебнувшиеся лошади в полной упряжи, раздутые тела людей — все это на секунду всплывало, а потом неслось дальше. Корзины с землей они несли на самый гребень плотины, чтобы обуздать, приручить эту реку, чтобы заставить ее мчаться к своему устью, чтобы она обрушилась в море и не затопила деревню — эти маленькие хижины под соломенными крышами, притаившиеся среди жалких садов и полей, вросшие в землю, чтобы защититься от бурь и дождей, которые по ним хлестали.

Когда под вечер плотина не выдержала, беззвучно осев под натиском реки, а река хлынула через пролом, который тут же расширился, и когда вода, как после рассказывали многие, будто бы с глубоким вздохом мгновенно разлилась ши-

роко по всей деревне, — тогда соломенные крыши поплыли подобно блаженным островкам покоя по озеру, а озеро делалось все шире и шире.

Выжили только те, кто стоял на плотине. Мальчик не мог спасти родителей, которые оставались дома и спали. Смертельно усталый, лежал он на земле среди пустых корзин, на островке земли, который остался от плотины, — а самой плотины больше не было, точно так же, как не было больше дома, не было деревни и не было никого, кто жил здесь вместе с ним.

15

Джованни Фонтана, внук Паоло Фонтана, единоличный владелец знаменитой шелковой фабрики на Понте-Веккьо, слыл истинным флорентийцем. Маленький, юркий, всегда скромно и незаметно одетый, раздавая вежливые поклоны налево и направо, он резво сновал между банкирами и менялами на Меркато-Нуово, оттуда спешил к торговцам шелком на Пьяцца-делла-Синьория, а потом — к городским воротилам в Лоджия-деи-Ланци. Чуть подавшись вперед и вытянув шею, всегда чуть-чуть снизу вверх наблюдая насмешливым взглядом суету человеческую, он никому на свете на слово не верил. Непреклонный и хитрый делец, способный торговаться до бесконечности; его побаивались из-за острого языка, когда он честил глупость и предрассудки. И если он договаривался с одним торговцем, глаза его уже беспокойно бегали, высматривая следующего.

Он слыл вольнодумцем, потому что книготорговец Бистиччи собирал для него греческих и римских авторов; знал Данте наизусть, считал богослужение на греческом языке перед укра-

шенным гирляндами бюстом Платона в качестве нового апостола вещью разумной, пылко, но терпеливо обсуждал с каждым встречным форму идеальной республики. На склоне лет стал умеренным сторонником Савонаролы, ненавидел коррупцию — дело рук синьории, которая, не ведя никакой стоящей деятельности, облагала поборами любой самый естественный шаг. Его презрение к властям предержащим зашло так далеко, что он неоднократно отвергал выборную должность в синьории, которую ему предлагали. Он вел себя, пожалуй, даже чересчур умно, ведь, не желая знать, чего от него хотят, он спешил отказаться от этой чести, приправляя свой отказ едкими сентенциями о природе человеческой. Когда Лоренцо де Медичи пригрозил ему изгнанием за его непрерывную критику синьории, Фонтана выразился в том духе, что в республике никому не дозволено иметь столько власти, чтобы он смел выслать другого гражданина из страны, потому что в противном случае ни о какой республике и речи быть не может. Возразить на такой ответ было нечего, но Фонтана заработал-таки два года изгнания, которому воспротивился, укрываясь в течение этих двух лет у друзей вместе со своими книгами и выходя на улицу только по ночам.

Жена, много моложе его, была дочерью художника Гирландайо, который происходил из семьи золотых дел мастера с Понто-Веккьо и помогал семье Фонтана советом при подборе красок для шелковых тканей. Она не только обладала художественным вкусом своего отца, но занималась также и продажей его картин. И до того преуспела в этом занятии, что и другие художники стали передавать ей свои картины для продажи. Поэтому в мастерских Фонтана царила теперь полная неразбериха: картины, офорты, книги, шелковые ткани хранились вперемешку, и большого труда стоило отгадать, чем же, собственно, занимаются в этой мастерской. Так или иначе, на продажу выставлялось все, иногда даже книги из библиотеки хозяина, что приводило к громким скандалам, ибо для него святыней были книги, тогда как жена испытывала это священное чувство скорее к картинам. Фиорентина — а именно так называли ее все вокруг, ибо мнение свое она громко и без малейшего стеснения выражала на флорентийском диалекте, — итак, Фиорентина была из тех женщин, которым палец в рот не клади. Скандалы длились иногда целыми днями. И если в таких случаях в лавку набивались не только соседи, но и ткачи, ведь производство шелка на это время

прекращалось полностью и ткачи бросали свои станки, устремляясь в контору, дабы насладиться зрелищем, — то тогда под вечер все сходились у Донати, который не только держал отменную таверну на Пьяцца-Санта-Тринита, где можно было славно закусить, но был к тому же знатоком книг и коллекционером картин, поэтому здесь, на нейтральной территории, за изобильным столом, можно было прийти к примирению.

16

Хлеб стоял сплошной стеной, так что пройти по полю можно было с большим трудом. Желтое море простиралось до горизонта, сияя на солнце. Колосья налились силой, ведь лето было жарким, — и никакие ветры не могли пригнуть их к земле.

Урожай был столь обилен, что цены в одночасье упали и уничтожили этот урожай, как внезапно налетевшая туча с градом. Кто-то из крестьян начал скармливать только что намолоченное зерно скоту, но большая часть урожая так и осталась на корню, жнецы с серпами стояли у края поля и день за днем ждали, когда явится наконец торговец, который согласится купить хоть что-то. Зерно почернело, отсырело и медленно гнило прямо на полях, жнецы не заработали в том году ничего, не благословен оказался богатый урожай.

И вот, словно наказание Господне поразило землю, на следующий год на полях ничего не выросло, земля отказывалась вынашивать плоды, все колоски были наперечет, и, чтобы не растерять ни одного зерна, хлеб жали не косой,

а серпом.

В этот год хлеба не было вовсе, голод и болезни косили одну деревню за другой, люди тихо и смиренно умирали в своих маленьких бревенчатых избах. Скотина околевала, не дождавшись сена, по ночам раздавался дикий рев голодных животных, и никто не мог их спасти. Деревни обезлюдели, все, кто мог, ушли в чужие края, поля пришли в запустение, плотины обветшали. С весенним таянием снегов пришло половодье, и вся земля погрузилась в воду. Когда солнце вновь высушило землю, на плотинах и на затянутых топким илом полях вновь появились люди.

В тот год первые из тех, кто вернулся назад, в деревню, увидели старуху, сидящую на лавке перед своей лачугой. Она сидела и смотрела впалыми глазницами на поля, щеки ее ввалились. Когда люди дотронулись до нее, старуха опрокинулась, — оказалось, что она была мертва.

17

Джованни Фонтана, который пережил войну и чуму, банкротство торговых домов и капризы рынка и, обладая жизнерадостным нравом, умел находить выход из любой даже самой сложной ситуации, умер от собственной придури — он любил менять возраст как ему вздумается, в зависимости от настроения. Когда ему было сорок лет, он утверждал, что ему уже шестьдесят; дожив до шестидесяти, убеждал всех, что ему сорок; а когда подобрался к восьмидесяти, давал голову на отсечение, что ему будто бы пятьдесят девять. Это привело одного из посетителей таверны Донати в такое неистовство, что он ударил старика. Джованни упал со стула, ударился обо что-то головой и от этого умер.

Он оставил четверых взрослых детей, из которых каждый выбрал свою дорогу в жизни. Старшего, Джованни, которому давно уж пора было взять управление шелковой фабрикой в свои руки, встречали во Флоренции где угодно, но только не в конторе. Он был сорвиголова, ввязывался во все споры о политике, но языком-то молол недолго и почти сразу переходил к ру-

коприкладству, частенько дрался он и за честь своей очередной дамы, — необузданный, курчавый забияка. Но, несмотря ни на что, его все же любили, потому что не кто-нибудь, а именно он завоевал для своего квартала палио, карминно-красный платок с золотыми кистями, отчаянно проскакав через весь город на полудиком жеребце. А такая победа сулила молодому парню во Флоренции непреходящую славу.

Паоло, средний, брат, рано увлекся живописью, которая приносила ему все новые и новые поразительные открытия, был некоторое время учеником Боттичелли, стал пробовать себя как портретист и наконец отправился в Рим, где и умер от чумы.

Франческо, повинуясь воле отца, который никогда не доверял Медичи, еще в ранней молодости поехал в Лион, где организовал филиал мастерской, и этот филиал приобретал со временем все больший вес. Младшая дочь, Леонарда, обосновалась тем временем там же. Она вышла замуж за совладельца одного флорентийского торгового дома, который вел торговлю в Лионе. Поэтому именно Франческо и Леонарде, жившим в Лионе, часто приходилось заботиться о том, чтобы мастерские Фонтана во Флоренции сохра-

нились, ибо времена становились все мрачнее. Сакко ди Рома — разграбление Рима наемниками Карла V — нанесло удар и по флорентийским мануфактурщикам. Моровая язва, непостижимый бич Господень чума, обрушилась на Флоренцию с небывалой силой. Кто не смог укрыться в деревне, тот заперся в собственном доме. Если кому-то приходилось все-таки выходить на улицу, несчастный бежал, зажав в руке пучок целебной травы и прикрыв рот губкой. Никаких празднеств под городскими стенами больше не устраивалось, лавки и присутственные места были закрыты, на площадях хозяйничали шайки грабителей. Фиорентина отпустила восвояси всех ткачей и сама садилась за ткацкий станок, если вдруг случался заказ.

Не успела миновать чума, как у стен Флоренции явился Карл V со своим войском, чтобы навсегда покончить с этой надоевшей республикой. Макиавелли собирал отряды гражданского сопротивления, которые под зелеными знаменами и со строками Данте на устах шагали по улицам. Микеланджело, будучи прокуратором, руководил строительством оборонительных сооружений. Он распорядился снести в предместьях все церкви и монастыри, чтобы расчистить пространство

для обстрела. Осада длилась почти год. Пушки императора разрушили половину Флоренции, люди ели кошек, сов и крыс, они убивали даже собственных детей, потому что их нечем было больше кормить. Восемь тысяч человек умерло, защищая республику, а когда через год защищать было уже нечего, зеленое знамя, на котором было начертано слово «свобода», опустили.

Когда Карл V совершал свое триумфальное шествие по городу, семейство Фонтана укрывалось в собственном подвале, где хранился шелк. Джанни был убит на городском валу пушечным ядром, поэтому главой семьи теперь вновь сделалась Фиорентина. Она получила кое-какие известия из Лиона. Король Франции предлагал шелковых дел мастерам из Флоренции право проживания и работу, освобождение от налогов и привилегии для новых мануфактур. Лион не знал цехового гнета, он был самым крупным местом сбыта итальянского шелка, а по тому, какими свободами и правами пользовались горожане, вполне мог конкурировать с Флоренцией. Шелк и здесь дарил ту независимость и свободу, какими обладали Лукка и Флоренция. Шелк примирял людей разных наций и вероисповеданий. Многие флорентийские ткачи уже обосновались в

Лионе, поэтому не было никаких причин отказываться. Фиорентина передала Книгу Узоров внуку, к которому теперь должно было перейти дело, и, поскольку тайну шелковой ткани опять, как и прежде, под страхом смерти запрещалось вывозить за пределы страны, семейство Фонтана еще под покровом ночи оставило свои мастерские, станки, рулоны шелка, картины, книги, дом вместе с мебелью и утварью, весь скарб и всех друзей и, прихватив Книгу Узоров, несколько образцов шелковых тканей и зашитые в платье флорентийские золотые монеты, в 1536 году в одеянии паломников отправилось в Лион.

В пути они лишились не только золота и шелка — их ограбили разбойники, они лишились и младшего брата, который тайком сбежал в какую-то деревню в поисках хлеба и не вернулся, они потеряли и младшую сестру, которая умерла от истощения; наконец, они потеряли Фиорентину — ее заколол пьяный солдат, когда она не пожелала отдать ему Книгу Узоров, приглянувшуюся ему. Они даже не смогли похоронить Фиорентину, потому что их прогнали прочь, как заблудшую скотину. Когда же ночью они вернулись на то самое место, то в уличной грязи лежала только залитая кровью Книга Узоров.

18

«Польша? Не слыхивали никогда. Это где же такое?» — потешались четверо казаков, перебравшись на конях вброд через реку, которая серебрилась мелкой рябью в лучах утреннего солнца и, незлобливо журча, омывала остров, разделявший ее пополам. На этом острове они ночевали, а потом перешли через реку, проскакали по какому-то полю, топча молодые всходы, и устроили охоту на телят, стоявших за изгородью. С воинствующими криками они закололи телят и уже собрались было развести костер, как тут словно из-под земли явился мальчишка-пастушонок. Он беспомощно стоял перед казаками, размахивал руками, показывал на телят и что-то лепетал про Польшу.

— Где же она находится, эта самая Польша? — спросил старик, который в этот момент махал своей грязной меховой шапкой, пытаясь раздуть огонь.

Пастушонок подумал, а потом рукой обвел землю вокруг себя.

Казаки засмеялись.

Он повторил все сначала и на этот раз уже обе-

ими руками провел вокруг себя круг.

Казаки смеялись.

Мальчишка подумал немного, а потом, стараясь делать все точно, стал показывать на все четыре стороны света — так, как его, видимо, научили. Он показал туда, где солнце всходит, туда, где оно в полдень останавливается, потом туда, где оно заходит, и туда, где его никогда не бывает. Потом, наверное, для того, чтобы все стало окончательно ясно, он показал направления, которые находятся между этими четырьмя основными, повторил все свои движения, а потом обвел вокруг себя защитный круг и назвал его «Польша».

Казаки помотали головами, а старик приставил к груди мальчишки железный вертел.

Тот показал вверх, в голубое утреннее небо.

Казаки снова помотали головами.

Мальчонка стоял перед ними босой, в рваной рубахе, в коротких выцветших портках и показывал теперь вниз, на землю.

Казаки заухмылялись. Один из них подошел к плетню, около которого валялся немудреный крестьянский скарб, взял большую лопату, вложил ее парнишке в руки и сказал:

— Ну, покажи нам, где твоя Польша. Мы ее не видим. Может, она там, под землей?

Мальчонка, которому лопата была явно не по росту, перехватил черенок пониже и начал копать. Он копал молча, торопливо, пригибаясь за горой набросанной земли, словно это был оборонительный вал, который защищал его от казаков.

Казаки освежевали одного из телят и принялись жарить мясо на костре. Уже стоя в своей яме по пояс, мальчонка с мольбой посмотрел на казаков.

Казаки отрицательно помотали головами.

В полдень в яме виднелась лишь его макушка. Он опять глянул на казаков, которые лежа дремали на солнце, и они опять помотали головами. Он копал дальше, и теперь его совсем уже не было видно. Обливаясь слезами, он все копал и копал, хотя вконец обессилел и тело у него онемело от боли. Он все копал и копал, когда совсем уже стемнело и казаки давно ускакали.

На следующее утро крестьяне нашли обвалившуюся в яму кучу земли, а в земле обнаружили засыпанного мальчонку, сжавшегося в комочек, — он был мертв.

19

Жан Поль — так его звали теперь в Лионе — был неразговорчивым, замкнутым человеком, который так никогда и не смог смириться с участью, постигшей Фиорентину. О прошлом у них в доме говорить не разрешалось, и, если кто-то по оплошности все-таки заговаривал о минувших днях, Жан Поль тут же выходил из комнаты. С раннего утра он сидел в конторе, в шелковом берете, шитом золотом, и занимался только одним — разработкой новых тканей и узоров. Все сведения он заносил в Книгу Узоров, которую когда-то торжественно, в присутствии всех членов семейства, вручила ему во Флоренции Фиорентина. С помощью Франческо и Леонарды, которые уже давно освоились в Лионе, ему удалось преодолеть сопротивление тамошних ткачей, недовольных неожиданным нашествием итальянцев. Старая мануфактура Фонтана оказалась отличной отправной точкой; на ее основе можно было с легкостью возродить дело заново, в полном объеме — никто и глазом моргнуть не успел, как члены семейства Фонтана стали полноправными гражданами Лиона, лионски-

ми ткачами, снискавшими всеобщее уважение. Свою роль сыграла и манера поведения Жана Поля, которому не требовалось приспосабливаться к повадкам лионцев, они присущи были ему и без того, они соответствовали всей его серьезной, основательной натуре.

Когда на берегу Соны, на бывшей Суконной площади, которая носила теперь знаменательное название площадь Менял, между каменными столбами натягивали цепи, чтобы освободить место для торговцев, и когда шесть синдиков — совет экспертов, состоящий из двух французов, двух итальянцев и двух немцев, начинал устанавливать обменные курсы, и когда наконец-то под невообразимый гомон собравшихся начинались торги, — вот тогда сразу становилось ясно, что Жан Поль входит в число самых уважаемых торговцев, что все спрашивают у него совета, что его мнение дорогого стоит. Если речь шла о качестве товара, то он был абсолютно неподкупен. Качество ткани он определял на ощупь, он слушал только «крик» шелка, по-французски «кракан», — так называли ткачи этот скрежещущий звук. Этого «крика» ему было достаточно, чтобы вынести справедливый приговор. Когда заключались биржевые сделки, он молча стоял,

всегда на одном и том же месте, которое занял когда-то однажды, и теперь это место по традиции принадлежало только ему. Он стоял поодаль от толпы торговцев, и каждый, кто хотел заключить с ним сделку, знал, где его можно найти. Если у заказчика были серьезные намерения, сделка совершалась без проволочек. На производство низкокачественного товара для вывоза в другие страны он никогда не шел. До компромиссов не опускался. В таких случаях он отстраненно молчал, а потом прерывал разговор, невидящим взором глядя поверх голов других торговцев.

Он принадлежал к числу ткачей, которые неустанно призывали торговое сообщество не только совершать сделки на бирже, но и сажать тутовые деревья, чтобы не зависеть от поставщиков шелка. И вот вскоре из Италии привезли шестьдесят тысяч тутовых деревьев и посадили их по берегам Соны и Роны. Теперь именно Лион стал настоящей столицей шелка.

Жан Поль остался холостяком, вся его любовь отдана была шелку. Он создавал все более и более тяжелые золотые и серебряные ткани, которые умели ткать только выходцы из Италии. Красно-черный, сине-зеленый шелковый бархат филигранной выработки со строгим симмет-

ричным орнаментом из островерхих овалов и цветочных букетов. Заказы на ткани, предназначавшиеся для королевских дворцов Франции, множились, и Франсуа, внук Леонарды, самый одаренный ткач во всем семействе, обосновался теперь в Париже. Ведь король гугенотов Генрих Четвертый не только взял в жены одну из Медичи, но даже посадил в Тюильри тутовые деревья и осыпал привилегиями ткачей, селившихся вокруг дворца, — все это для того, чтобы получать драгоценные ткани, с расточительной щедростью украшенные золотом и серебром, в которые наряжался сам король и его супруга-флорентийка, ткани, которыми обтягивали стены, из которых делали теперь занавеси на окнах, превращая покои дворца в роскошные шелковые кабинеты.

Но все семейство придерживалось единодушного мнения, что с королем надлежит держаться на некотором расстоянии и что производство в Лионе надо продолжать. И все, как один, считали, что вести его дальше должны внуки Франческо. Старший из них, которого прозвали Жан Поль Второй, поскольку он уже довольно прочно держал бразды правления фирмой в своих руках, был женат на дочери пастора реформированной цер-

ковной общины Лиона — общины «гугенотов», как их по непонятным причинам прозвали. «Гугенотство» среди ткачей-шелкопрядильщиков распространялось довольно быстро. И поскольку они издавна привыкли находить общий язык с торговцами самых разных национальностей и религий, то не возникало никаких проблем, когда соединялись католические и реформированные семьи. У них это называлось заключить брак «через дорогу», и такие семьи жили в мире и веротерпимости.

20

Он ясно видел: его дед встал со стула, на котором просидел весь день. Это был его личный плетеный соломенный стул, старик сидел на нем и смотрел в окно на ту самую мель — то была и не суша, и не вода, просто тускло поблескивающий кусок топкой земли, едва освещаемый солнцем.

В полном молчании, к которому уже давно все привыкли, старик встал, разделся, тщательно сложил ветхую одежду, повесил ее на стул, подошел к почерневшему сундуку, поднял крышку, опустил туда часы, которые в последние дни не выпускал из рук, беспрестанно глядя на цифры, в которых мало что смыслил. Те самые тяжелые карманные часы, которые появились у него, когда он, молодой и, понятное дело, совсем еще неразумный, купил их у проезжего еврея-торгаша, отдав за них весь свой сезонный заработок, все, что он заработал за лето на жатве. А часы эти и не нужны были ему вовсе, ведь время-то он определял по солнцу. Он в раздумье стоял перед сундуком, не шевелясь, нагой, старый; ему было холодно на каменном полу, который он сам когда-то выложил из каменных плит, потому что

не хотел хату с глиняным полом. Он нагнулся, отодвинул в сторону засушенный на память свадебный букет жены, подцепил негнущимися пальцами тугую льняную рубаху, которую когда-то принесла в приданое его жена. Рубаху, которую никто никогда не носил, ибо предназначена она была для смертного часа. Жена сама соткала ее из льна и очень гордилась этим, — ибо они хотели сами решать, как будет выглядеть конец их жизни, и не хотели, чтобы их вынесли из дому, завернув в старое тряпье, и так вот бросили в землю. Нетвердо держась на ногах, он натянул на себя рубаху, отхлебнул воды из кувшина, расплескав ее, подошел к маленькому зеркальцу, снял его со стены и разбил, снял с крюка черный головной платок жены и завесил образ Девы Марии, потом взял пеструю тряпицу, которую летом носил на шее, чтобы в жару на поле пот обтирать, когда урожай собирал, повязал ее на голове так, чтобы она плотно прижимала подбородок, перекрестился, отвесил поклон перед небольшим крестом, который висел над кроватью, лег на кровать и умер через три дня и три ночи.

21

Жан Поль, который с годами становился все молчаливее, мог часами стоять в задумчивости у ткацкого станка. Он смотрел и смотрел на медленно, но неуклонно тянущиеся нескончаемые нити основы и сравнивал их с уходящей жизнью; само сплетение нитей основы в единую ткань он воспринимал как знамение судьбы, как предопределение; а нить утка, которую челнок безостановочно вплетал в основу, — как сам ход жизни, когда предназначенное обретает в реальности весьма фантастические, причудливые формы, превращая все дела и усилия человека в определенный узор его судьбы. Этот узор придает всему течению человеческой жизни смысл, направление и форму — другими словами, он создает то, что можно уже называть человеческой жизнью, судьбой. Это жизнь, у которой свой собственный, неповторимый узор.

Связанный обязательствами с другими членами семьи, а также под влиянием пастора Ла Метри, своего постоянного собеседника, он покинул лоно Римской католической церкви, которая посадила Папой одного из представителей рода

Медичи, и, руководствуясь доводами разума и собственным глубоким убеждением, вступил в общину реформированной церкви Лиона. Он совершенно отошел от дел, перестал заниматься делами, в особенности с тех пор, когда ему была доверена казна всей общины, которой он добросовестно управлял до самой своей смерти. Он оставил мануфактуру, когда она была процветающим, солидным предприятием. Ей принадлежало более пятидесяти ткацких станков, она снабжала тканями всю Европу и носила гордое имя «Мануфактура Фонтана».

22

В воскресные и праздничные дни они приходили на кладбище, сидели у родных могил, ели хлеб, пили водку, смеялись, плакали, рассказывали друг другу о минувшем. Это были истории, которые все знали и которые передавались из уст в уста. Они раскладывали возле могил свои немудреные припасы, пили и ели, не забывали и предков своих почтить хлебом-солью, даже стаканчик водки ставили на могилку. Они поправляли завалившиеся кресты, обновляли полустершиеся надписи, рассказывали друг другу истории об умерших, истории, всем давно известные, но обраставшие всякий раз новыми умилительными подробностями, это был их долг перед усопшими, сыновний и дочерний, ведь когда-нибудь и о них будут рассказывать, когда они тоже лягут здесь, возле своих матерей и отцов, бабушек и дедушек, рядом с дядьями и тетками, рядом со всеми прочими, на чьих могилах лежат сгнившие обломки крестов, а земля осела, — в той дальней части кладбища, где лежали те, кого никто уже не помнил, но о ком все знали. Были забыты их имена, и никто не помнил, когда они

жили, но зато все помнили их истории.

Здесь лежал тот, кто когда-то вонзил лопату в голову немца-управляющего, который присматривал за имением своего хозяина-чужеземца откуда-то из Пруссии. Он одним ударом раскроил череп надвое, удар был такой силы, что лопата застряла где-то в грудной клетке. А потом он бежал на лодке по реке, в этой лодке он и был найден мертвым.

Здесь лежала та самая женщина с рыжими волосами, ведьма, которая своим колдовским заклятием и неким таинственным напитком спасла всю деревню от болотной лихорадки. Только она одна и умерла от этой лихорадки, потому что забыла наложить заклятие на себя саму, а напитка ей просто не хватило.

Вспоминали они и историю одного лесоруба, который свалил дерево да вместе с ним случайно и упал в реку и, изрыгая проклятия, поплыл на нем вниз по течению. Там, у очередной переправы, дерево застряло и пустило новые корни. И по сю пору это дерево стоит у берега в воде, а лесоруб так там и остался; долгие годы его скелет преспокойно лежал в дупле дерева. Потом его достали и предали земле на этом кладбище.

А еще рассказывают историю о женщине из

Кракова, у которой было два языка, и она всегда одновременно разговаривала на двух языках. Это была толстуха непомерных размеров, на голове у нее был платок из золотой ткани, а на шее — серебряная цепь, которая свисала до земли. Как только она открывала рот, слышалась речь сразу на двух языках. Поговаривали, что привезли ее какие-то офицеры из Франции, но точно никто этого не знал, знали только, что умерла она у монашек, которые ее и похоронили.

Каждое воскресенье и в каждый праздник пересказывались эти бесчисленные истории, все новые версии этих историй, а в День поминовения усопших, когда вслух произносили имена тех, кто горит в геенне огненной, и все хором возносили молитвы и шли на кладбище с зажженными сальными свечами и в сумерках тянулась туда процессия из блуждающих огоньков, — просыпалась память о забытых, о тех, кто был до них, о людях, которые дали им жизнь, придали ей смысл, о тех, кто лежал теперь в темной земле, а над этой землей с громким криком кружили черные вороньи стаи.

23

Жан Поль Второй, ле-пэр, то есть отец, — в Лионе все называли его только так — регулярно, каждое утро, совершал прогулку по берегу Роны или Соны. Прямой, седовласый, в длинном черном шелковом плаще, в черных панталонах до колен, в черных шелковых чулках и черных туфлях с пряжками, заложив руки за спину, шел он одним и тем же раз и навсегда определенным маршрутом, заглядывая в глаза всякому встречному. Эта прогулка превратилась с годами в нечто вроде публичных приемных часов. Если кому-то казалось, что с ним несправедливо обошлись, или он хотел пожаловаться на непорядки либо что-то предложить, то он без лишних церемоний мог обратиться к ле-пэру прямо здесь. Жан Поль останавливался, выслушивал просителя, коротко кивал ему, а потом молча продолжал прогулку. По прошествии нескольких дней проситель узнавал, что его делу дан благоприятный ход.

Жан Поль Второй заседал в третейском суде торговцев шелком, который разрешал споры о качестве товара. Он входил в правление сиротского приюта, потому что на шелковых мануфактурах

работало множество детей. Дети помогали при подготовке к работе на станке, и потом, когда работа была завершена, они сидели на корточках под станками и подтягивали ремизки, — и в обязанности Жана Поля входило следить за тем, чтобы ткачи соблюдали соглашение с сиротским приютом и не обделяли бы детей, — а они то и дело пытались жульничать.

О своей мануфактуре он почти совсем не заботился. Из многочисленных детей и внуков вновь, как и когда-то прежде, был выбран один, который унаследовал Книгу Узоров, а значит — и право управлять делами, его и называли все так же: Жан Поль, хотя настоящее его имя было другое. Ле-пэр выбрал среди толпы возможных преемников именно его, и вот почему. Он придерживался того мнения, что качеством шелковых тканей заниматься теперь бессмысленно: сделать его еще выше невозможно, оно и без того высоко, и вдобавок появляется все больше мастерских, которые к этому уровню близки. Значит, теперь самое главное — повысить производительность, а для этого необходимо усовершенствовать сложный механизм ткацкого станка. Поэтому он и передал управление тому из внуков, который хорошо разбирался в технике.

Этот очередной Жан Поль — трудяга, изобретатель, который целыми днями готов был лежать под ткацким станком, — благодаря своим познаниям в механике и своей смекалке добился значительного усовершенствования станка. Он изменил конфигурацию приводных ремней, что, ко всеобщему удивлению, позволило создавать совершенно новые узоры. Весь механизм работал теперь более плавно и слаженно, а значит — и полотно создавалось быстрее. То, как теперь работал станок, радовало его больше всего: ему нравилось, когда результат получается быстро.

Жак, который был на два года моложе Жана Поля, второй человек в фирме, у которого, кроме того, была доля в одном из лионских банковских и торговых домов, торговал векселями на всех европейских биржах, пересчитывал кредиты и проценты с различных валют на экю де марк, искусственную условную валютную единицу с золотым эквивалентом, которая применялась в Лионе и существовала только на бумаге, в бухгалтерских расчетах. Она позволяла рассчитывать размеры исков торговцев и фабрикантов друг к другу. Он консультировал многих лионских дельцов по вопросам их доходов, был знаком с биржами Лондона и Амстердама и пользовался

славой расторопного предпринимателя.

Третий брат, которого все называли просто Жанно, редко бывал в Лионе. Он кочевал с ярмарки на ярмарку, от заказчика к заказчику, демонстрируя образцы тканей всевозможных цветов и видов, он являлся как фокусник, снимал перед публикой шляпу, нижайше просил тишины, затем открывал тяжелые альбомы с образцами тканей и благоговейно листал их страницу за страницей, всякий раз заново восхищаясь фактурой и великолепием красок. И только если клиенты склонялись к тому, чтобы сделать заказ, он после долгих колебаний и размышлений разрешал им двумя пальчиками пощупать ткань. «Арк-ан-сьель» — так именовал он эти свои выступления, это означало «показать миру радугу». Сотни маленьких, сияющих красками лоскутков, букеты цветов и орнаменты на тяжелом шуршащем шелке, переливчатый муар, темный велюр, разноцветный жаккард, светящаяся вуаль. Названия тканей он произносил громогласно, и слова эти, подобно торжественной литургии, гремели над головами его клиентов: Étoffe de façonnés à plusieurs chaînes poil, une chaîne de liage; lancés, brochés. Étoffe de soie ombré, façonné: satin liséré deux lats; broché. Étoffe de soie, velours au sabre sur

satin double chaîne. Étoffe de soie à Moire Française.

Лион был королевством шелка, королевством, в котором все двадцать четыре часа царил беспокойный стук ткацких станков. Тысячи ткацких станков в помещениях пропыленных мануфактур, в жилых комнатах, в темных подвалах. Разноголосье станков эхом отзывалось в узких переулках, отражаясь от стен высоких домов: металлическое клацанье ткацких челноков, тяжелые удары батана, весь этот позвякивающий равномерный и вместе с тем тысячекратно прерывистый ритм, который стал для горожан неотъемлемой музыкой их жизни.

Городу удавалось долго держаться на плаву во времена непрерывных религиозных войн, шелковая монополия, биржа, торговые и финансовые позиции города сохранялись до тех пор, пока разум не погиб окончательно. Воцарилась воинствующая вера, которая затягивала все вокруг в свой губительный водоворот. Король послал своих драгун с заданием вселиться на постой к гугенотам и превратить их жизнь в ад, раз они не хотят придерживаться правильной веры. Драгуны громили дома и мастерские, ломали ткацкие станки, вводили непомерные поборы. Тем, кто противился, кто не мог платить или не хотел

переходить в католичество, грозила смерть или по меньшей мере галеры и тюрьма. «Драгонады», то есть драгунские набеги, как прозвал народ эти попытки обращения в другую веру, стали смертоносной напастью, а поскольку ткачи в большинстве своем были гугенотами, потери среди них оказались особенно велики.

Драгуны напали и на мастерские семейства Фонтана, и поначалу тем удалось спасти свои станки от разрушения, заплатив немалую сумму, но, когда потом, в октябре 1685 года, король отменил Нантский эдикт, гарантировавший гугенотам свободу вероисповедания, все погибло окончательно. Ткать шелк и торговать им разрешено было отныне только католикам, гугенотам строжайше запрещалось работать на ткацком станке.

Тишина стояла теперь в Лионе. Ткацкие станки больше не стучали, и поскольку все жители города привыкли к этому звуку, то тишина казалась им угрожающей. Если раньше разговаривать на улице можно было только очень громко, то теперь и шепота довольно было. Ткацкие станки, это сотворенное человеческими руками воплощение вечного, непрерывного, равномерного движения, замерли, окаменев, как и люди.

24

После церемонии бракосочетания в сияющей белизной и золотом часовне, которая стояла теперь на вершине холма под старым дубом, чета новобрачных — Йозеф и Мария Лукаш, как гласила запись в церковной книге, — спустилась с горы к Кладбищу пастушонка, так теперь называли это место. Новобрачные клали цветы, хлеб и соль на могилы, в низком поклоне склоняясь перед усопшими. По дороге от кладбища к деревне толпа друзей и гостей, следовавших за четой, все росла, становилась все пестрее и оживленнее, всякий, кто жил в этих местах, кому хотелось выпить, поесть, посмеяться и потанцевать на свадьбе, присоединялся к гостям. Праздничная процессия сделала круг, ведь, по обычаю, обязательно нужно было один раз обойти всю деревню, прежде чем невеста переступит порог дома жениха. И вот разноцветная задорная процессия, как тугая пружина, со смехом и гомоном начала закручиваться вокруг домов и садов, неуклонно приближаясь к заветному дому, и, когда Янкель решил, что пора начать праздник, он приставил к подбородку свою скрипку, с силой ударил

смычком по струнам, и этот первый громкий звук словно отпустил напряженную скрученную пружину на волю, голос скрипки подстегнул толпу, как удар кнута, и толпа ответила ликующим гомоном, и вся эта процессия, от новобрачных, подошедших уже к своему дому, и до последних гостей, еще поспешающих в чистом поле к околице деревни, — закрутилась и завертелась в неистовом танце, молодые парни подпрыгивали высоко вверх, изгибаясь, как акробаты, молодки летели по кругу, и пышные юбки их вздувались и взлетали вверх, а Янкель знай наяривает, скрипка поет все громче, смычок так и прыгает по струнам все быстрее, быстрее, а змейка танцующих, хохочущих, счастливых, несчастных людей все крутится и крутится, люди, опьяненные танцем, этим вечным движением, позабыли обо всем на свете, нет для них уже ни мук, ни горя, ни дня, ни ночи, вереница людей змейкой вьется мимо жалких избушек, они кружатся в танце в своих самых лучших нарядах, которые всю жизнь приберегали для таких дней, как этот, танцуют, покачиваясь и подпрыгивая, то парами, то хороводом, берутся за руки, вот споткнулись все вместе, подались вперед, но удержались на ногах, крепко ухватившись друг за дружку, а

толпа несет их вперед, она становится все теснее и все закручивается, закручивается, все быстрее вращается эта тугая скрученная нить, увлекая всех и каждого в свой бешеный водоворот, а когда Янкель начинает играть еще громче, еще неистовее, когда скрипка вскрикивает и, рыдая и ликуя, поет славу всему свету, солнцу, небу, воде, земле и всем зверям земным, — тогда люди пускаются и вовсе в безудержный пляс, они словно переходят в жизнь вечную, словно жизнь вечная теперь открылась им в этом неистовстве танца и пения, когда оно длится весь день напролет, и эта вечность все вновь и вновь распахивается перед ними, вечно новая, как на седьмой день творения, жизнь новая, непорочная и вечная, исполненная движения, танца, песни, а Янкель с таким нажимом ведет смычок по струнам, что звук скрипки разносится далеко-далеко, долетает он до соседней деревни, летит над полями и озерами, над одинокими хуторами, до самой плотины на реке, и крестьяне на тех дальних полях и рыбаки на реке слышат звуки этой скрипки и начинают тихо, совсем тихо, едва заметно покачиваться и кружиться на этом дальнем конце спирали бескрайнего хоровода, а в середине хоровода слышен теперь отчаянный топот, стоны, крики,

мельтешащий, зыбкий, угасающий мир, который медленно исчезает в сменяющемся свете дня и ночи, тонет в суматохе танца, где танцоров уже не различить, а они все кружатся и кружатся, пока не повалятся в смертельном изнеможении на землю и не заснут, ничего уже не зная, не слыша и не видя, и когда Янкель опустил свою скрипку, то прошло уже семь дней и ночей, а он-то думал, что всего один день отыграл и одну ночь, но дыхание его скрипки — ее дикая песня еще долго слышалась между небом и землей, и плыла эта песня дальше, до той деревни, где затевался новый хоровод и новая праздничная вереница людей начинала кружиться в бесконечном лабиринте, и все кружилась, кружилась, кружились люди, и кружилась она сама — до самой смерти, до самого рождения.

25

Жан Поль, Жак и Жанно собрались ночью в одном из подсобных помещений мануфактуры, где трафаретчики обычно переносили узор на трафареты, которые служили образцами для расположения нитей на станке. Сотни этих так называемых миз-ан-карт, на которые с помощью маленьких крестиков были нанесены сложные узоры, висели здесь по стекам. Лишь множество трафаретов, соединенных воедино, образовывали узор. На каждом трафарете изображена была только какая-нибудь одна деталь орнамента, цветка, какой-нибудь оттенок цвета. Только опытный ткач мог составить из всех этих деталей осмысленный узор.

Потом, уже в старости, Жанно опишет в письме к потомкам этот короткий разговор. Ле-пэр молча вошел в помещение и с серьезным видом, словно именно он по-прежнему возглавлял фирму, придирчиво осмотрел новые трафареты и, как в прежние времена, высказал свои соображения по поводу узоров. Потом внезапно поднял глаза и сказал усталым, глухим голосом: «Что касается меня, то здесь все просто, я ведь стар. Я останусь

в Лионе. Своей вере я не изменю. Если по этой причине меня откажутся хоронить на кладбище — что ж, земля везде одна. Но вся семья должна покинуть этот город. Здесь царствует могильщик».

Жан Поль, глава фирмы, который должен был принять окончательное решение, тоже считал, что в этом городе у них нет будущего. Лион потеряет свою монополию как столица шелка. Их приглашают в Нидерланды и в Бранденбург. Свобода вероисповедания, освобождение от налогов, привилегии при организации производства шелка. Правда, бежать для них означает полностью потерять свою мануфактуру и в течение нескольких десятилетий создавать ее заново в чужой стране. Кроме того, бегство карается смертной казнью, границы охраняются драгунами, и первые пойманные ткачи-шелкопрядильщики уже попали на галеры.

Жак, банкир, для которого религия мало что значила, сказал, что, мол, почему бы одному добропорядочному гугеноту и не перейти пока для проформы в другую веру, разумеется с тем прицелом, чтобы, согласно существующим юридическим нормам, сохранить на время мастерские, а потом, во благовременье, спокойно

ликвидировать их, проведя капиталы через Женеву или Амстердам.

— И где же все это время будет находиться семья? — поинтересовался Жан Поль.

— В Швейцарии, — ответил Жак. — Женева, Лозанна, Невшатель — города, где говорят по-французски, города, крайне заинтересованные в производстве шелка. Кто знает, вдруг все изменится к лучшему, и тогда можно будет вернуться назад.

Ле-пэр, хмурясь, резко сказал, что не желает, чтобы среди членов семьи были вероотступники. Либо мы все говорим — да, либо — нет. На карту поставлена не только вера, речь идет о свободе мыслить и жить.

Жак сказал, что, мол, это еще вопрос, не является ли вера просто средством для достижения цели. Ведь гугеноты не только ткут самые лучшие шелковые ткани, в их руках находятся все банки, они решают, кому выделять кредиты, именно в их типографиях выпускаются книги и журналы, формирующие общественное мнение, на их стороне ученые. Если в любой деревне вам Понадобился врач, аптекарь, нотариус, не сомневайтесь — все они гугеноты. Это все те же игры, что и с евреями. Опять, как и всегда, предрассуд-

ки бунтуют против разума, ненависть и зависть — против терпимости. На костер каждого, кто не похож на нас, а уж мы приберем к рукам их дома, фабрики и банки, запретим их книги, а поскольку совершить такое можно только именем Господа, то вера для них — желанный гость.

Ле-пэр, который никогда не ввязывался в долгие дискуссии, встал, поставил на место стул и направился к выходу, сказав, что его позиция ясна и ему остается надеяться, что к той же ясности придет и вся семья. С этими словами он покинул комнату.

Жан Поль еще раз всех оглядел, а потом сказал:

— Завтра ночью. Вся семья и все ткачи, которые захотят уйти с нами. Никто никаких вещей с собой не берет. Порога мастерских никто больше не переступает. О деньгах и векселях позаботится Жак. Жанно отвечает за трафареты. Я беру с собой Книгу Узоров и самые важные образцы тканей. Когда забрезжит утро, все должны быть уже за пределами города.

Вот так случилось, что в октябре 1685 года семейство Фонтана покинуло Лион.

26

В том году, когда благодаря молитвам, обращенным к Святой Богородице Деве Марии, их сын чудесным образом исцелился от загадочной болезни, Йозеф и Мария Лукаш совершили не менее чудесное паломничество, они отправились из прусской Польши через австрийскую Польшу в польские земли, принадлежащие России. Они собирались совершить столь дальнее паломничество к образу Девы Марии, исполняя обет, взятый на себя у постели больного сына, а попутно решили навестить брата Марии, который служил священником в Кракове. Они выехали из польских земель, где жили, и проехали через земли короля Пруссии, императора Австро-Венгрии и русского царя.

Странное это было путешествие, ведь хотя все люди, которые встречались им на пути, явно были поляками и говорили по-польски, все равно для того, чтобы выправить необходимые для проезда бумаги и исполнить формальности, необходимые для перехода границы, обязательно требовалось знать по меньшей мере немецкий и русский.

Немецкий язык Йозеф и Мария Лукаш знали, но русским не владели вовсе, и пропали бы окончательно, если бы не помощь сведущего в языках еврея из русской Польши, который вез с собой церковную утварь. Документами ему служила коллекция икон, а валютой — четки всевозможных видов. Дважды их хватали как шпионов, потому что они не могли ответить на непонятные вопросы неизвестно откуда взявшихся чиновников, требования которых были неясны, было ясно одно — они существуют. И только потому, что еврей-переводчик успешно заговаривал чиновникам зубы, подкрепляя свои речи заискивающими взглядами, иконами, четками и разнообразными священными клятвами, призывая на помощь всех своих родственников во всех коленах, Йозеф и Мария смогли продолжить свое христианское паломничество к образу Святой Марии. Потому что иначе эти чиновники, воспринимавшие все польское как государственную измену, с легкостью могли превратить такое вот паломничество — в зависимости от позиции их властей — либо в тюремное заключение в прусской тюрьме, либо в галицийский лагерь, либо в ссылку за Урал. Поэтому передвигались они словно в каком-то лабиринте, то ехали на

телеге, то шли пешком по пыльным сельским дорогам, напрямую через заброшенные поля, под палящим солнцем и дождем, поворачивали назад, если пограничная станция в этом месте была закрыта и никого не пропускали, стороной обходили деревни, где было полно солдат, старались избегать тех пограничных пунктов, где еврею в прошлый раз досаждали таможенники, и зачастую уже не понимали, где они находятся; спали и ели у крестьян, а те бранили паломников, которые тащатся невесть куда безо всякой пользы, с восходом солнца были уже в пути, шли днем и ночью, проходили по местам, где еврей надеялся подзаработать, ворчали, когда шли кружным путем, а еврей утверждал, что этот путь и есть самый краткий. Они шли через затерянные в глуши деревни, которые прятались под прижавшимися к земле крышами и которые издали можно было распознать только по столбам дыма, поднимавшегося из труб, через городишки, где рыночные площади были полны разноголосой ругани между поляками, русскими, немцами, богемцами, словаками, венграми, украинцами, литовцами и евреями, но отнюдь не были полны товаром. Одну тощую кобылу продавали там по нескольку раз, и каждый считал, что совершил

выгодную сделку, но никто ничего не выигрывал. Несколько дней подряд они путешествовали в компании семьи циркачей, которая вела с собой медведя-танцора и сварливую обезьяну. Сын шел по канату, а отец в **это** время ударял в литавры и пританцовывал, и колокольчики у него на ногах звенели, медведь кружился, обезьяна прыгала через палочку, а женщина гадала крестьянкам на картах.

Когда они, пробравшись среди польских, русских и австрийских флагов и многочисленных портретов правителей и миновав Краков, где не нашли брата Марии, потому что он, хотя и был священником, попал в тюрьму за участие в каком-то польском заговоре, — так вот, когда они наконец-то достигли цели своего паломничества — города Ченстохау, как называли его немцы, Ченстохов, как говорили русские, Ченстохова, как говорили поляки, и стали прощаться со своим проводником, обещая поставить за него свечку, еврей ухмыльнулся и сказал, что он за свою жизнь перевел через границу уже множество паломников, и если каждый зажжет за него свечку, то можно запалить настоящий адский огонь — уж больно времена подходящие. Он с присущей ему подчеркнутой вежливостью отвесил им низкий

поклон, улыбнулся своей беспомощной улыбкой и поспешно исчез.

Монастырь Ясна Гора располагался на горе и на протяжении столетий оставался неприступной крепостью, чего нельзя было сказать об окружающих землях. Но и эта крепость в конце концов пала, однако монастырь был еще цел, и ежедневно его заполоняли тысячи паломников, а над их головами сиял темный, почерневший, почти уже неразличимый, но вечно сущий образ Черной Мадонны Ченстоховской. Икона эта была происхождения неизвестного, писана на кипарисовой доске. Одни шепотом сообщали, что она из Византии, другие говорили, мол, из Сиены. Йозеф и Мария не знали этих мест, они не могли представить себе ни Византию, ни Сиену, не знали они и кипарисового дерева, они лишь смотрели на прекрасное лицо Черной Мадонны и молились. Среди всей этой суматохи, среди всей безбрежности жизни, в этом лабиринте длиной в жизнь с его извилистыми ходами, по которым ты идешь исполненный надежды, но никогда не находишь выхода, но по которым идти приходится, в этом безнадежном человеческом столпотворении, где людей несет куда-то как беспомощных котят в половодье, лицо Мадонны было чем-то

единственно незыблемым, единственной точкой опоры.

Когда Йозеф и Мария вернулись домой, в свою деревню, и все непрестанно спрашивали их, как выглядит икона, Йозеф взял уголек и нарисовал образ на куске древесной коры. К великому удивлению самого Йозефа, это ни с того ни с сего получилось так хорошо, что священник купил у него изображение. Йозеф на этом не успокоился, он стал рисовать Мадонну углем теперь уже на деревянных досках, он расцвечивал образ коричневыми и золотыми красками, а крестьяне покупали эти иконы, и так постепенно он сделался иконописцем и стал известен на всю округу. По вечерам он сидел на лавке у печки, рисовал углем на досках и пел. Голос у него был сильный, слышный на всю деревню, да все и любили слушать, как он поет. Йозеф, уже испытавший на своей шкуре, как много на свете беспорядка, стал счастливым человеком, он пел и писал свои картины до самой смерти.

27

Колеса крестьянской телеги глубоко увязали в разъезженных колеях и еще глубже вдавливали в грязь упавшие с воза рулоны ткани и брошенную утварь. На дороге валялся ткацкий станок, который опрокинулся вместе с не выдержавшей тяжести легкой повозкой, а лошади, запутавшиеся в упряжи, кося налившимися кровью глазами, высоко взбрыкивали, пытаясь освободиться. Женщина с распущенными волосами, которые мокрыми прядями падали ей на лицо, бегала вокруг и во тьме выкрикивала чьи-то имена. Маленький ребенок с раздутым животом и безумно бегающими глазами неподвижно сидел у дороги на тележном колесе и тихонько поскуливал. Мужчина упал с телеги, в которую запряжены были быки, лежал придавленный тяжелыми колесами и кричал, женщина зажимала ему рот рукой, обессиленных быков хлестали до крови, они все равно не двигались с места. Оборванные местные крестьяне безмолвными тенями следовали за обозом беженцев, ступая по кромке дороги с обеих сторон, подбирали выброшенные или оброненные вещи тех, кто рвался вперед,

отбирали себе то, что могло пригодиться, дрались из-за дорогих шелковых платьев, грабили увязшие в грязи повозки, требовали за одну упряжку быков по десять, двадцать, пятьдесят золотых. Вдали внезапно раздавались крики людей, которых подкараулили драгуны, там шла резня. И потом снова только сдавленные стоны, проклятья, молчаливая борьба людей, пробивающихся вперед.

Когда повозка семейства Фонтана, дернувшись в последний раз, застряла окончательно, а лошади бессмысленно задергались, вставая на дыбы, все выскочили из нее. Они оставили этот путь, который вел к неизбежной смерти, и побежали, прихватив лишь то, что могли унести с собой, следуя только своему инстинкту, в ближайший, чернеющий перед ними лес, туда, где была твердая земля, где идти было легче, а грабителям и драгунам не так легко было их догнать. Светила луна, равнодушным светом озаряя ветви елей, сияющие звезды подсказывали направление. Пропасти и горные потоки внушали им страх, еловые ветки хлестали по лицу, тяжелая мокрая одежда липла к телу. Они спотыкались и падали, а потом вставали и шли дальше. Наплевать на боль, наплевать на страх, каждый шаг вперед

означал надежду на спасение. Когда забрезжило утро, они наткнулись на стог сена, тонувший в тумане. Когда туман под лучами холодного солнца рассеялся, перед ними открылась синяя гладь Женевского озера.

28

Нести гроб стало тяжелее, воздух пропитан был сыростью, они шли по колено в воде. Халупа, самый сильный из них, первым опустил гроб. Вода на отмели за ночь прибыла, подмыв твердую тропу к кладбищу, прежний короткий путь исчез, топь разлилась, твердая земля отступила.

— Когда мы хоронили Добржинского, тропа была еще цела, — сказал Витек.

Он был кузнец и тоже отличался недюжинной силой. Траурная процессия, которая шла за ними, уже отступила назад, на деревенскую дорогу. Оттуда люди возбужденно махали им руками.

— Двадцать лет ничего с ней не случалось, — сказал Халупа и уселся на гроб.

Януш, по прозвищу Жердь, который запыхался больше всех, угостил товарищей водкой, которую всегда имел при себе. Они пили медленно, то и дело поглядывая на топь и надеясь, что тропа где-нибудь станет видна, но никакой тропы не было, одна только мутная, дымящаяся на жарком солнце вода.

Старый Лукаш, который лежал там, в гробу, уже ничего этого не видел. Что-то кричала с дороги

траурная толпа, но ничего было не разобрать. Халупа, который всегда умел расположиться с удобством, вытянулся на гробу всей своей стопудовой тушей и подремывал. Гроб все глубже уходил в трясину. Халупа был тугодум, он думал долго, но всегда попадал в самую точку, и поэтому, если что важное решить надо было, все ждали, что он скажет. Все следили за его лицом, а он скорчил одну глубокомысленную гримасу, потом другую и наконец изрек:

— Лукаш варил свое пиво. И табак у него был свой — сам сажал. Он четверых детей на свет произвел. И жену его Господь упокоил. Дети все живы. Так что наш Лукаш прожил жизнь как положено. Зачем нашему Лукашу гроб?

Кашек тоже думал. Голова у него склонялась то на один бок, то на другой, наконец и он разродился мыслью:

— Так ведь он уж там лежит, в гробу-то, а без гроба — это ведь грех будет смертный, поди.

— С гробом мы дальше не пройдем, — сказал Януш.

Они еще подумали, и опять глотнули все из бутылки, которую протянул Януш.

Витек предложил компромисс:

— На Лукаше саван справный, все как надо, он

и без гроба хорош будет, давайте гроб-то бросим, тогда сдюжим, а там, на полпути к кладбищу, тропа авось всплывет.

Халупа, который, растянувшись на гробу, рассматривал блеклое небо, безмятежно отметил:

— Гроб-то, кажись, тонет.

— Кто его знает, может, тропа дальше под воду уходит, — сказал Януш, который был трусоват, — тогда ждать нечего, торопиться надо.

Халупа сказал:

— Ну чего, умер так и умер, да и земля везде одна, Бог с ним, с Лукашем, давайте лучше гроб вытащим.

— Он что, без христианского погребения останется? — спросил Витек.

— Вот тропа из-под воды покажется, тогда и Лукаш всплывет, — сказал Кашек, — а в болоте он хорошо сохранится, ничего с ним не сделается. Вот тогда и похороним его честь по чести. У мертвого времени навалом, у Лукаша его и раньше хватало.

Они закивали, соглашаясь, Халупа поднялся с гроба, они перекрестились, подняли крышку, и старый Лукаш внезапно вновь увидел солнечный свет. Они вынули у него из рук образ Черной Мадонны Ченстоховской, который тот

пожелал взять с собой в могилу, достали самого Лукаша из гроба и бережно опустили тело в воду, прислонив голову к какому-то толстому корню, причем в этот момент в горле у старого Лукаша что-то странно булькнуло. После этого они потащили обе половинки гроба по илистой воде назад, к твердой дороге. Все как один понимали, что выбраться отсюда без гроба, за который они держались и который держал их на плаву, им бы ни за что не удалось.

Поскольку они по ошибке притащили с собой и образ Мадонны, написанный еще отцом старого Лукаша, — ведь на самом-то деле они собирались положить образ ему на живот, но черт попутал, и образ оказался в гробу — и поскольку траурная процессия так и стояла на дороге, все в черных платьях, они порешили отправиться все вместе дальним обходным путем на кладбище и без священника, который воспротивился нечестивому деянию, положить образ в вырытую могилу и похоронить Лукаша в его отсутствие.

У могилы они добрый час скорбели, было произнесено много речей, ибо каждый хотел сказать слово и поделиться своим мнением по данному печальному поводу. Затем все развеселились, а когда вечером, распевая песни и поддерживая

друг друга под локоток, они добрались наконец до деревни, могильщик не смог, как положено, засыпать могилу, потому что в ней спьяну улегся толстый Халупа и храпел вовсю. Могильщик, прибегнув к помощи Януша, которого тоже уже нельзя было назвать трезвым, попытался вытащить Халупу из могилы, но Януш тоже свалился в могилу и пожелал улечься спать рядом с Халупой. Могильщик махнул рукой, вытащил из могилы Януша и повел его к себе домой, где они еще как следует выпили. Они долго и подробно рассуждали о том, грех ли это, если могила не засыпана, или не грех, но в конце концов пришли к утешительному выводу, что если самого тела там нет, то какая разница, засыпана могила или нет, — пред Господом они чисты.

Но дело-то все в том, что на следующее утро этот самый Лукаш в длинном саване и с образом Мадонны в руках стоял посреди деревни, а толстый Халупа лежал с выпученными глазами в могиле мертвый.

Старый Лукаш, полежав на отмели в теплой воде, в прямом смысле слова восстал из мертвых и, находясь в сомнамбулическом состоянии, двинулся в путь. Он прошел по полузатопленной тропе и очутился на кладбище, где в какой-то

могиле обнаружил Халупу, который спал, держа в руках принадлежащий ему образ Мадонны. Он вынул из рук у Халупы образ, а Халупа при этом закричал диким голосом. Потом Лукаш пошел по дороге и вернулся в деревню, и теперь ему было холодно.

Все решили, что свершилось чудо. Хотя епископ грозился отлучить от Церкви всю деревню, Лукаша почитали как святого, а тот образ Мадонны стали считать чудотворным. Когда три месяца спустя Лукаш умер окончательно — причем его на всякий случай еще три дня не хоронили, — то не было человека счастливее его.

Раз в год, в тот день, когда он умер и тут же воскрес, целая процессия верующих посещала его могилу, и с каждым годом становилось все больше людей, которые, побывав там, возвращались в свои деревни с новыми силами. Знай это Лукаш, он был бы еще стократ счастливее, ведь не часто удается подарить миру чудо, и разве это не самое большее, что может сделать человек, — подарить миру чудо, свое, особенное, которое ни с чем не спутаешь, чудо на веки вечные, — вот о чем подумал бы тогда Лукаш. Да это и так все знали, все, кто в него верил, все, в кого это чудо вливало новые силы и заставляло гордо поднимать голову.

Благодаря Лукашу они знали, что смерть не столь неотвратима, как им рассказывали, что можно восстать из могилы, из глубокой темной ночи, и жить дальше.

29

Основной поток беженцев устремлялся через Лозанну, Берн и Цюрих в Шаффхаузен, поток поменьше — через Ивердон, Невшатель, Биенн в Базель. В города и деревни непрерывно прибывали люди, их кормили и поили, пускали переночевать, но оставаться здесь им не разрешалось. Другими словами, им помогали, но недоумевали, не зная, что с ними делать. Бесконечные потоки растерянных людей тянулись мимо озер, вдоль цепи Юрских гор, разделялись на рукава, перекрещивались, кружили по стране. Голодные, отчаявшиеся, оборванные люди, одержимые поиском новой родины.

Семейство Фонтана тоже терпело бедствия, их одежда обтрепалась, и вместе с ткачами, которые остались им верны и поехали с ними, они беспомощно метались в поисках прямой дороги в Базель, где у Жана Поля были деловые связи, где жили знакомые владельцы шелковых фабрик и заказчики. У Жака имелось там несколько знакомых банкиров, Жанно во время своих путешествий не раз бывал в этом городе, там была и община гугенотов. Они перебрались через сырые

и мрачные ущелья, в которых текла река Бирс, и сердца их переполнились счастьем, когда перед ними открылась наконец долина Рейна и показались башни Базельского собора.

В Базеле у них впервые появилось чувство, что они обрели пристанище. Жан Поль прежде всего отправился в ратушу, и его включили в список рефюжье, то есть преследуемых за веру. Далее он прямиком двинулся на шелковый двор, который располагался совсем недалеко и чьи внушительные строения привольно расположились на самом берегу Рейна. Здесь Жан Поль надеялся найти кого-нибудь из старых знакомых. Он сразу же наткнулся на Эммануэля Хоффмана, который немедленно позаботился не только о ночлеге для всей семьи Фонтана, но и о необходимом отдыхе после долгих мытарств. Он распорядился о том, чтобы эти усталые, доведенные до крайности люди, бессильно сидевшие на главной площади Базеля, были обеспечены всем необходимым. Из тех ткачей, которые покинули Лион вместе с Фонтана, остались теперь немногие, зато в пути прибились к ним люди со стороны, и все вместе они составляли пеструю толпу случайных людей, жалкие остатки некогда столь славной фирмы Фонтана.

На следующий день Хоффман повел Жана Поля на свою мануфактуру на берегу реки Бирзиг, где он именно в этом году, году великого бегства ткачей, когда произошел разгром шелкового производства в Лионе, основал новейшее производство шелка, которому, как он утверждал, принадлежит будущее. С таинственным видом и с нескрываемой гордостью он показал Жану Полю новый станок, который здесь получил название «ленточной мельницы», — на этом автоматическом ткацком станке можно было ткать одновременно шестнадцать шелковых полотен. Он был сконструирован так ловко, что ткачи вообще больше не требовались, достаточно было обученных подсобных рабочих, которые соединяли порванные нити основы и заменяли негодные катушки. Настоящее чудо техники. Хоффман тайком вывез эту ткацкую машину из Голландии в Базель, а до тех пор она была известна только в Кельне, Страсбурге, Эльберфельде, Бармене и Изерлоне, так что его поступок можно было назвать подвигом. Не иначе.

— Вы там, в своем Лионе, по-прежнему выпускаете тяжелые шелковые ткани, но все эти ваши дорогостоящие узоры, и бархат, и парча — это ведь для королевских дворов, для князей,

кардиналов, для граждан богатых. А она… — и он с восторгом указал на стрекочущую машину, — способна обслужить всех и каждого, да и сырье подойдет дешевое. Достаточно самой простой пряжи, эта машина может работать сутками и выпускать под присмотром сельских галантерейщиков шестнадцать полос ткани разного цвета. Ведь такую может себе позволить всякий. А если переменится мода, машина подстроится под новые запросы буквально за один день. Мы больше не работаем по частным заказам. Мы выпускаем товар для рынка.

— Ну, такую ткань всякий сможет сделать, — сказал Жан Поль.

— Такой ткацкий станок стоит дорого. Мы эти станки сдаем в аренду, они остаются в нашей собственности. Мы устанавливаем их в деревнях вокруг Базеля, поставляем туда пряжу, говорим, какие узоры надо ткать, а потом забираем готовую продукцию. Создание новых видов тканей, планирование производства, сбыт — все это делается здесь, в Базеле.

Они вернулись в живописно расположенный дом Хоффмана и поднялись в комнаты второго этажа, стены которых были затянуты шелком. Отсюда открывался вид на Рейн.

Жан Поль спросил:

— А как обстоит дело в Цюрихе?

Хоффман ответил:

— Там ткут исключительно тафту и камчатные ткани. Производят их за городом, а продавать можно только городским шелковым королям, кроме того, приходится раскрывать все производственные секреты. Если при этом у цюрихских мастеров качество не хуже нашего, то вам придется ехать дальше. — Хоффман пожал плечами. — Все заполонили рефюжье, и ведь в основном это ткачи-шелкопрядильщики. А что, если все они теперь останутся здесь, будут ткать свой шелк, продавать его? До чего тесен оказался мир.

Жан Поль сказал:

— Но мы-то очень хорошие ткачи.

Хоффман ответил:

— И вы очень горды, к вам не подступишься, ведь ваш главный девиз — резисте. Сопротивляться. Что ж, достойная позиция, но в деловой жизни… не знаю…

Жан Поль сказал:

— У нас есть еще и второе качество, оно называется пасьянс гугенотов. Наше терпение. Сопротивление и терпение.

Он посмотрел из окна на пристань, где какое-

то грузовое судно принимало на борт группу рефюжье, чтобы доставить их вниз по Рейну в немецкие земли.

Он был не прочь остаться в Базеле. Свободный город, множество торговцев шелком, в долине Рейна можно было попытаться выращивать тутовые деревья, но только Фонтана не были ткачами-ленточниками. В изрядно потрепанной Книге Узоров, с которой они до сих пор не расставались, хотя пользоваться ею было уже почти невозможно, хранились образцы редкостных тканей с классическим узором.

Судно отчалило, медленно вырулило на середину реки, устремилось вниз по полноводному течению реки и быстро скрылось из глаз людей, следивших за ним с пристани.

Сопротивление и терпение! Ведь они бежали со Словом Господним на устах. Неужели же оно могло увести их с пути истинного?

30

Павел, старший брат Йозефа Лукаша, был неграмотен. Своей земли у него не было, он служил конюхом в господской усадьбе, за это ему полагался небольшой огородик, и в нем он выращивал табак, который холил и лелеял не меньше, чем своих лошадей. Этот табак он приготовлял одному ему известным способом, набивал им свою длинную трубку, ту трубку, которую никогда не выпускал изо рта, которую знала вся деревня, и была эта трубка единственной вещью, которая ему принадлежала.

Как-то на Троицу он был в церкви на воскресной проповеди. Когда священник сказал, что-де Слово Божье — в нас, у него не то чтобы озарение случилось, но просто эти слова никак не шли у него из головы, они просто застряли в ней, как кол. Он никак не мог взять в толк, как это так: Слово Божье — в нем, и поэтому однажды воскресным утром начистил сапоги и отправился в путь — к дому священника.

Священнику было хорошо известно, что Павел со знанием дела только о лошадях говорить может, а со Словом Божьим у него, к сожалению,

похуже дело обстояло, поэтому он указал ему на большую Библию, которая лежала у него на бюро, и Павел углубился в чтение. Павел был потрясен тем, что на каждой странице этой книги, когда ее листаешь, встречаются все новые и новые значки, которые священник называл буквами, но на самом деле они-то и были Словом Божьим, и Павел принялся увлеченно изучать эти странные значки.

Отныне он каждое воскресенье являлся в дом священника, становился возле бюро и читал Библию. Все привыкли к этому, и уже само собой разумелось, что по воскресеньям приходит Павел читать Библию, пока в один прекрасный день Павел, который до сих пор не в состоянии был прочитать ни письмо, ни какую другую бумажку, с серьезным, истовым видом заверил священника, что теперь он понимает Слово Божье. Священник устроил Павлу проверку, он тыкал пальцем в разные места Евангелия, при этом выяснилось, что Павел толкует сумятицу чудесных знаков как-то по-своему, неведомым для священника образом. Павел, с просветленным лицом, читал громко, уверенным голосом на каком-то странном языке, который явно был понятен только ему одному.

Священник прогнал его прочь, но Павел на

этом не успокоился и продолжал проповедовать Слово Божье в захудалом деревенском трактире, откуда его также вышвырнули. Тогда он, одержимый своей верой, стал обходить дом за домом и одну деревню за другой и всюду провозглашал он Слово Божье на своем необычном языке, который так и остался для всех загадкой, а для простых людей он с величайшим терпением и доброжелательностью переводил все на польский язык. Так что постепенно он приобретал все больше и больше сторонников, которые прекрасно понимали Слово Божье в изложении Павла, тогда как прежде оно им не открывалось.

Когда у Павла появилась своя обширная паства и он стал во всеуслышанье проповедовать на деревенских площадях, явился некий чиновник из города и попытался помешать ему во время проповеди, но Павел уже хорошо овладел своим языком и отвечал чиновнику короткими, чеканными фразами, на которые тот ничего возразить не мог, поскольку не понимал ни слова. Чиновник послал письмо в Познань, начальству. В письме он описывал сей странный случай, особо подчеркивая то, что речь идет не о польском, русском, украинском, венгерском или немецком и даже не о латинском, греческом, еврейском

или арамейском, в чем заверил его священник. Вне всякого сомнения, он столкнулся с языком, на котором говорит только этот самый Павел, и больше никто.

Павел сделался теперь явным соперником священника, и число его сторонников заметно увеличилось, когда он прибег к смелому новшеству: он стал проповедовать своей пастве скорое наступление рая на земле. Верные ему апостолы, ближайшие его сторонники, тут же переводили его проповеди на польский, русский и немецкий языки, переписывали и распространяли их, поэтому число верующих, совершавших паломничество в ту деревню, где Павел проповедовал, росло, и каждое воскресенье их собиралось все больше и больше. Церковь опустела, а Павел перед огромной толпой собравшихся провозглашал грядущий рай.

Павел служил, как известно, конюхом и хорошо знал, что лошади, когда наработаются, всегда хотят пить. Помня об этом, он однажды воскресным утром взял топор и прорубил дыры в пивных бочках, что стояли у пивоварни на краю деревни. Пиво, хлынувшее из бочек, он пустил в русло ручья, который тек по деревне, и указал на это явление своим сторонникам как на знак свыше.

Веселья в этот день было хоть отбавляй.

Зато в следующее воскресенье царило уныние, люди начали уже было роптать, и тогда Павел решился украсть в соседнем имении несколько бочек шнапса и привез их на телеге в деревню. Он хотел объявить эту жидкость священной и на глазах изумленных сторонников вылить содержимое бочек в деревенский пруд.

Однако, увлеченный сотворением чуда, он, по всей видимости, сильно недооценил свойства алкоголя, содержавшегося в святой воде. Когда он, со своей извечной трубкой в зубах, склонился над только что успешно проделанным в бочке отверстием, раздался взрыв, вспыхнул гигантский огненный шар, и с тех пор Павла больше никто никогда не видел.

Сторонники еще долго хранили ему верность, ведь рай-то он предсказал правильно, правда, к сожалению, только для себя одного, ну так он там теперь и находится.

31

Изерлон был маленький, кособокий, стиснутый кольцом городской стены и разрастающийся вокруг нее древний городишко, окруженный скудной, угрюмой растительностью. В Европе он был известен благодаря иногородней торговле, которую вели кланы крупных торговцев. Изерлонские купцы колесили по городам и ярмаркам, покупая товары в одном месте и перепродавая их в другом, минуя сам Изерлон. Торговлей такого рода занимались только изерлонцы, известные торговые дома Изерлона перемещали таким образом большие партии товара от производителей — на ярмарки, от продавца — к покупателю, экономя при этом на том, что им не требовались складские помещения.

У Жана Поля Фонтана сохранились старые связи с этими торговцами, которые часто покупали шелк в Лионе, а затем перепродавали его на Франкфуртской ярмарке лондонским и амстердамским купцам. Когда родственник семьи Хоффманов из Базеля, Кристоф Мериан, который занимался наймом гугенотов во Франкфурте-на-Майне по поручению курфюр-

ста Бранденбургского, предложил семейству Фонтана Изерлон как место для будущей мануфактуры, Жан Поль не возражал. Этот город в графстве Маркония отошел, по словам Мериана, к Бранденбургу после долгого спора о наследстве, который чуть было не перерос в войну, и уже несколько лет принадлежал курфюрсту. Поэтому курфюрст был крайне заинтересован в том, чтобы всемерно поддерживать развитие экономики в этом медвежьем углу. Это желание, исходящее из далекого Берлина, совпадало с мечтами изерлонских купцов, настроенных на то, чтобы помимо традиционной для тех мест металлургической промышленности у них развивалась еще какая-нибудь отрасль и рискованная торговля вдали от дома имела бы солидные тылы. Вот почему они с таким рвением заботились о французских ткачах-беженцах, странствовавших по Европе. Они старались заманить ткачей еще и потому, что во время великого пожара в 1685 году, за четыре дня до Рождества, Изерлон был почти полностью уничтожен и его нужно было отстраивать заново. И вот, после долгих размышлений и колебаний Фонтана решили не вливаться в общий поток беженцев, направляющихся в Берлин, а начать все заново в Изерлоне. Жанно, которому больше

всего нравилось колесить по Европе и который уже практически принял предложение базельца Хоффмана представлять его товары на ярмарках, был против Изерлона. Жак в обсуждении старался вообще не участвовать, он в любом случае не собирался оставаться в Изерлоне, его целью был Амстердам. Решающую роль сыграло пристрастие Жана Поля к технике, он надеялся усовершенствовать новые ткацкие станки в сотрудничестве с изерлонскими металлообработчиками и создать новые машины. Так семейство Фонтана, снабженное паспортами и охранной грамотой курфюрста Бранденбургского, после нескольких месяцев пребывания в Базеле отправилось в Изерлон.

Что в Изерлоне никогда не будут расти тутовые деревья, Жану Полю стало ясно сразу, как только они прибыли. Но он никак не мог предвидеть, что, несмотря на гарантии и привилегии, дарованные курфюрстом, несмотря на интерес со стороны изерлонских торговцев и поддержку маленькой реформированной общины, фирме суждено было становиться на ноги с таким трудом. Население воспринимало французов как вражеских завоевателей, как чужаков, которые к тому же говорили на чужом языке и принесли с собой неведомое

ремесло, которым раньше здесь никогда никто не занимался. Хотя шелковое ткачество не находилось под цеховым гнетом и им мог заниматься всякий, но цеха местных ремесленников противились всему новому и неизвестному. Им били стекла в окнах, вываливали перед дверьми дома тачки с нечистотами. Когда Жан Поль изготовил наконец новый станок и хотел было начать работу, его дом подожгли. Если бы изерлонские купцы не были очень заинтересованы в успехе ткачей, Фонтана не выдержали бы этих первых лет и уехали. Но их жизнь здесь все равно нельзя было назвать достойным существованием. Они оставались чужаками в этом городе, на радость тупоголовым обывателям, которые наконец-то нашли применение своим высохшим мозгам — возможность излить всю свою ненависть, злобу и ожесточение. Французы-гугеноты построили свою собственную церковь, свою школу, но они так и остались в своем замкнутом кругу, продолжали говорить между собой по-французски, заключали браки только между собой, держались веры и обычаев своей родины, оставались верны своему ремеслу и, окруженные враждебностью и непониманием, жили словно в каком-то гетто. Сопротивление и терпение!

32

Кто ты, парнишка? Я – поляк!
Белый орел – мой тайный знак.

Эти слова они выкрикивали по-немецки. Кричали хором, стоя прямо под окнами школы, чтобы позлить учителей, которые им это запретили, и чтобы иметь повод подраться с одноклассниками-немцами, которые, впрочем, понимали эти слова и по-польски. Дома они выкрикивали их, разумеется, по-польски или, если приезжали родственники, то и по-русски. Какие-нибудь родственники всегда были, их было необозримо много, и, рассеянные по всей Польше, они испытывали неутолимую потребность приезжать в гости.

Детские воспоминания Йозефа складывались в непрерывную череду фигур: это были дядья и тетки, которые чинно сидели в горнице и оживленно переговаривались. Брат отца из Лодзи ругал русских, другой брат — из Лемберга — ругал австрийцев, его отец бранил на чем свет стоит прусские власти в Познани. Так что у них было о чем поговорить — тема неисчерпаемая. А когда

приезжали родственники матери из Кракова да еще привозили с собой богемскую родню — вот тогда споры разгорались вовсю. Мать нарочно садилась под образом Черной Мадонны Ченстоховской, который висел в горнице, непостижимый, как всегда. Родня тесным кружком размещалась вокруг нее, у женщин в руках были четки, которые они перебирали с громким стуком, когда брань становилась совсем уж немилосердной; мужчины все в черных жилетках, на животах сияют толстые цепочки для часов, они рассудительны, осмотрительны и спокойны даже в тот момент, когда стучат кулаком по столу.

Кто-нибудь один в семье всегда становился священником, люди копили для этого деньги, куска недоедали, поколение без священника считалось позором. Вся родня делилась на два лагеря, которые на крестинах, свадьбах и похоронах непременно сталкивались. Одни возносили хвалы Иисусу Христу, другие заводили речь о конгрессе, забастовках и восстании.

Маленький Йозеф скучал. Он любил белого орла и мечтал хоть раз увидеть его над заливным лугом, чтобы гот царственно и беззвучно парил между небом и землей, белый как снег. Сюда, на отмель, он приходил каждый день. До чего

приятно было бродить босыми ногами по теплой воде, искать лягушек под прибрежными кочками, замерев, стоять в зарослях тростника до тех пор, пока не удастся наконец схватить рыбину и рывком выбросить ее на берег, или лежать на плоском дне челнока и неподвижно смотреть в небо, и чтобы вода слегка почмокивала.

Единственный человек, которого он брал сюда с собой, был дядя Станислаус. Дядя Станислаус приезжал из Богемии и был любимым братом матери. У этого высокого брюнета с большой окладистой бородой были какие-то дела в местной пивоварне. Он играл на кларнете, его все любили, и когда он приезжал в гости, то уже через четверть часа заговорщически подмигивал Йозефу, и они оба, крадучись, пробирались на заливной луг, потому что Станислаус не мог больше сносить весь этот проклятый сброд — а именно так называл он рассуждающих родственников. Он любил помолчать да рыбку половить. Йозеф прекрасно знал места, где любит стоять рыба, и показывал дяде самые лучшие омуты. И вот они сидели вдвоем, поглядывая то друг на друга, то на воду и обсуждая достоинства каждой рыбины, которую удавалось вытащить.

Часа через два Станислаус вставал, натягивал

свою желтую куртку, вынимал серебряные карманные часы и говорил: «Вот и славно». Йозеф вел его через недавно заложенные поля хмеля и табака, которые приносили деревне доход. Станислаус ощипывал шишечки хмеля, разминал их неторопливо, нюхал, срывал с жердей вьюнок, эту дьявольскую бесполезную паутину, и только тогда обращал свое внимание на табак. А под конец, в некотором недоумении качая головой, стоял перед виноградниками, которые тоже только что заложили, — самые северные виноградники в Европе, как торжествующе провозгласил директор школы. Станислаус считал, что это глупость: варили люди пиво — вот пива и надо держаться.

После этого в сумерках он долго еще стоял с отцом Йозефа на крыльце и что-то обсуждал насчет центнеров и серебряных грошей. Потом они наконец-то ударяли по рукам, и тогда начинался праздник, которого все так ждали.

33

Банкир Жак покинул Изерлон уже через год и отправился дальше, в Амстердам. Имея обширные связи, он был полезен для дела именно там. Потом, через несколько лет, он переехал в Лондон, где и осел окончательно, женился на англичанке, снова стал совладельцем банка и безраздельно посвятил себя финансам. Он так успешно занимался биржевыми манипуляциями, что вскоре сделался одним из самых почтенных членов гильдии финансистов. Один из его сыновей выстроил в Лондоне отель, которым очень ловко управлял, другой позже переехал в Берлин и стал служить советником по созданию Прусского морского торгового представительства.

Жанно тоже недолго терпел изерлонскую жизнь. Еще от поры его прежних путешествий у него сохранилась привязанность к большим городам и ярмаркам, к суматохе чужестранных мест. Он любил развлечения, удовольствия, любил отдохнуть в дружеском кругу, любил жить сегодняшним днем. Он вовсе ничего не имел против строгой, упорядоченной жизни реформированной общины, но, однако же, повидал

на своем веку, наверное, слишком много людей, городов и религий, чтобы во имя веры своих отцов осесть в маленьком городишке на обочине великих магистралей.

Он часто бывал в торговых городах Рейна, где товары Фонтана грузили на суда, плывущие в Амстердам или на Франкфуртскую ярмарку. Он все чаще распоряжался направлять товары через Дюссельдорф, где гавань была невелика, но зато попутно можно было с легкостью и приятностью совершать неожиданные сделки. Курфюрст Иоганн Вильгельм Пфальцский, у которого здесь была резиденция, женился во второй раз на флорентийке из рода Медичи, и поэтому в Дюссельдорфе было полно итальянцев. Анна Мария Тосканская привезла с собой не только личных поваров и врачей, но и банкиров, купцов, торговцев шелком, штукатуров по лепным работам, золотильщиков, резчиков по кости, золотых и серебряных дел мастеров, часовщиков, мебельщиков. Со всех концов Европы понаехали художники, скульпторы, архитекторы, певцы, музыканты. Собралась веселая, жизнерадостная компания, которая украшала придворные праздники, принимая и них самое деятельное участие, и поддерживала в городе обстановку непре-

рывного праздничного оживления. Здесь, при дворе курфюрста, развевались шелковые наряды, устраивались маскарады и костюмированные представления, оперы, балеты, фейерверки и водные праздники на Рейне, где в центре внимания всегда был корабль курфюрста. Эта смесь итальянцев, французов, голландцев, это сосуществование различных религий, это соседство художников и купцов было Жанно очень по душе, у него все чаще находились важные дела в Дюссельдорфе, а потом, в один прекрасный день, Жан Поль получил от него письмо, в котором сообщалось, что он не вернется больше никогда, потому что перспективы в Дюссельдорфе блестящие, будущее города обещает быть грандиозным и он откроет здесь новые мастерские. Курфюрст намеревается устроить у себя производство шелка, которое при таком дворе, где во главе стоит представительница рода Медичи, открывает совершенно новые возможности. А тогда, может быть, имеет смысл посадить здесь, в этом мягком климате на берегу Рейна, тутовые деревья и выращивать гусениц тутового шелкопряда. Кроме того, писал он, явно стараясь успокоить твердо приверженного своей вере брата, здесь уже давно действует эдикт веротерпимости, су-

ществует свобода вероисповедания, а поэтому протестантская община разрослась, уже построена большая церковь, есть латинская школа, тогда как в Изерлоне все это еще только предстоит. И хотя курфюрст — католик, но интересуется он в основном искусствами и обустройством жизни, а вопросы веры для него — это только средство для достижения политических целей; в политике же цели у него грандиозные. Здесь поговаривают о том, что он скоро станет королем Сардинии, а может быть даже, и Армении.

Через год пришло письмо, в котором Жанно сообщал, что женился на итальянке из Флоренции, дочери придворного художника, а в целом дела идут так себе, ни шатко ни валко, все зависит от того, как часто курфюрст устраивает праздники, но он надеется, что детям своим ему удастся что-нибудь оставить.

В последующие годы в Изерлон приходили от него лишь краткие весточки, но однажды прислал письмо сын Жанно, который сообщил о смерти своего отца, а также о том, что новый курфюрст задумал строить дворец в Бенрате и поручил его отцу, памятуя еще старое лионское с ним знакомство, поставить для стен дворца тяжелые лионские шелка и при этом высказал

свои личные пожелания по поводу узоров. Отец умер, не выполнив заказа до конца, и поскольку теперь ему, сыну, придется продолжать эту работу, то хотелось бы узнать, существует ли еще старинная Книга Узоров дома Фонтана, которая может пригодиться ему при подборе тканей для дворцовых помещений в Бенрате.

34

Вода превращалась в сушу. Если верить самым первым воспоминаниям, то каждый год земли становилось все больше, и на ней сажали пшеницу, овес, рожь, ставили дома. Бескрайняя топь постепенно разделилась на заболоченную старую Обру и новую — молодую, на главное русло Обры и множество мелких проток, соединяющих рукава реки и землю, видневшуюся между протоками. Вода и земля разделились, болота подсыхали, и их поспешно возделывали, засаживая хмелем, табаком и виноградными лозами.

За домом, на лугу, где висело, пузырем надуваясь на ветру, белье, паслись овцы, гуси, в небольшом хлеву хрюкала свинья. Перед домом на лавке сидела бабушка за своей извечной прялкой и пряла тонкие шерстяные нити, а по праздникам ощипывала гусей. Вспоминались и сами праздники с их радостным волнением, когда отец брал аккордеон, а дядя Станислаус — кларнет, и, прихватив с собой бочонок пива и бутылку водки, они уединялись в маленькой спаленке, а ему разрешалось резать свечку на плоские мягкие кружочки и раскладывать их на

красном крашеном полу в горнице. Из открытых дверей спальни неслись тогда звуки польки, мазурки, краковяка, и пары кружились на изумительно гладком вощеном полу — вся родня, все соседи, кто бы ни заглянул на огонек.

Потом он всегда пробирался в спальню, где оба музыканта наигрывали, довольные собой, после каждого танца отхлебывали по хорошему глотку пива, а он гордился тем, что ему доверено нацеживать им пиво из бочки и доливать в стаканы водку. Из горницы доносилось шарканье ног, которые притопывали все громче, слыша это, отец и Станислаус опрокидывали еще по стаканчику, поддавали жару, ускоряя темп, и через дверь спальни ему было хорошо видно, как взлетали юбки у женщин, как притопывали сапогами мужчины.

Нет, не надо лен носить,
Нет, не надо лен носить,
Будем всё из шелка шить.

На каждое «нет» они топали и кружились, а слово «всё-о-о» тянули долго-долго, переходя на низкие тона, а потом на слове «шелка» забирались вверх — это была кульминация всей песни — и выпевали его тонко, с повизгиванием, и в

этот момент пары высоко подпрыгивали, так что становилось страшно, выдержит ли пол. А потом, когда краковяк всех разгорячит, да, именно тогда становилось так хорошо, так волшебно на душе, музыка, танцующие пары, вкус сладковато-горького прохладного пива, которое он прихлебывал тайком, что он не мог представить себе, может ли быть где-нибудь на земле лучше, чем у них в деревне, в этой теплой горнице, среди этих людей, которые смеялись, болтали, махали руками, обнимались, перешептывались, громко обсуждали что-то очень важное с глазу на глаз, вопили от радости, что они живут на этом свете.

И если в конце концов кто-нибудь плеснет-таки пиво в лицо своему лучшему другу, а тот в ответ съездит приятелю по роже, то все равно было хорошо, ведь это просто означало, что разговор перекинулся на конгресс, Варшаву, Москву, Берлин и Вену. Правда, один раз ему вдруг все стало безразлично, потому что между тайными глотками пива он впервые хлебнул и водки. Его рвало, а рядом обсуждали некоего Козловского, который оформил себе в магистрате города Бомста новое имя и стал теперь Коллером, то есть сменил польское имя на немецкое, оправдывая это тем, что хотя он и поляк, но все же отчасти

теперь и немец, потому что говорит по-немецки и, будучи солдатом, носит мундир прусской армии. Ему возражали на это, что есть такие немцы, которые, между прочим, пишут свои имена на польский лад, потому что они хоть и немцы, но издавна жили в Польше с поляками, говорят по-польски и ощущают себя поляками. Мол, некий Долльман из Хоржека, например, стал Домбровским. А кто-то другой сказал на это, что, мол, тут выравнивание происходит, один в немца превращается, другой в поляка, и всё только из-за границ и из-за всяких там чиновников, которые не умеют имена правильно писать, и поэтому плохо быть Козловским в Германии, а зато в Польше лучше быть Домбровским, так что все дело только в границах, а границы попадаются на пути то там то сям, словно плотины, которые преграждают течение реки, и не будет ничего удивительного, если внука Коллера будут снова называть Козловским, а внука Домбровского — Долльманом, и не исключено, что в какой-нибудь войне они будут стрелять друг в друга, ведь от людей всего можно ожидать.

А тем временем, пока шли все эти праздники, пока тянулись эти споры, которые, как он помнил, устраивались по малейшему поводу, да,

впрочем, и безо всякого повода тоже, — землю и воду разделяли все решительнее. Сотни рабочих стояли летом на плотине и насыпали на нее землю, забирались с лопатами в каналы и углубляли русло, чтобы вода лучше стекала. Он впервые видел, какие глубокие ямы можно выкопать в земле, минуя темно-бурые и черные пласты торфа, а иногда удавалось докопаться до слоя черного камня, который они называли «уголь», тогда приходили инспекторы, осматривали черную породу, что-то там измеряли, орудуя своими приборами, потом уходили. В некоторых местах копали еще глубже, посылали в эти штольни рабочих на разведку, а потом рабочие поспешно убегали прочь, когда в отверстиях появлялась вода. Инспекторы сменяли один другого, приспособления для бурения валялись, никому не нужные, вода наполняла ямы и вновь отвоевывала землю, которая не была защищена плотиной.

35

Жан Поль, самый упорный, решительный и принципиальный из всех троих братьев, женился в Изерлоне на молодой девушке, дочери аптекаря из Монпелье. Ее родители погибли во время бегства из Франции, и в Базеле она присоединилась к семейству Фонтана. Вместе с нею он вырастил четверых сыновей и двух дочерей, вместе с нею он попытался возродить дело Фонтана. Он был одним из «антрепренеров», которые за городом, а чуть позже в Фабричном городке у Западных ворот развернули свои мануфактуры, стали ткать шелк, хотя при этом прежние богатые ткани сходили с их станков крайне редко — теперь почти всегда требовался товар среднего качества, прежде всего для модных аксессуаров. Мода на всевозможные пряжки, которые прикреплялись на шелковые ленты, юбки и платки, вынудила фирму завести устойчивые связи с граверами и поставщиками металлической фурнитуры, которых в Изерлоне было хоть пруд пруди. Когда в моду вошли большие шляпы и юбки на обручах, фирма Фонтана стала сотрудничать с мастерской по изготовлению проволоки, а это

ремесло в Изерлоне процветало с давних пор. Вместе они стали выпускать каркасы, обтянутые шелком, проволочные основы для дамских шляп, которые затем украшались шелковыми лентами и пересылались в Голландию и Лондон. Для юбок на каркасе они придумывали все более смелые конструкции, а предназначались эти каркасы для таких юбок, на которые шло много метров шелка среднего и высокого качества.

Когда Жан Поль умер, дело перешло к сыновьям, они отчасти вернули себе самостоятельность, стали изготовлять канделябры и столовые подсвечники из бронзы — изящные произведения, для создания которых требовались хорошие модельщики, формовщики и граверы. Шелка производили все меньше, потому что спрос был очень неустойчив. Непрерывные колебания налогов, изменение таможенных правил, континентальная блокада и таможенный союз, войны и нашествие Наполеона поставили шелковые мануфактуры под угрозу. К тому же появился новый конкурент — хлопок, новые автомагические станки ткали хлопок словно по мановению волшебной палочки, он быстро распространялся по Европе и постепенно проник на те рынки, которые считались законодателями мод. Даже

привезенный из Лиона жаккардовый станок — автоматическая ткацкая машина, способная создавать сложнейшие узоры, уже не могла поправить дело.

Внуки Жана Поля покинули французское гетто гугенотов, они породнились с семьями изерлонских купцов и говорили в быту на смеси немецкого и французского. Фонтана сделались прусскими подданными. Один только Иоганн Фонтана сидел за старинным ткацким станком и ткал старинные шелковые ткани для узкого круга своих заказчиков. Его тело двигалось, как маятник, тот самый, древний как мир маятник ткача: сначала правая рука, потом левая, потом нога, челнок, батан, основа, правая рука, левая рука, нога, челнок, батан, основа и так без конца — та самая однообразная череда движений, из которой рождались узоры и ткани для королей, которая породила коронационную мантию императора Священной Римской империи Германской нации в 1133 году в благословенном Палермо. Когда в 1806 году Священная Римская империя Германской нации перестала существовать, а знаки имперского достоинства, в том числе и мантия, навсегда отправились в кладовые дворца Хофбург в Вене, ткацкая мастерская Иоганна

Фонтана также прекратила свое существование.

36

Нельзя сказать, что Машенька находилась в вечном унынии, нет, скорее, она гордилась тем, что ее всегда постигали несчастья. Всю жизнь ей постоянно не везло. Она сообщала об этом всем, кто с нею разговаривал, и жила в неизбывной уверенности в том, что все, чему еще суждено случиться, принесет ей одни несчастья. Она была довольна этим, можно даже сказать, что она была счастлива.

Если в поле или дома происходило что-то неожиданное, она говорила со спокойной покорностью: «Такое могло случиться только со мной». Это говорилось со стоическим спокойствием, она была даже рада случившемуся, ведь она все предвидела и предсказывала все заранее своим насмешникам. Она несла свое пожизненное несчастье с гордой покорностью, а силы и выдержки у нее становилось все больше, ведь чтобы вынести все эти несчастья, приходилось быть очень сильной, и она была сильной.

На поле она поднимала сразу два снопа и смеялась над теми, кто мог унести всего один; сильно взмахивая своей большой косой, она скашивала

вдвое больше травы, чем другие женщины, а когда требовалось дотащить до сарая телегу, с верхом груженную сеном, то она впрягалась в нее сама вместе с работниками. Вечером, когда все уже в изнеможении лежали в постелях, она прибиралась в доме, скребла, мыла, посмеиваясь над лентяями, которые после работы в поле, кряхтя, потирали ноющие поясницы.

«По мне, так работы много не бывает» — таково было ее жизненное правило, и она его гордо придерживалась, вот почему по деревне часто разносился клич: «Машенька, иди-ка сюда, подмоги!»

Машенька помогала всегда и всем. Если заболевала какая-нибудь крестьянка, Машенька между делом брала на себя и ее домашнее хозяйство, если какая-то женщина лежала в родах, Машенька выполняла роль акушерки, корова начинала телиться, когда хозяин был в поле, — она и тут помогала. Если что-то случалось с работником, она выгребала вместо него навоз из коровника, и все видели, что она делает эту работу быстрее и тщательнее, чем злополучный лентяй работник. И чем больше сил ома отдавала другим, тем больше энергии у нее прибавлялось.

Помогала она всем с большой охотой, но по

вечерам каждый день жаловалась мужу, что всякий, кто нуждается в помощи, всегда приходит только к вей и ей приходится помогать всем и каждому. Но если кто-то шел за помощью не к ней и просил не ее, а кого-то другого, то на следующее утро она шла к этому человеку, вставала в дверях горницы и спрашивала, почему не послали за нею, неужто она чем-то не угодила.

«Машеньку трудно понять», — сказал Йозеф о своей жене Марии, когда она в очередной раз села в угол, заливаясь слезами и сетуя на весь свет, потому что ее не позвали, а ведь на нее сваливается в жизни так много несчастий, и всякий об этом знает, ну могли бы пожалеть ее и позвать, все всегда шли только к ней, ей приходится помогать всем и каждому, а теперь она, значит, никому больше не нужна, вот ведь всегда так — одни несчастья, и больше ничего.

Только Йозеф понимал бедняжку Марию. На ее долю в жизни приходилось ровно столько же счастья и горя, как и на долю всякого другого человека, но счастье свое она тут же забывала или, может быть, вовсе не замечала его, не хотела замечать и обижалась, если ей об этих моментах напоминали. Она старалась оттеснить их на задворки своей души, зато постоянно и самозаб-

венно предавалась воспоминаниям о каждой неудаче, каждой трудности, каждой ошибке, она старалась всегда помнить о них, всегда держать их перед глазами, чтобы всякий раз делать один и тот же вывод: если были несчастья в прошлом, то будут они и в будущем.

Она появилась на свет только для того, чтобы работать, быть несчастной и чтобы ее эксплуатировали другие, это была ее несокрушимая вера, и чем больше ей приходилось переносить, тем больше жизненных сил у нее прибавлялось, тем больше было оснований для гордости. Святая Мария Богоматерь Ченстоховская, образ которой висел у нее над кроватью, знала это.

Но и вера ее была столь сложна и непостижима, что ни один священник не мог ее понять. В церковь она не ходила, хотя горя за это натерпелась немало. Она верила в Господа Иисуса Христа отдельно от всех, по своему собственному разумению, и общалась с Ним сама. Перечень грехов у нее тоже был свой, у нее был свой взгляд на то, что считать смертным грехом, а что — простительным. В своем отчете перед Господом она списывала со счетов мелкую случайную ложь, а Господь, в свою очередь, обязательно зачтет ей многочисленные несчастья, тяжелую работу и

нелегкую жизнь, ведь Господь призревает вовсе не тех, кто хотя и в церковь ходит, но в целом ведет развеселую жизнь и даже в страду по воскресеньям не выходит в поле.

«Какая есть», — говорил Йозеф о Марии, прощал ей все и любил ее. В пятьдесят лет она по-прежнему обгоняла в работе любого мужика, в шестьдесят оставалась самой сильной женщиной во всей деревне, и, если какой-нибудь работник из имения отпускал на ее счет глупую шутку, затрещину он получал основательную. Машенька приближалась к спокойному закату дней своих, и была такая старость для нее страшнее самого черта, но Господь внял ее молитвам и в награду за ее тяжелую, несчастную жизнь одарил ее наконец несчастьем истинным, сокрушительным и бесповоротным, единственным настоящим несчастьем за всю ее жизнь.

Когда однажды весенним вечером они с Йозефом возвращались с поля, она увидела, как из-за рощицы, отделявшей их от деревни, поднимается столб дыма. Предчувствуя недоброе, они что есть духу помчались вперед. Машенька подхватила юбки и, не обращая внимания на тяжелую ношу за плечами, полетела к лесу, далеко опередив Йозефа. При этом она кричала во все горло так,

что крик ее разносился далеко но окрестным полям. И вот наконец показалась деревня. Она увидела, что их изба вся объята пламенем. Машенька бросилась на землю и закричала. Она так громко кричала и так сильно билась, катаясь по земле, что никто не решался к ней приблизиться. Утихомирилась она только глубокой ночью, потом еще три дня непрерывно всхлипывала и подвывала себе под нос. Через три дня она встала, перекрестилась и, с молчаливой покорностью погрузившись в свое горе, принялась за строительство новой избы. Она хотела возблагодарить Господа за то, что Он доказал всем деревенским насмешникам: воистину именно она наделена величайшим в жизни несчастьем.

Йозефа как обухом по голове ударило, он сидел все больше у соседей на кухне, лишившись дара речи, и вскоре умер. Машенька построила свой дом один, в свои семьдесят лет она стояла на крыше нового дома и крыла его соломой, которую работник подавал ей снизу, а когда все было готово и дом выглядел так, как она хотела, Мария вошла внутрь и повесила у печки образ Черной Мадонны, спасенный соседями из огня.

Остаток жизни она просидела перед домом, гордая, прямая, из-под черного платка у нее вы-

бивались седые волосы, круглое курносое лицо излучало добродушие, глаза приветливо сияли, завидев прохожего; и каждому встречному она рассказывала о своем несчастье.

Когда ее внук Йозеф, тогда уже взрослый мужчина, который жил далеко от этих мест и работал в шахте, решил как-то раз навестить ту деревню, где вырос, и увидел Марию перед самой ее смертью, он знал, что Господь справедлив. Но он видел, что справедлив-то Господь только в несчастьях и страданиях, и рай на земле — не Его рук дело.

А истинное горе Машеньки заключалось в том, что дом, который она построила, был совершенно никому не нужен, так что весь ее труд оказался бессмысленным. Лукашам больше нечего было делать в этих местах. Помещики скупили землю, и всем, кто не хотел работать на барщине, пришлось уйти. Поэтому, когда дом сгорел, оставалось одно — отправиться в чужие края.

Но Машенька ничего этого не замечала. Она сидела перед пустым своим домом, денно и нощно ждала возвращения семьи, благодарила Господа и была счастлива.

II
Жизнь продолжается

1

Месье Фонтана, придворный поставщик и торговец шелком, коллекционер и ученый человек, каждое утро, в восемь часов, под мурлыканье репетира выходил из своего дома «У старого собора» на рыночной площади столичного города Дюссельдорфа, где располагалась резиденция курфюрста, чтобы совершить обычную свою и, «к сожалению, весьма необходимую для исправной работы организма прогулку». Это означало, что он со скорбным лицом несколько раз обходил по периметру парапет в форме каре вокруг изваянной шевалье Групелло конной статуи курфюрста Иоганна Вильгельма.

Солнечными, жаркими днями он неизменно хотя бы раз притормаживал возле гостиницы и снимал треуголку, чтобы поболтать с каким-нибудь приезжим французом или итальянцем, остановившимся здесь или по соседству с рыночной площадью. В хмурые, пасмурные дни он угрюмо вышагивал необходимое расстояние, следуя старинному флорентийскому девизу: «Sine sole sileo» — «Без солнца я молчу».

В своей желтой шелковой жилетке, красных

шелковых чулках, черных бархатных панталонах и зеленом бархатном камзоле он выглядел как старый попугай, залетевший сюда из экзотической страны, и, подобно старому попугаю, он, состарившись, громко разговаривал сам с собой, когда «в голове внезапно всплывали строки из книг». В такие минуты он зачастую до того погружался в себя, что недоуменно спрашивал своего слугу Жана, ожидавшего его у дверей дома, совершил ли он уже свой моцион. «In effigie, господин мой, — отвечал в таких случаях Жан с неизменным местным акцентом, — прошли четыре раза по периметру».

В дождливые дни, когда вдобавок какой-нибудь озорник из числа рыночных грузчиков пускал ему под ноги пустой бочонок из-под сельдей, чтобы сбить его с мысли и с маршевого шага, Фонтана бывал крайне неприятен для окружающих.

Постукивая черным посохом эбенового дерева с серебряным набалдашником, он торопливо вышагивал по периметру площади, не срезая углов, четко разворачиваясь всякий раз под прямым углом, и на своеобразной смеси французского, итальянского, голландского и немецкого громко бранил весь свет, все времена, коррумпированные правительства и тупых верноподданных, и

всех он объявлял умалишенными, дошедшими до последней степени глупости идиотами, которым следовало бы задницу начистить как следует, и заявлял, что человечество погибло безвозвратно, оно стремительно катится в пропасть, и всё на свете террибль, всё без исключения ужасно, и баста. И всякий раз, выкрикивая свое «террибль» и «баста», он с таким грохотом опускал посох на булыжную мостовую, что вскоре отворялись окна ратуши, и тогдашний мэр, как дюссельдорфцы именовали своего бургомистра, громко кричал ему вниз, не соизволит ли он всемилостивейше удалиться в свой дом и не будет ли он так любезен дебоширить там, у себя. В ответ месье Фонтана издевательски помахивал треуголкой, награждал мэра обидным титулом «базарная баба» и, в последний раз провозгласив: «Людишки глупые, отребье, жалкий сброд», гордо выпрямившись, покидал площадь и удалялся в свой дом.

После этого он всегда еще раз показывался в окне второго этажа, громкий крик «Террибль, баста!» проносился по всей площади, после этого Фонтана собственноручно закрывал ставни, ибо как-то раз служитель уже запустил в его окно ключом от ратуши и разбил стекло. Фонтана в ответ зашвырнул в окно ратуши здоровенный

том Ломбардской хроники в кожаном переплете и серебряном окладе. Только после длительных переговоров между Фонтана и мэром господа муниципальные советники смогли переступить порог ратуши, а Фонтана — продолжить изучение хроники.

После всех этих происшествий месье Фонтана, которого на площади все именовали не иначе как «жалкий сброд», велел своему камердинеру Жану запереть себя в кабинете, строго наказав ему отпереть замок только через восемь дней, потому что-де в данный момент мир стал для него непереносим, ему необходимо сосредоточиться и вообще он хочет остаться наедине с книгами.

Приказ хозяина касательно восьми дней Жан воспринял буквально и, злясь на Фонтана за задержанное жалованье, проигнорировал его новый приказ: отворить дверь досрочно. Тогда месье Фонтана спустился по водосточной трубе со второго этажа, позвонил у входной двери, и, когда ничего не подозревающий Жан открыл дверь, Фонтана пинками препроводил его в погреб и там запер. В отместку Жан умудрился проглотить всю кислую капусту, которая хранилась в погребе в дубовой бочке, что также возымело весьма неприятные последствия.

Прославилась эта парочка на весь город также тем, что с самыми серьезными намерениями подала в магистрат прошение, чтобы конную статую курфюрста развернули наоборот. Беда в том, писал в прошении Фонтана, что металлический жеребец весь год мчится по направлению к его дому, а это рано или поздно добром не кончится. Когда мэр ответил ему, что в таком случае ему придется весь год взирать на конскую задницу, которая сейчас обращена к зданию театра, Фонтана злорадно ответил, что было бы неплохо, если бы все жители города обратили свои взоры именно на этот предмет.

Звездными ночами Фонтана забирался с лампой в руках на чердачный этаж, под самую остроконечную крышу и часами наблюдал в чердачное окно звездное небо. Он сидел у окна в своем красном шелковом шлафроке, переводил подзорную трубу, купленную у какого-то голландского капитана, со звезды на звезду и предавался размышлениям.

Если же небо затягивалось тучами, Фонтана спускался в кабинет, набитый глобусами, атласами, тяжелыми хрониками в металлических окладах, альбомами с образцами тканей, которые принадлежали старинным семьям ткачей-шел-

копрядильщиков. В этой горе книг, образовывавших кручи и пещеры, мог разобраться только сам месье Фонтана, потому что со временем здесь образовались лишь одному ему известные ходы и впадины, теперь одной комнаты уже, конечно, не хватало, книжный массив расползся и заполнил собой все помещение, и Фонтана терпеливо карабкался по книжным кручам.

Он переводил хроники с греческого и латыни на французский и итальянский, потом — на немецкий, сравнивал отдельные фрагменты со старинными рукописями, письмами и посланиями, сопоставлял расстояния и даты по глобусам и атласам, расшифровывал неразборчивые буквы, слова, фразы и непонятные сокращения, сравнивал узоры тканей, способы плетения нитей, сочетания цветов и переносил выводы в свою собственную хронику, над которой работал вот уже двадцать лет.

Когда утром на рассвете Жан приносил на подносе завтрак, он порой заставал хозяина возле глобуса. Погруженный в размышления, Фонтана крутил глобус все быстрее и быстрее, континенты и моря сливались в единую пестрящую картину, а Фонтана сидел, бормоча: «Африка, Америка, Азия, Европа. — Потом тыкал пальцем в крутящийся

глобус и спрашивал Жана: — Ну-ка, глянь, Жан, к чему это все приведет, а?» И Жан каждое утро отвечал одно и то же: «Ну, мой господин, вы прям такие вещи спрашиваете, кто ж его знает». Тогда месье Фонтана выходил из состояния задумчивости и спрашивал Жана:

— Скажи, Жан, где я нахожусь?

— В Дюссельдорфе, мой господин.

— А что я тут делаю, в Дюссельдорфе?

— А Бог его знает.

— А как я попал сюда?

— Ох, мой господин, этого-то и сам Господь Бог не знает.

Потом он снова сидел один-одинешенек, погруженный в свои хроники, где повествование скакало от одного события к другому, от одного героя к другому, где рассказывались истории, смысла которых он не понимал, но они сохранились, потому что их кто-то записал, а значит, какой-то смысл в них был. Он сравнивал их с историями, которые знал сам, с историями, которые кто-то рассказывал ему, хотя зачастую он уже не помнил, кто что говорил, какое событие когда происходило, путал людей, времена и события, ведь ему рассказывали то, что услышали еще от кого-то, а этот кто-то тоже рассказал с чужих слов,

а те слова тоже опирались на чей-то рассказ.

Это была мозаика, части которой сразу же вываливались у него из рук, едва только начинали складываться в ясную картину, и какими бы точными ни были отдельные детали, но они все равно почему-то не подходили друг к другу, хотя и составляли единую картину и, несомненно, были частью общего целого. Всякий раз возникали все новые пробелы, всякий раз ускользала истина, которая лежала в основе этих картин, истина, которую он искал.

Важное терялось, а о второстепенном хотя и сообщалось подробно, но смысла было не уловить, в лучшем случае рождалось лишь смутное предчувствие его во всех этих историях о гордости и разуме, об уверенности и сомнениях, об унижении и выдержке, о бедности и несчастьях, о смерти и жизни, об этой неотступной пляске смерти, которая затевалась все вновь и вновь, и стремительно несся хоровод. Человек на секунду попадал в освещенный круг, и черты его были хорошо различимы, узнаваемы только на один миг его жизни, затем отступали опять, вытесненные другой жизнью, а ее в свою очередь заслоняла следующая. Несвязные фрагменты, и все же в каждом из них отчетливо проступало свое особое

отношение к миру, своя позиция. Она могла быть нечеткой в деталях, ее можно было проследить только в смене поколений, в последовательности историй и событий. Позиция, о которой ничего не было написано, она не была для них заповедью, ее не формулировали вслух и не удерживали в памяти, она просто-напросто существовала и всякий раз либо определяла события, либо имела отношение к тому, что происходило, а если и не определяла, то помогала переносить происходящее, передавалась следующим поколениям и становилась их внутренней сутью.

2

Дома стояли вплотную к башне копра. Кривые, черные от сажи стены лепились друг к дружке, невидимые в ночной темноте. Когда черные фигурки начинали двигаться, выходили из дверей, коротко кивали друг другу, молча брели к копру, то навстречу им шли другие фигурки, которые быстро исчезали за приоткрытыми дверьми, и их призрачные движения расплывались на фоне обшарпанных черных стен.

Колония домов росла по мере увеличения числа рабочих. А рабочие все прибывали и прибывали, они попадали сюда случайно, особо не выбирая, и так же случайно, кое-как, возводились стены, целый лабиринт из закопченных камней, который сводил вместе самые разные языки и становился темницей для людей из разных стран.

У Йозефа Лукаша тоже была за этими стенами своя койка, которую он покидал ночью и ночью же в нее возвращался, а между этими двумя ночами простиралась тьма горы, в глубь которой он забирался каждый день. Пятнадцати лет от роду он впервые вместе с другими, вцепившись в подъемную клеть, медленно соскользнул в глу-

бину, глухой грохот стоял у него в ушах, спертым воздухом трудно было дышать, влажное тепло, поднимавшееся из шахты, грузной тяжестью наполняло его тело, скованное страхом. Образок Черной Мадонны, висящий у него на шее, прилип к груди, он тупо смотрел на шахтерскую лампу в своих руках, которая казалась ему последней надеждой в этом черном адском столпотворении. Это был свет, который он взял с собой оттуда, сверху, и который во время работы постоянно напоминал ему о том, что есть не только тьма горы, но еще и свет дня.

Он навсегда запомнил свой первый спуск вниз, который показался ему бесконечным, хотя все это было уже далеко в прошлом, вспоминал свой страх, парализующий ужас этого спуска, приведший к тому, что, когда он добрался донизу, пришлось поддерживать его под руки, вспоминал отчаяние и дурноту в тот момент, когда он осознал, как глубоко под землю спустился.

Со временем это стало для него привычной, неизменной ежедневной работой, весь этот изнурительный труд в штольнях, в узких, обвалившихся проходах, где передвигались только согнувшись, а там, где пласт становился совсем узким, работать можно было только лежа, в

пыли, в грязи, в сырости, хватаясь в темноте за деревянные опоры или за породу, лежа на спине, на боку.

Во время коротких перерывов он смотрел на свет лампы, пока глаза не заболят, и видел солнце, отражающееся в водах Обры, вспыхивающее на воде, в которой быстро мелькали рыбы, сухо шуршал камыш, квакали лягушки, над которой кричала птица, делая в воздухе широкие, спокойные круги.

Потом снова наступала темнота, голоса и стук работающих молотками, стучащих и бранящихся мужчин вокруг него, глухой шорох отваливающегося угля, неумолимость горы, которая, пребывая в своей вечной ночи, ничего не отдавала даром, ни единого камня, ни куска угля. Перед ним была гора, в которой приходилось пробивать себе путь, опустошая ее непрерывными ударами молотка, вытаскивая один кусок за другим, гора, которая старалась ничего не отдавать. Потея от напряжения, она окатывала непрошеных гостей водой, одним махом заваливала карликовые штольни, которые они пробивали в ее великанском теле. Эта гора была так сурова, непреклонна и жестока, что часто у них оставалось только одно желание: заложить взрывчатку, устроить невиданный

взрыв и смести эту гору с лица земли, чтобы в черную адскую дыру проникло наконец-то солнце, чтобы хлынул туда воздух и чтобы уголь лежал прямо на поверхности.

Но Йозеф Лукаш прекрасно знал, что за день он может пройти лишь несколько метров, что, трудясь непреклонно и терпеливо, работая равномерно день за днем, он лишь на несколько метров продвинется вперед. За этим трудом пройдет вся его жизнь, жизнь его детей, как и жизнь тех, кто придет следом за ним, а гора отдаст им за все это время совсем немного. Гора победит их всех, теперь он точно знал, но все равно они будут каждый день спускаться в штольню, это он тоже теперь знал. Все это было как жизнь: точно так же бесцельно и так же полно смысла. Йозеф Лукаш был теперь шахтером и гордился этим.

По воскресеньям он в черной тужурке и черных штанах, заправленных в сапоги, гулял с приятелями из своей смены по окрестностям, которые были столь же черны, как и одежда людей. Черны были дороги — по ним постоянно возили уголь, черны были луга, кусты и деревья — они почернели от угольного ветра, который дул с отвала. Они уже не замечали этого, ведь гора была черная, значит, и природа — черная, а небо — серое и на

нем в дымной завесе — черное солнце.

Во время одной из таких прогулок Йозеф повстречал Марию, дочь шахтера, на которой вскоре и женился. Они переселились в один из тех маленьких домишек, которые строило правление шахты, и у них родились сыновья, и сыновья тоже стали шахтерами.

Сам Йозеф, как он и ожидал, остался в горе, с которой в последнее время сроднился, в которой он каждый день отбивал положенные метры породы, а когда гора с гулким треском раздавила все штольни и опоры, он почти не удивился, он принял это как свою судьбу, определенную ему горой. Никто никогда не узнал, сколько он еще жил, заваленный внутри горы; прошли годы, пока шахту снова открыли. Было найдено несколько тел, Йозефа Лукаша среди них не было, никто никогда не объявлял, что он умер, он лежит в горе, в местечке Даброва.

3

— Фонтана, Фонтана… Да-да, припоминаю, все документы на него должны были сохраниться. Этот Фонтана был из тех самых итальянцев и французов, которые жили у рыночной площади. Да, припоминаю. Дом «У старого собора», Маркт-платц, 504, после смены номеров он числился под номером девять. Красивый дом. Говорят, он заработал много денег на оформлении дворца в Бенрате, лионский шелк туда поставлял, он ведь по шелку был мастер. А потом все свое состояние потратил на книги. Странный человек.

Дело свое он очень рано продал фирме «Кантадор и Циолина», переселенцам из Италии, которые тоже торговали шелком и ввозили шелк из Италии. Дом после его смерти отошел к одному из дальних родственников, о котором мало что известно, — к лейтенанту Диппи. Похоже, он только тратил деньги, и больше ничего. Был поклонником Дюссельдорфского театра, который располагался прямо напротив дома, а также любителем прочих развлечений. Кроме того, был постоянным посетителем у Лакомбле. Это такая кофейня на рыночной площади, с читальней, где

можно было найти любые газеты и журналы. Так или иначе, в скором времени Кантадор получил в свое распоряжение также и дом и стал управлять лавкой в первом этаже. Торговля шелком и галантерейными товарами. Большой, солидный магазин, не какая-нибудь мелкая розничная лавчонка. Посетители — респектабельные семьи, господа муниципальные советники, да и сам бургомистр не раз захаживал. Пока не случилась вся эта история с Лоренцем.

Пруссаки появились здесь не так уж давно, в любом случае жители Дюссельдорфа считали, что без пруссаков жизнь была лучше. У нас был Кодекс Наполеона, а потом пришли эти со своим прусским земельным правом. Поэтому революцию сорок восьмого года здесь, конечно, встретили с восторгом. Дюссельдорфцы избрали Лоренца Кантадора руководителем гражданского сопротивления, и пошло-поехало. Революционные речи, Берлин высылает войска, жители Дюссельдорфа разрывают приказы о мобилизации в клочки, город в осаде. Дом Кантадора на рыночной площади становится главной штаб-квартирой. То и дело здесь бывают Лассаль и Фрейлиграт. Кантадор был вождем демократов. У Лассаля и Фрейлиграта за плечами был Рабочий

союз и народный клуб. Они сидели в библиотеке и дискутировали ночи напролет. Лассаль писал статьи одну за другой, Фрейлиграт — стихи. В Дюссельдорфе его стихотворение «Мертвые — живым» знали наизусть все.

В сорок девятом году ситуация резко осложнилась. Доктор Нойнциг, школьный приятель Гейне, стоя на балконе второго этажа дома Кантадора, провозгласил революцию — можно сказать, прямо из кабинета покойного Фонтана. И снова события покатились своим чередом. Строительство баррикад, нападение на военных часовых, уличные бои… Армия стреляет по городу из пушек, много убитых и раненых, военно-полевые суды объявляют смертные приговоры, многих сажают в тюрьму — скверный год. Правительство объявило Дюссельдорф главным очагом анархии и беспорядков во всей монархии. Видимо, именно так оно и было, и на каждого жителя приходилось тогда по солдату. Когда Кантадор и Лассаль хотели устроить сбор денег в пользу семей расстрелянных граждан, им почти ничего не удалось собрать: столь велик был страх.

Кантадор находился под военным надзором. Он бежал в Америку и принял участие в Гражданской войне; говорят, что он командовал полком.

Неизвестно, когда он умер и где похоронен. С торговлей шелком тоже было покончено, ведь всякий, кто переступал порог магазина, считался противником монархии. Магазин закрыли. Обыски шли один за другим, во время них был конфискован и вывезен архив и библиотека Фонтана. При Кантадоре все это еще сохранялось. Теперь книги полетели через окно на улицу, рыночные торговки вырывали страницы и заворачивали в них капусту, а документы, скорей всего, попали в Берлин, в Тайный государственный архив.

Тайный архивный советник и библиотекарь доктор Лакомбле, потомок того Лакомбле, что держал кофейню на рыночной площади, позаботился об этих документах. Он привел архив в порядок, многое перепел и попытался завершить начатую Фонтана работу. Кроме того, он кое-что мне рассказал, разные там истории из старины, про Италию, про Францию, я до сих пор некоторые помню. А зачем вам все это?

Нотариус шарил своими рыбьими глазками, спрятанными за толстыми стеклами очков, по стопкам документов, и его лысина покачивалась. Он вздыхал, вынимал из шкафа очередную папку, снимал очки, носовым платком протирал стекла,

снова надевал очки и придирчиво смотрел на своего посетителя, который спокойно сидел в кресле у письменного стола и настойчиво задавал вопрос за вопросом, в этом кабинете, где на стенах были панели из темного дерева, где было душно и пыльно, а шкафы долгие годы никто не открывал, и где старик нотариус рылся, как в гербарии, громоздя горы бумаг на своем столе. Нотариус со стоном опустился в скрипучее кожаное кресло, которое стояло рядом с большой, по всей видимости висевшей прежде на стене, а теперь упавшей вниз, потемневшей картиной «Вид города Дюссельдорфа», и возвел взгляд к потолку, явно подчеркивая этим муки воспоминаний.

— Так зачем вам все это? Ведь это все давно забыто и прошло.

Густав Фонтана встал, застегнул темно-синий мундир — это была форма машиниста локомотива прусского королевства — и сказал:

— Именно потому, что это забыто и прошло.

Нотариус носовым платком отер пот со лба:

— Если бы революция по чистой случайности не началась в доме вашего двоюродного дедушки, все бы сохранилось, но теперь…

Густав Фонтана стоял перед столом нотариуса в задумчивости:

— Возможно, это вовсе не чистая случайность.

— Что вы имеете в виду?

— Все это не забыто, не прошло и не случайно.

— Такое высказывание впору вашему сумасбродному деду.

Густав Фонтана пожал плечами, провел рукой по двойному ряду пуговиц — пуговицы двумя дорожками разбегались к плечам, — надел форменную фуражку с крылатым колесом на кокарде и пошел к дверям нотариальной конторы.

— До завтра.

— Я все вам выпишу, что надо, — прокричал нотариус вслед.

4

«Мария и Йозеф, Мария и Йозеф» — стучали на стыках рельсов своими неутомимыми молоточками колеса мчащегося поезда. Мария и Йозеф — это было единственное, что не поддавалось забвению, столетиями никому и в голову не приходило выбрать другое имя. Мария и Йозеф, рождение и смерть, вода и суша, бескрайние болота, рыбаки на широких реках, крестьяне на маленьких клочках земли. Потом — большие плотины, которые построили в этой стране чужеземцы, хозяева нового мира, которые принялись делить воду и землю, разрушили древнее раздолье, воду по каналам пустили в море, а на узких полосках земли меж рек и озер поселили людей.

Они пришли сюда из бескрайней Польши, из Богемии, из просторов восточных земель. Мария и Йозеф обрабатывали землю, добивались от нее урожая, работали на ней как проклятые до самой своей бедняцкой смерти. Долгая, однообразная жизнь — но они забывали об этом, когда рассказывали друг другу бесчисленные истории. Чем страшнее нужда, беды и голод, тем чудеснее и волшебнее эти истории. Истории, которые были

уже неотделимы от их жизни, смешивались с нею и заменяли ее, которые были старше, чем живущие сейчас люди, которые продолжали жить, когда об этих людях уже никто не помнил.

Мария и Йозеф, округ Лодзь, округ Краков, округ Лемберг, поденные рабочие на полях и переселенцы, которые кочевали, колеся по всей стране, и оседали в глуши, осваивая все новые клочки земли. Переселенцы из Богемии, торговцы хмелем и табаком. В роду у них всегда были свои священники. Мелкие крестьяне, жившие в дельте Одера и Обры, в районе Познани, в округе Бомст, немцы или поляки — они сами никогда не знали, кто они.

А когда землю снова поделили, на этот раз ее получили господа, которые жили в Берлине и полей своих никогда в глаза не видели, владельцы поместий, не знавшие толку ни в историях, ни в песнях, — и тогда совсем маленькими сделались поля у тех, кто на них работал.

Вот так стояли они на пашне, согнувшись в три погибели, уткнувшись глазами в землю, забыв про небо, которое, впрочем, тоже забыло про них, не чувствуя солнца, которое жгло им спины, мотыжа эту черствую землю и переваливая ее корявыми лопатами, убирая урожай с помощью

старых, затупившихся кос и шатких граблей, стояли на этой тощей земле, которая за один день могла опять превратиться в болото и сгноить весь урожай.

Многие из них произносили загадочное слово «Америка», показывали рукой куда-то за горизонт, в поднебесные дали, и в один прекрасный день исчезали, а потом изредка слали письма, которые ходили по рукам, не обещая рая на земле.

Многие предпочитали махнуть на все рукой, они шли в поместье и нанимались на любую работу, какую им давали, на любых условиях, не сопротивляясь, покоряясь тому, что они называли судьбой, столь же неотвратимой, как лето и зима, как солнце и снег.

Но он не хотел становиться в очередь, которая каждую весну выстраивалась перед помещиками и их инспекторами, в ту длинную очередь — слишком длинную, как считали те, перед кем вышагивали эти люди, чтобы много часов спустя наконец-то решиться и выбрать себе служанку или работника, тех, кто будет возведен в высокий ранг услужения при господском дворе, тех, кто благодарно прижмется губами к протянутой господской руке в готовности отдать все, саму жизнь отдать за этого господина, выбравшего их

в этом году.

Его отец ушел в шахтеры, в Даброву, не из-за денег, которые он там зарабатывал, нет, из гордости, из-за необузданной, никаким голодом и никакой нищетой неодолимой гордости. Это была гордость, которая питала всю его жизнь, гордость за свою работу, за то, что он может так много работать, чтобы кормить себя и свою семью на этой земле, несмотря ни на что, и, если надо, работать круглые сутки без сна, быть несгибаемым в труде, которым он побеждал свою судьбу, противопоставляя ей свою гордость, силу и выдержку. Он знал, что согнуть его может только смерть, и, пока он был жив, он стоял гордо выпрямившись.

Йозеф Лукаш, забойщик из рудника Кенигсхюттe, стоял в последнем тамбуре поезда и сквозь узкое окно смотрел на железнодорожный путь, змеящийся и исчезающий среди фабрик, труб, домов, на быстро и неумолимо исчезающие между сигнальных огней рельсы, убегающие туда, откуда он пришел, и все стремительнее удаляющиеся вместе со шпалами и стрелками, по которым пробегал поезд. Быстро убегающая назад лента из гравия, деревянных шпал и рельсов, которая приковывала к себе взгляд и влекла за собой

назад, вдаль, где рельсы спокойно и неподвижно лежали на насыпи, как будто никакой поезд по ним не мчался, как будто там, за горизонтом, где эти рельсы составляли прочный, надежный путь, лежало прошлое, и до него было рукой подать, и оно всегда было там, незабываемое и вечное, то прошлое, из которого он пришел.

Прозрачное голубое небо над бескрайними просторами болотистых земель, спокойный полет орла, крик полевого луня, который взмывал в воздух, гонясь за болотным лунем, оба поднимались высоко-высоко и потом камнем падали вниз. Токующие кроншнепы, которые, дребезжа клювами, сидели на маленьком холмике, из года в год всегда на одном и том же холмике среди высоких трав дельты, теплые и влажные земли которой привольно раскинулись под полуденным солнцем.

Когда поезд, резко дернувшись, остановился, Йозеф Лукаш оправил черную горняцкую тужурку с серебряными пуговицами, надел шахтерскую фуражку с серебряным галуном, с серебряным значком в виде молотка и кирки, украшенную пучком белых перьев. Он хотел ступить на новую землю при полном параде, со всеми атрибутами своей профессии — в наряде прусского горняка,

он хотел вступить в будущее с той же гордостью, какой отличался его отец. Он выглянул из окна вагона и по складам прочитал название города: «Гельзенкирхен».

5

Загорелся сигнальный огонь «Путь открыт», начальник станции взмахнул флажком, Густав Фридрих Фонтана повернул рычаг на «полный вперед», отпустил тормоза и медленно открыл регулятор подачи пара. Пар с шипением пошел в цилиндры, и его локомотив, фыркнув, тронулся с места, таща за собой состав, свистя и выпуская клубы пара, выкатился из-под навеса вокзала, выполз из черно-белого облака дыма, который окутывал его коконом; коротко вскрикнул свисток, с ликованием воспевая свободу и долгожданное путешествие.

Он еще больше открыл регулятор пара, поставил рычаг на уровень нормального наполнения, и машина, разгоряченная, кипящая, дрожа от вожделения, заспешила вперед, покатилась, загремела, загрохотала по стрелкам, выбираясь на свободный, убегающий вдаль путь, потянулась прочь, словно готовая вот-вот взорваться, разгоняясь во всю силушку, магнетически притягивая рельсы, которые быстро исчезали под нею, а через секунду уже оставались позади.

Фонтана наслаждался этим мгновением разго-

на, этим кратким мигом, когда машина вольно набирала полный ход, а после этого оставалось только послеживать за ней, примечать сигналы, расстояние, которое преодолевалось с бешеной скоростью, боковые пути, которые с нахлесту, как удар кнута, исчезали под локомотивом, стрелки, со стуком пролетавшие под ним. Он чувствовал, как прогибается под ногами железный пол, как дух захватывает на поворотах, как жар обжигает тело, когда кочегар отворяет дверцу топки и забрасывает в красную пламенеющую дыру влажный черный уголь, и дыра, плюясь искрами, глотает подкормку. Он приоткрывал регулятор, и цилиндры выпускали маленькие белые облачка пара, шток поршня мощно ходил туда-сюда, а шатун толкал колеса, которые крутились на блестящих рельсах, как будто на одном месте, но все-таки они толкали поезд вперед, уверенно вели его через хитросплетение рельсов, сдерживали силу машины, выбирали верный путь, ведущий к свободе движения по рельсам, которые, подобно нитям основы, протянулись по всей стране и скоро опутают всю землю, которые ведут в будущее, которым можно довериться, которые соединяют города и страны, а все эти нити удерживает один навой, он их туго натягивает;

и точно так же, как когда-то раньше ткацкий челнок с клацаньем проносился через все нити, — так и концы рельсов ритмичным стуком отвечали машине, которая по ним скользила и, подчиняясь стрелкам, перебегала на новую нитку путей.

Вертелись колеса, и шипение улетающего пара увлекало за собой людей, перевозило их в другие страны, вызывало передвижение целых народов. Фонтана видел, как они входят в вагоны и выходят из них на вокзалах; они устремлялись с востока на запад, с юга на север, и машина увозила их далеко, через весь свет, который представал перед их взором, раскрывался перед ними во всем своем многообразии. Люди, знавшие прежде только свою исконную, привычную родину, люди, для которых весь мир сосредоточивался на небольшом пространстве вокруг их собственного дома и на узком круге их жизненного опыта, теперь оказывались на родине других людей, оседали там, но зачастую никак не могли пустить корни, оставались чужими, безродные и бесприютные, отправлялись дальше, в другие места этой земли, в поисках родины, пытаясь превратить в новую родину все более отдаленные и чужие местности.

Поезд катился мимо всех этих деревень и городишек, которые бог его знает где находились, которые не образовывали больше единственного средоточия жизни на этой земле, которые теперь просто оказывались в одном из пунктов на пути следования поезда и были в лучшем случае станциями, на которых он делал остановку, маленькими цветными пятнышками, легким узором, нанесенным на ткань земли, ворсинками на тонкой тугой нити, натянутой между двумя конечными пунктами… Поезд ткал свой узор по всему свету — из стали и угля, из самого движения, из людских надежд.

Фонтана любил это неугомонное движение, этот ткацкий челнок, снующий туда и сюда по заданной траектории, любил момент отправления и свободу самого путешествия, которая тем не менее была строго ограничена и во времени, и в пространстве, ведь с виду свободная удалая гонка, безоглядное упоение неуемной силой заканчивалось с точностью до секунды на запланированном заранее вокзале, на заранее известном пути, в заранее известном месте, — как заканчивал свой ход челнок там, где заканчивался предписанный узор. Все это требовалось выполнить в точности, все точно рассчитанные движения следовало

исполнять согласно предписанию, и когда он смотрел на свои железнодорожные часы, сверяясь с расписанием и глядя на подрагивающую секундную стрелку, которая вела за собой минутную, а та завершала час, то он мечтал уже о новом отправлении, о том мгновении, когда ощутит свободу и рванется вперед.

6

Подземный лабиринт, непостижимый даже для того, кто проводил свою жизнь в кромешной тьме, подобно горняцким лошадям, среди подъемных, вентиляционных и слепых шахтных стволов, среди горизонтов, пластов, очистных забоев, квершлагов, вентиляционных дверей и околоствольных дворов, кто, обливаясь потом, задыхаясь, ползал на карачках и лежа вгрызался в гору. Жизнь, слабо освещенная звездным небом шахтерских ламп там, под землей, ламп, которые передвигались вместе с работающими людьми, скапливались, складываясь в маленькие млечные пути, медленно перемещались по звездному небу подземелья, меняя за смену свое положение, вспыхивали то там, то тут, выходя на предписанную орбиту, а потом незаметно гасли во тьме горы. Этот ход вещей ничем не отличался от передвижения светил там, на земле, где звезды, подобно горняцким лампочкам, следовали по своим траекториям, не освещая тьмы, не напоминая своим сиянием, что там, под землей, тоже сейчас есть люди, — и вот все сливалось в единую ночь, в непроглядный мрак, в котором

жизнь течет ровно и монотонно, и вся она — одно непрерывное движение, состоящее из работы и сна, внутреннее, из-за своего однообразия почти неуловимое движение в лабиринте, из которого нет выхода. Жизнь, от которой не уйти, жизнь, в которой ты — пленник, орбита, с которой не сойти. Неисчислимы и вечны огоньки шахтерских ламп в подземелье — неисчислимы и вечны звезды на ночном небе.

Йозеф Лукаш, у которого был свой огонек и свое место на звездном небе подземелья, когда он по ночам в постели, мучаясь одышкой, не мог заснуть, считал вовсе не божьи звездочки на небе, нет, он считал дни, когда ему довелось увидеть солнце, и, сколько бы он ни считал, всегда получалось, что их очень мало. Если Господь Бог создал звезды не для бела дня, то Йозефа Лукаша Он явно создал не для солнца, Он поместил его на небосвод подземелья, где Йозеф серьезно и сосредоточенно, шаг за шагом и год за годом, при свете своей лампы молотком, кайлом и киркой выполнял свою работу. Когда после смены он поднимался на поверхность, была уже ночь, и тогда он, погрузившись в любимые мечты, долго еще, часами, сидел у окошка своей хибарки, смотрел на округу, освещенную слабым светом

звезд, на террикон, который рос с каждым днем, в том числе и благодаря его труду, и был уже выше того маленького домика, в котором он жил. Наподобие большой, тяжелой дамбы эта гора породы ползла на поля, разделяла реки и озера, которые образовывались из-за оседания земли. Земля, которая частенько врывалась в пустые штольни, оседала, если под слоем земли образовывались пустоты, — и тогда менялись русла рек и ручьев, возникали озера, в которых отражалось звездное небо, и Йозефу иногда казалось, что он сидит где-нибудь в дельте Обры между плотиной и водным пространством, которое то и дело меняет свои очертания.

Йозеф Лукаш, забойщик из Дальбуша, староста среди шахтеров, они сами его выбрали, несмотря на то что он был вестфальчиком — так называли всех, кто пришел из Восточной Польши. Ведь никто, кроме него, не умел так жестко и непреклонно вести со штейгером битву за зарплату. Никто, кроме него, не мог так точно определять, сколько угля здесь можно добыть, какой слой породы надо снять, рыхлая она или твердая и сколько времени нужно на постройку крепи. А если штейгер пытался зажать их заработок, Йозеф умолкал и терпеливо, не шевелясь, не го-

воря ни слова, начинал смотреть на штейгера. И штейгер понимал, что у такого человека, который буквально окаменел, который сам превратился в гору, много не выспоришь, и в конце концов требуемые деньги отдавал.

Он был среди них самым молчаливым и самым терпеливым, он мог сутками, не проронив ни слова, сидеть около угля в шахте и выжидать, когда, по его мнению, подземная погода станет благоприятной и можно будет орудовать молотком и киркой или когда устроить взрыв.

Он всю жизнь проработал забойщиком в Дальбуше и умер в своей кровати, которую придвинули к открытому окну, чтобы его забитые сажей легкие «ощутили хорошую погоду», как он сам выразился. Он умер, глядя на горящие на небосводе шахтерские лампочки, которые медленно гасли в утренних сумерках, умер от нескончаемого приступа кашля, выплюнув всю кровь своей жизни.

7

Густаву Фридриху Фонтана, машинисту локомотива прусского королевства, родившемуся в 1840 году в Изерлоне, суждено было, как и его отцу, начать и закончить свою карьеру в фирме «Киссинг и Мелльманн». Фирма экспортировала знаменитые кофейные мельницы с одногорбым верблюдом на этикетке по всему миру, вплоть до Южной Африки, имела филиалы и склады образцов в Париже, на рю де Паради, 21, в Амстердаме, на Бинненкант, 8, в Берлине, на Риттер-штрассе, 10 и 12 (в первом этаже), на Нойе-Петер-штрассе, 11, и Альте-Петер-штрассе, 43, во втором этаже, — то есть была фирмой с мировой известностью, в которой у его отца была небольшая доля капитала. Поездки агентов фирмы и их письменные рапорты об этом, которые его отцу приходилось изучать, создали в воображении юного Фонтана фантастический образ мира, который постепенно перерос в его заветную мечту. Хотя упомянутые адреса были адресами наиболее знаменитых филиалов, все-таки Фонтана не собирался стать управляющим одного из магазинов. Мир представлялся ему гораздо более подвижным, полным

зкзотики и сюрпризов. Гордая, тщательно и заботливо выстроенная империя «Киссинг и Мелльманн» казалась ему какой-то душной крепостью. Он выучился на гравера — в угоду своему отцу, в угоду фирме «Киссинг и Мелльманн» и еще потому, что стать машинистом локомотива можно было, только получив законченное образование в области металлообработки. Позже отец одобрил его выбор: ведь в этой новой и, надо признаться, захватывающей профессии машиниста локомотива дух авантюризма и дух порядка так причудливо переплетались, что любой порядочный бюргер был бы доволен.

Вот так тяга к свободе обернулась строгой деловитой жизнью хорошо осознающего свой долг чиновника с годовым доходом в триста талеров — их выплачивали раз в год. Он женился на Генриетте Вильгельмине Айхельберг, дочери Карла Айхельберга, владельца фабрики металлических изделий в Изерлоне, купил впоследствии дом в Берлине, формально был членом тамошней общины гугенотов, и когда, стоя перед зеркалом, он застегивал пуговицы на своем мундире, проводил по ним для контроля рукой, привычным точным движением надевал фуражку и выпячивал грудь, то он был весь — воплощенная надежность.

Первые годы своей службы он провел в Дюссельдорфе, где на своем любимом «1-А-1» ездил по маршруту Кельн — Минден, который пролегал через всю Рурскую область — через Дуйсбург, Оберхаузен, Гельзенкирхен, Дортмунд, мимо шахт и стремительно растущих рурских городов, мимо гор угля, для вывоза которого и была, собственно говоря, проложена эта ветка.

Во время франко-германской войны 1870–1871 годов он перегонял эшелоны с солдатами на фронт, во Францию, через только что достроенный новый железнодорожный мост. Назад, в Дюссельдорф, он вез убитых и раненых и, выглядывая из локомотива, наблюдал, как выгружали солдат, которые еще совсем недавно ликовали и размахивали флагами, а теперь лежали тихо и неподвижно на носилках или в гробах.

Позже он стал водить локомотив «1-Б» прусских железных дорог из Берлина в Познань, видел на вокзалах толпы людей, окрыленных надеждой, которые стремились на запад, а потом разрозненные кучки разочарованных, которые возвращались с запада. Он видел страну, которая простиралась до горизонта и за горизонт, одинаковая и неизменная, и через много часов пути нисколько не менялась, бескрайняя, бесконечная,

и рельсы несли его в эту бесконечную пустоту.

Он верил в будущее, чувствовал себя частью нового, стремительно меняющегося мира и радовался точной, безошибочной работе техники.

Когда его сын, тоже машинист локомотива, врезался в тупиковый упор и погиб из-за того, что кто-то ошибся и неправильно перевел стрелки, он до срока вышел на пенсию. Теперь он редко выходил на улицу, отрастил длинную белую бороду, глаза прятал за толстыми очками, а по вечерам завел обыкновение не менее часа читать Библию. Потом он заводил свои железнодорожные часы и, коротко кивнув жене, шел в спальню, раздевался, тщательно развешивал одежду на тяжелых стульях темного дерева с красной обивкой, ложился в постель и потом до утра, ночи напролет, слушал знакомые звуки, долетавшие с соседнего вокзала, заглушаемые тяжелыми портьерами и темной массивной, дубовой мебелью, и думал о своем. Отправление поезда, прибытие поезда, рычаг отпустить, регуляторы открыть — он ощущал легкое сотрясение колес, когда звякали хрустальные подвески на его ночнике, видел на потолке блики от прожекторов проезжающих мимо поездов; полосы отраженного света пробегали по цветастым обоям, он слушал жалобные, отчаянные свистки

локомотивов.

Однажды утром его нашли в постели мертвым. Выражение лица у него было самое благостное.

8

Мария была доброй и кроткой, она последовала за своим Йозефом из далекой польской глубинки, где Йозеф с нею и познакомился, когда отправился из Гельзенкирхена в паломничество, в Ченстохову. По-немецки она почти не говорила, у нее была мелодичная польская речь, черные волосы, карие глаза, и на мир она смотрела с извечной печалью. Даже если она улыбалась, глаза ее с задумчивостью и тоской смотрели куда-то мимо, в другой мир, которого здесь, в шахтерском поселке, она не находила.

Она заботилась о муже, о сыновьях, но этого никто вокруг не замечал, она работала с утра до ночи, надежная, как часовой механизм, работала со спокойным терпением и молчаливой внутренней выдержкой, которую никогда не теряла на протяжении всей жизни. Она точно и серьезно выполняла изо дня в день свои обычные обязанности, полностью погружаясь в ту работу, которую делала в данный момент, причем делала всегда с такой тщательностью, будто каждое движение, наизусть ей знакомое, она выполняла впервые в жизни и потому сосредоточивалась на

нем полностью, да, она всегда радовалась своей работе, и это придавало ее однообразному труду особую значимость, то достоинство, которое, пожалуй, ощущала только она.

Выпекая свой польский хлеб, тесто она месила целый час, не спуская с него глаз, да так усердно, будто это был некий святой обряд, с гордым смирением всецело отдаваясь служению тем людям, для которых работала, и в этом самозабвении не было ей равных.

Когда она стояла у плиты и орудовала раскаленными горшками, снимала их с огня или ставила на огонь, чтобы вовремя подать еду на сияющих тарелках; когда ей приходилось отдраивать на стиральной доске черные от угля, задубевшие от пота штаны и рубахи мужа и сыновей; когда она выжимала мокрое белье, выкручивая его своими сильными руками, а потом развешивала каждую вещь в определенном порядке на веревке в саду; когда гладила высохшее белье тяжелым утюгом, зашивала прорехи тонкими стежками; когда она с величайшей аккуратностью, с точностью до сантиметра, складывала те из вещей, которые называла своим приданым и на которых вышила свою монограмму — несколько простыней, пододеяльников, полотенец, — приглаживая их

огрубевшими руками, потом укладывала их в особый ящик комода, опять легонько поглаживая ткань рукой, чтобы края белья легли ровнее, — это были для нее минуты счастья, которыми она наслаждалась в полном одиночестве и которые каждый день наполняли ее радостью.

Шахтерский поселок, который стоял среди чистого поля, недалеко от самой шахты, составлял весь ее мир. Она никогда в жизни его не покидала. Всю свою жизнь провела она в этом гетто из красного кирпича, где говорили в основном по-польски, жилье давали далеко не каждому, только забойщикам с большим стажем, и все они отлично говорили по-немецки, но польский был им все равно роднее, и дома они разговаривали по-польски, ведь дом есть дом. А если случалось ехать в Гельзенкирхен, то там тоже можно было пойти в польские лавки, где продавцы говорили по-польски, или в польский банк, если надо было отправить деньги на родину. Но Мария даже в Гельзенкирхен не ездила; если же надо было выправить какие-нибудь бумаги, она перепоручала это Йозефу, а сама оставалась в поселке. Она покупала все, что надо, прямо здесь, она знала каждый дом, каждого человека, знала о превратностях судьбы каждого в этом маленьком мире. Если она

и выходила из дому, то только для того, чтобы проверить, не высохло ли белье, ровненько развешанное на веревке в саду, чтобы присмотреть за свиньей или насыпать корм курам, которые беспокойно квохтали в загородке. Она стояла и смотрела, когда Йозеф по вечерам копал огород, чтобы посадить картошку и капусту. По воскресеньям она наряжала детей, надевала свое лучшее платье и шла гулять по поселку, а когда погода бывала особенно хороша, то и по окрестностям, но не увлекалась, поскольку с одной стороны от поселка находилась шахта, а с другой — город и у Марии не было никакого желания видеть ни то ни другое. Ведь она осталась здесь потому, что ничего другого не искала, мир вне поселка и шахты для нее не существовал. Существовала только ее семья, дети, муж, дом, в котором все они жили. Большие города, железная дорога, корабли, другие страны и континенты — все это не имело для нее никакого значения, они ее не интересовали. Не читала она и газет. Она считала, что знает все, что ей нужно для жизни, и все, что происходит в мире и может повлиять на нее, она вовремя почувствует. Если случался кризис, мужу приходилось по праздникам выходить на работу или платили маленькую зарплату, она

все равно была уверена, что справится с невзгодами, и не боялась. Если же заработки росли, она продолжала экономить, ни одного пфеннига не тратилось на безделицы. И далее если бы под гнетом обстоятельств рухнуло все, она выдержала бы и тогда, когда мужество теряли абсолютно все, — она встала бы утром и занялась делами насущными и никогда не задумывалась бы о завтрашнем дне, она работала бы целый день, а вечером, чуть живая от усталости, падала бы в кровать.

Вот так она и выносила все, что выпадало ей на долю, — и жизнь, и смерть, она по-прежнему трудилась, и отношение ее к работе не менялось. Она ухаживала за мужем и сыновьями, когда из забоя они возвращались полумертвые или смертельно больные, ходила за ними до самой их смерти, ухаживала и потом, когда они уже лежали на кладбище. Она работала ради своих внуков, постепенно состарилась, волосы у нее поседели, но держалась она всегда прямо, и ее старушечьи глаза по-прежнему печально, с тоской смотрели на мир, и когда однажды она заметила, что силы покинули ее, что работа теперь сильнее ее, что прежде в их поединке победительницей выходила всегда она, а теперь работа победила, то она

опустилась на пол в углу спальни и стала биться головой о стену — и убилась до смерти.

9

Если смотреть с железнодорожного моста, то город странной кривой загогулиной лежал на берегу Рейна, который описывал здесь большую дугу. Рейн был могущественнее, чем город, он подчинил город (себе, и тот прижимался к реке с некоторой угодливостью, склонялся к ней подобно кривой башне городского собора Святого Ламберта, словно делавшей легкий книксен с вечной просьбой о том, чтобы следующее половодье затопило Нижний Рейн, но пощадило бы Дюссельдорф.

Лицом к суше, отвернувшись от Рейна, чтобы напрочь забыть о властительной реке, стояли небольшие домики, хозяева которых жили повернувшись спиной к воде и к плотинам. Они жили, работали, устраивали праздники, и надо сказать, праздников было немало. Поскольку времена были таковы, что особых причин для смеха не было, а за городской стеной тоже дивиться было нечему, ведь никаких крупных событий не происходило, — у жителей развилась замечательная способность прежде всего как следует посмеяться над собой, а также над мелкими превратностя-

ми жизни. Поэтому пьяный сосед с благостным выражением лица представлял для них замечательный повод для веселья, который нельзя было упустить. Такое веселье могло продолжаться годами, а чтобы не огорчать соседа, чтобы и он мог повеселиться вовсю, все вокруг напивались тоже и больше всего любили, если хозяйка после этого везла пьяного хозяина в тачке домой, а он бы еще и песни распевал. Соседи потом много лет подряд со смехом вспоминали о таких вот происшествиях. Забавы жителей были весьма скромны, но поскольку они обставлялись всяческими церемониями и граждане предавались им с большой обстоятельностью, то в городе уж никак не могло появиться слишком строгого отношения к труду, для такого отношения просто не было никакой почвы.

Не успевали горожане приняться за какое-нибудь дело, чтобы со всей ответственностью, то есть никуда не спеша, его выполнить, как начинался какой-нибудь карнавал, или ярмарка, или стрелковый праздник, к этому можно добавить целую серию именин в честь всех святых и не очень святых, христианские и нехристианские праздники, торжества в честь создания разнообразных обществ и юбилеи, когда уже сама

обстоятельная подготовка к торжеству превращалась в праздник. А кроме того, были ведь еще и семейные праздники, на которые съезжалась вся окрестная родня, чтобы отметить дни рождения, именины, крестины, похороны, стараясь заодно и Дюссельдорф посетить. Не успевали у городских ворот проститься с одним родственником, как являлся следующий, везя гостинцы — сало и ветчину, картошку и капусту, а если в кои-то веки вдруг совсем никаких праздников не было, тогда хозяин какого-нибудь трактира откупоривал новую бочку, и огорчить его невниманием было никак нельзя.

Временами, когда с кем-нибудь случался удар, человек с удивлением обнаруживал, что жизнь-то прошла, но все равно умирал стойко, потому что здесь глубоко укоренились взгляды, которые были возведены в ранг своеобразной философии; один из постулатов гласил: «Ничего не поделаешь, такова жизнь. Прими ее такой, какая есть, и не робей, живи». Возразить на это было нечего, да никто и не возражал, истинность постулата признавали все. Так что и плохие, и хорошие времена они принимали с равным благорасположением, ибо, во-первых, изменить все равно ничего было нельзя, во-вторых, что

есть, то есть, а в-третьих, что ты ни делай, все будет неправильно. Вооруженные жизненной философией, которая благополучно передавалась из поколения в поколение, горожане, как правило, с благодушием переносили уготованные им невзгоды — будь то собственная судьба или же политические перемены. Случались хорошие времена — и все считали, что, конечно, могло быть и лучше, но придется довольствоваться тем, что есть. А случались худые времена — и все считали, что все могло быть и хуже, поэтому надо радоваться тому, что есть. Таким образом, все предпочитали в жизни золотую середину, и это заставляло воспринимать события с изрядной долей скепсиса, но и с неменьшей долей юмора. «Питер, Питер, не робей, чарку полную налей!» — с такими самодельными плакатиками, которые всем очень нравились и надежно гнали всякую тоску прочь, все эти Питеры и их жены расхаживали по городу и провозглашали, обращаясь друг к другу: «Если нельзя ничего изменить, значит, так тому и быть».

Вот так оно и случилось, что в течение десяти дней этот город отпраздновал сначала возвышение их курфюрста до короля Баварии, потом — его свержение, после этого — появление нового

Великого герцога, после чего приветствовали Наполеона, поэтому не оставалось времени, чтобы протрезветь и задуматься о том, принадлежали ли они теперь к Великому герцогству Берг, или же к Баварии, или к Франции. Простому обывателю бросалось в глаза только разнообразие и быстрая смена денежных знаков, которые он с ходу переводил на бочонки пива и только так мог оценить их стоимость, — и всегда получалось, что на каждую новую монету, которую власти вручали горожанам, можно было купить все меньше пива, и это был прекрасный повод тут же обменять новые деньги на можжевеловую водку и пиво. Жить в свое удовольствие — священнее этого постулата для них ничего не было, и священник мог манить их хоть райскими кущами, хоть грозить им адскими муками, все равно святое правило жизни: «Кому нужна плохая жизнь» — для граждан этого столичного города-резиденции никак не противоречило Божественным законам. И если бы какой-нибудь чужак во время этих непрерывных празднеств обратился к горожанам с вопросом, что они думают по поводу политических событий в своем городе и не смущает ли их то, что город при каждом удобном случае меняет правителя, то он получил бы чистосердечный ответ: «Ох, не

стоит так беспокоиться на этот счет!»

Именно такой вот образ жизни горожан побудил Фридриха Фонтана, младшего сына Густава Фридриха Фонтана, поселиться в Дюссельдорфе и первым делом купить себе соломенную шляпу. Он лихо заломил ее на своей «балде» — так он обычно называл свою голову, — полный решимости провести грядущую жизнь без труда, забот и огорчений.

10

Ровно через день после похорон отца Йозеф Лукаш попал во время смены под завал, который горняки именуют обычно «крышкой гроба». Так они называют подвижные горы породы, которые слабо держатся на висячей кровле пласта и могут совершенно неожиданно обрушиться, даже если крепь самая надежная. Рухнувшие камни раздробили ему обе ноги, а когда его подняли наверх, то на черном лице Йозефа выделялись только белки вытаращенных глаз да разинутый кроваво-красный рот, из которого рвались настолько душераздирающие крики, что работа на миг замерла. Его ноги болтались сами по себе, как у брошенной тряпичной куклы, туловище извивалось в судорогах, и только пронзительный крик, который на несколько секунд взвился выше башни копра, звеня у всех в ушах, говорил о том, что Йозеф жив.

Когда через несколько месяцев его привезли домой без обеих ног, он долго безмолвно сидел в углу. Он не разговаривал ни с женой, ни с детьми и лишь изредка бормотал: «Горняцкая рубаха — смертная рубаха» — или же напевал по ночам,

когда все спали:

Снимаю кротко в миг кончины
Я черный китель горняка,
Фонарь кладут со мной в могилу,
И там же – молот и кирка.
Одежды белые дарует мне Господь,
Ведь только небо – справедливости оплот.

Однажды утром он потребовал зашторить окна, велел принести угольной пыли, натер ею лицо, ни на какие вопросы не отвечал и с тех самых пор всегда сидел в темноте, чернил лицо углем, не брил бороду и не желал ничего знать о внешнем мире. Старший сын смастерил для него трон из грубых досок, с которого он отныне не слезал и в котором проводил и дни и ночи, здесь же он спал сидя, забываясь на несколько часов. А еще он потребовал себе корону из золоченой бумаги, которую ему вырезал внук, попросил жену дать ему кусок красной гардины, который перебросил через плечо, и теперь именовал себя только Угольным Королем, и никак иначе.

Если его навещали друзья-горняки из его шахты, то он пускался в мрачные прорицания о том,

что Бог-де перевернет землю и тогда кровля окажется внизу, а почва пласта — наверху, шахты будут копать из глубины наверх, раскаленная земля глубин попадет тоже наверх и смешается с углем, уголь запылает огнем и на поверхность земли хлынет адский жар. При этом Йозеф оскаливался, дико вращал глазами, которые страшно белели на его черном лице, и показывал гостям красный язык.

Потом он начал утверждать, что слышит голос своего предка из Дабровы, который лежит погребенный внутри горы и отчетливым голосом провозглашает истину, и ему надо записать эти слова. Он потребовал принести оберточную бумагу и принялся писать, то и дело замирая и прислушиваясь к внутреннему голосу:

Заповедная истина.

Господь создал мир за шесть дней.

Господь не отдыхал на седьмой день.

Заповедная истина.

На седьмой день Господь стал прятать уголь.

Господь запрятал уголь глубоко в землю, чтобы его нельзя было достать.

Заповедная истина.

Если люди выкопают уголь, рай для них потерян.

Если уголь увидит свет дня, то он превратится в огонь.

Все, что появится благодаря этому огню,

будет уничтожать людей.

Железо и сталь вновь обратятся в огонь,

и все люди от этого погибнут.

Сие есть заповедная истина.

Эту истинную «Господню» заповедь, которую поведал ему предок из Дабровы, до сих пор лежащий внутри горы, он прибил гвоздями к своему трону и разрешал читать ее всякому, кто обещал проповедовать это откровение и нести его дальше по свету.

Когда однажды к ним явился местный врач и стал интересоваться Откровением Йозефа, верная жена героически поклялась, что Йозеф никогда ничего подобного не писал. Врач, казалось, поверил ей, но с тех пор всякую бумажку, которую Йозеф по ночам испещрял письменами, она по утрам выбрасывала в печку. Когда Йозеф как-то случайно обнаружил это, — он просто потребовал

назад только что по-новому открывшуюся ему и записанную им историю о трех волхвах, — то он сказал только: «Ну и хорошо. Предсказание исполнилось. Мы все закончим нашу жизнь в огне». Писать ему больше не разрешали, поэтому он замолчал окончательно, и вскорости его нашли мертвым на троне. В руке он сжимал маленький клочок бумаги, а на нем — несколько слов, которые никто не смог разобрать.

11

Променад, совершаемый Фридрихом Фонтана, начинался каждый день с некоего ритуала, который торжественно выполнялся на пороге дома и гарантированно собирал толпу зрителей. Сначала он поднимал взор вверх и оценивал погоду, потом одним точным движением насаживал на свою «балду» соломенную шляпу, лихо заломив ее набекрень, вынимал сигару из серебряного портсигара, затем решительным взмахом висящего на цепочке от часов сигарного ножика с перламутровой ручкой обрезал кончик сигары, вдохновенно подносил ее ко рту, при помощи спички поджигал специальную лучинку и начинал тщательно раскуривать сигару, делая короткие, но неторопливые затяжки. Когда сигара разгоралась, он с необычайной ловкостью тростью описывал в воздухе сложную траекторию и начинал прогулку.

Вся эта процедура, с годами доведенная до совершенства, производила впечатление циркового номера, отточено было каждое движение, все вместе складывалось в одно гармоническое целое, ровно через сорок пять секунд он делал

первый шаг и при этом, хитро прищурившись, посматривал на довольных зрителей, ради которых, собственно, и задуман был этот совершенный в своем роде номер. В легком светлом сюртуке, в панталонах цвета беж, в белых башмаках и переливающейся всеми цветами радуги шелковой крылатке, схваченной бриллиантовой булавкой, он плавно плыл по городу, выписывая в воздухе сложные фигуры своей тростью.

Променады такого рода были его излюбленным занятием. Больше всего на свете любил он прогуливаться солнечным денечком по оживленным улицам, здороваться со старыми знакомыми, заводить новых, приглашать их выпить стаканчик вина да посидеть в прохладном дворике какого-нибудь питейного заведения и там, покойно положив руки на серебряный набалдашник своей трости так, чтобы непременно был виден красный агат на его золотом кольце, мирно болтать с другими посетителями, разглядывать прохожих, самому покрасоваться, поприветствовать всех и каждого, мастерски жонглируя своей шляпой. Он мог бы сидеть так часами, если бы не приятная необходимость продолжить променад, чтобы заглянуть еще в какое-нибудь уличное кафе, а это всецело зависело от положения солнца на небе и

от проходящих мимо знакомых. Его блаженное, светящееся внутренней радостью и излучающее эту радость лицо расцветало за день от изрядного числа бокалов рейнского и мозельского, а он был известным знатоком и того, и другого. Он ненавидел долгие прогулки, ему вполне достаточно было Хофгартена как конечной цели путешествия, а парки Малькастена и Тонхалле, расположенные на самом краю старой части города, считались крайними пограничными пунктами его прогулок и удостаивались его усилий только потому, что там он мог под сенью старых деревьев весьма приятно провести время, болтая с художниками и сведущими в искусстве горожанами.

Фридрих Фонтана, который родился в 1866 году в Берлине, по чистой случайности именно в тот день, когда разразилась битва при Кениггретце, должен был, как и его отец, стать машинистом локомотива, однако элегантно уклонился от своего предназначения, совершенно сознательно перепутав на экзамене по управлению локомотивом красный и зеленый цвета, поэтому его сочли дальтоником и признали профессионально непригодным. После этого он прошел военную службу в прусском гвардейском артиллерийском полку, который, как он любил

отмечать, «по праву носит звание Первого», а затем окончательно покинул Берлин, поскольку прусские представления о службе и долге были для него непереносимы. Он любил, чтобы было повеселее.

В поисках дальних родственников он наконец осел в Дюссельдорфе, но не обошлось без интрижки, которая до того, еще в Изерлоне, обернулась коротким, но пламенным любовным увлечением некоей Хеленой Беккер, дочерью Беккера-младшего, владевшего фабрикой металлоизделий в Изерлоне, и закончилась женитьбой. Прекрасная Хелена была певицей и только что завершила курс обучения, поэтому лелеяла планы снискать славу в Дюссельдорфе, так что не только любовь и тяга к искусству, но и общая цель — Дюссельдорф — свела их вместе.

Хелена Беккер-Фонтана добилась ангажемента в Дюссельдорфском театре, но ее колоратуры никогда не позволяли ей петь знаменитые заглавные арии, в чем, разумеется, виноват был директор театра. Фридрих Фонтана, страстный любитель итальянской оперы, проводил вечера в театре, восхищаясь своей женой, ночи — в компании певцов и художников, сидя в различных ресторанчиках, а дни — на прогулках.

К сожалению, со временем обнаружилась необходимость зарабатывать деньги, ибо приданое прекрасной Хелены, которое сразу было вложено в выгодное дело, приносило пока лишь скудные проценты. Фонтана сделал попытку заняться улаживанием дел между людьми, у которых что-то есть, и людьми, которые хотят что-то приобрести, каковых в Дюссельдорфе презрительно именовали «кубышками». Поскольку Фонтана любил искусство и его деятелей больше всего на свете, а у жителей Дюссельдорфа нет-нет да и появлялась потребность в искусстве, он решил, что такое посредничество — это именно то, для чего он рожден. Он начал с перепродажи подержанных нот из театра, затем перешел к торговле картинами своих друзей-художников, потому что в работах Дюссельдорфской школы — а это было ведущее направление в живописи, которое развивала местная Академия художеств, — он к тому времени уже изрядно разбирался. Впрочем, дружбу с тем или иным художником он ставил выше, чем качество его картин, ведь «симпатичный свой парень» в принципе не мог написать плохую картину. Своим клиентам он толковал картины, объясняя их особенности характером автора, что делало понимание искусства гораздо человечнее.

Если клиент проявлял нерешительность, то он сводил его с художником за бутылочкой хорошего вина, что неизменно приводило к одному и тому же результату: любитель искусства возвращался домой с двумя картинами под мышкой, слегка покачиваясь, но очень довольный.

Он полюбил торговать картинами братьев Ахенбах и охотно имел с ними дело. Оба были профессорами Академии художеств; поскольку Андреас казался ему слишком северным, холодным, он специализировался на Освальде и его учениках: они писали южные пейзажи, натюрморты и жанровые сценки весьма пикантного свойства. Видя такую картину, горожанин, желающий приобрести произведение искусства, непременно восклицал: «Вот это искусство, я понимаю. Вот это картина так картина».

Одно влекло за собой другое. Фонтана сам обожал читать путевые дневники, описания нравов и заметки о приключениях в дальних странах — соответственно, он завел торговлю новинками на эти темы, так что жилище его вскоре превратилось в салон произведений искусства. Уже в прихожей в глаза бросались бесчисленные южные пейзажи в рамах и без рам, представлявшие собой заметные только опытному глазу

вариации одного и того же сюжета. Гостиная пестрела головками рыбаков, букетами цветов, узкими уличками в лучах заходящего солнца, которые висели на стенах, рассортированные по сюжетам. В спальне, вплотную к кровати, стояли тома путевых заметок и приключенческих историй со всего света в роскошных переплетах и с золотыми обрезами. А посреди гостиной стояло пианино, и здесь мадам Беккер-Фонтана, неизменно жизнерадостная Хелена, давала уроки пения, причем тех учеников, которые делали успехи, она заставляла петь в костюме и маске, чтобы они «вошли в роль», а когда занималась с учениками, уже достигшими настоящего мастерства, то и сама надевала сценический костюм, и такие дуэты ученика и учительницы создавали своеобразный драматический фон для деловых разговоров Фонтана с клиентами, так что иной покупатель просто-напросто терял дар речи, ничего уже не видел и не слышал и приходил в себя только на улице, с картиной под мышкой.

Зиму, это хмурое, ненавистное время, которое, измываясь над ним самым гнусным образом, отнимало у Фонтана возможность совершить променад, он проводил по большей части в постели. Он прочитывал за день от двух до трех книг

про путешествия по Африке и Азии и благодаря своей фантазии в известном смысле жил все это время в весьма теплых краях. Его знания в этой области благодаря не одной сотне прочитанных книг были столь блестящи, что по вечерам он часто, закутавшись в меховую шубу и обмотавшись теплым шарфом, проклиная холода, отправлялся в казино, где по очереди заседали Общество любителей Африки и Китайский кружок, и подробно, щедро вдаваясь в детали, с драматическими интонациями и красноречивыми жестами повествовал о своих путешествиях. Его рассказы о полном приключений кругосветном путешествии, которое он совершил, будучи еще совсем молодым человеком, были так красочны и увлекательны, были до того проникнуты истинным чувством, которое он в момент рассказа испытывал сам, что таких вечеров ни один член упомянутых обществ старался не пропускать. Его охоты на львов в саваннах Африки, его путешествие с караваном под палящим солнцем Сахары, плавание по Янцзы, ночи, проведенные в джонках под желтым светом восходящей луны, в ночной тени парусов, под едва слышные далекие звуки храмового гонга были до того зримы, что все слушали его с величайшим напряжением; затаив

дыхание, они плыли вместе с ним по широким, желтым от глины рекам, добирались бесконечными караванными путями от оазиса к оазису, блаженно качались вместе с ним в носилках под балдахином и прислушивались к долетающим издали странным напевам туземцев.

Оба общества объявили его своим почетным членом, а когда он после своих выступлений шел по темным, холодным улицам и площадям города, он ощущал легкий вечерний ветерок саванны, а берег Рейна казался ему берегом Янцзы, где на волнах качаются джонки рейнских рыбаков. Жизнь, труд и фантазию он соединил в одно единое целое и границ между ними уже и сам не видел, все считали его человеком, повидавшим мир и сведущим в искусстве, и он в состоянии вечного блаженства плыл по этому миру.

Когда в октябре 1896 года, незадолго до его тридцатилетия, в Дюссельдорфе, как всегда, торжественно и пышно открывали памятник императору Вильгельму I, кайзеру-герою, созданный его другом, профессором Янсеном, то, выступая от имени Общества любителей Африки и от Китайского кружка, он указал присутствующим на барельефы, расположенные по обеим сторонам постамента, изображавшие аллегорию

заката Римской империи Германской нации и ее возрождение в нынешней Германской империи под скипетром Гогенцоллернов, — И все утвердились во мнении, что нынешний берлинский кайзер лелеял точно такие же фантастические несбыточные мечты и точно так же по вечерам читал книги о приключениях.

12

Йозеф Лукаш, внук приехавшего из бескрайних восточных земель другого Йозефа Лукаша, который умер оттого, что легкие у него почернели, замерли и превратились в камень, сын того Йозефа Лукаша, который переселился на небо без обеих ног, сидел на ступеньках своего дома, которые вели в сад, и смотрел в вечернее небо.

По вечерам он частенько сиживал здесь, погрузившись в мечтательную задумчивость, смотрел на закат, разливающий над горным отвалом свой тусклый багрянец, который соединялся с заревом доменных печей в единую огненную массу, и она, как лава, текла по всему склону, быстро впитываясь в грубую горную породу, оставляя после себя лишь слабый, неяркий свет. Полосы белого дыма от коксовальной установки вяло плыли в вечернем воздухе, растворяясь в струях слабого ветерка над горой породного отвала, которая становилась все чернее и выделялась на местности, как скальный монолит, испокон веку возвышавшийся здесь. Вечернее небо, которое не темнело, а просто сменяло скучный солнечный свет на дымный багрянец, расцвеченный внезапными

сполохами доменных печей, — трепетало, словно пронизанное дальними зарницами, ржавой краснотой заливало всю местность, копер, где неторопливо крутились колеса, и темным пунцовым отсветом падало на лицо Йозефа Лукаша, серьезное, выразительное, еще не огрубевшее от угольной пыли, отражалось в задумчивых глазах, отсвечивало на густых темных волосах.

Йозеф любил природу, а это была природа той местности, где он жил. Местности, где не было времен года, где зима отличалась от лета только температурой, тем, что длиннее становились то дни, то ночи, или тем, что в саду что-то зеленело, а потом на улице появлялась серая слякоть. Других отличий не было, не было знойного голубого неба, пшеничных полей и теплых озер, не было вьюг, метущих по белым замерзшим полям, морозного треска деревьев в заснеженном лесу. Но если лето и зима еще как-то различались, то весну и осень вообще никто не знал, они проходили незамеченными. Нечему было здесь цвести и нечему увядать, на черных от угля лугах среди шахт росла лишь бесцветная колючая трава, на цветы у земли сил уже не хватало, на кустах не набухали почки, деревья и вовсе не росли, поэтому никакой опавшей листвы осенью не

было, никто не любовался осенним золотом, не искал каштаны среди шороха листьев, не собирал урожай.

Погода на земле приспособилась к погоде под землей, все было монотонно, все — искусственно, год протекал одинаково — как на земле, так и под землей: тупо, однообразно, без календаря время года распознать было невозможно, да и календарей-то у многих не было. Когда кому отдыхать, а когда идти в забой, определяло правление шахты, были еще воскресенья, праздники, но иногда и в эти дни приходилось идти на работу. Летом надевали белье потоньше, зимой — потеплее да куртку потолще.

И все же, если бы Йозефа спросили, где его родина, он указал бы на тот клочок земли, что был у него сейчас перед глазами, на закат солнца, которым редко мог налюбоваться вдосталь, на гору породы, на луг перед нею, который с годами постепенно превращался в топкое озеро, потому что земля здесь проседала, тихо съеживаясь, устав от того, что человек делает с нею на ее поверхности и в ней самой. Поговаривали, что когда-нибудь сюда снова придет вода и в конце концов они будут сидеть на верхушке горного отвала и считать затопленные шахты.

Родина — это была и шахта Дальбуш, где он жил, на земле и под землей, где половину жизни провел он в проходах и штольнях внутри горы. Однажды гора уже попыталась оставить его у себя, целый день он просидел в завале: кровля обрушилась, и его зажало в узкую щель, а рядом, вплотную к нему, лежал его товарищ, их завалило лежа, в том положении, в котором они добывали уголь, они дышали в лицо друг другу, один набирал дыхание, другой выдыхал, и два сердца громко стучали под шорох осыпающегося где-то угля. Несколько часов они молчали, потом другой шахтер сказал: «Надо же, засыпало — так именно с поляком». А Йозеф, который о Польше слышал только из рассказов, стал тихонечко, себе под нос, говорить:

Взошла луна златая,
И звездочки сияют
На ясных небесах.
Угрюмый лес чернеет,
И сказочно белеют
Туманы на лугах.

Йозеф встал, медленно пошел по саду, его размягченное лицо и тонкая фигура уже почти

терялись в темноте, которая надвигалась от горы и ползла по земле. Он осматривал каждую грядку и подолгу в задумчивости стоял около каждого заботливо ухоженного растения. Ветра почти не чувствовалось, как всегда в эту пору. В сарае возились свиньи, они уже двух вырастили — одну продали, другую забили, — на пороге курятника в нерешительности стояла курица, он пугнул ее, взмахнув рукой, она захлопала крыльями, потом все стихло.

За садами и огородами, которые тянулись позади домов, виднелись ряды белья, развешанного на веревках. Это было белье целой смены шахтеров, оно покорно болталось на веревках в свете угасающего дня, бросая едва различимые тени, вздуваясь пузырями, когда с горы набегал вечерний ветерок. Из какого-то дома доносилось тихое «Сердечна Матко — горячо любимая Матерь Божия» — это христианский кружок вполголоса напевал песню, запрещенную полицией, и сейчас они изо всех сил старались пропеть ее как можно лучше, ведь немецкие чиновники ничего в ней не понимали. Между двумя веревками белья стояли мужчины и негромко переговаривались усталыми голосами, речь шла о каком-то мастере, потом о новом пласте, который собираются раз-

рабатывать, они называли этот пласт «звездным» и смеялись.

На самом краю шахтерского поселка стояло дерево, все так и называли его — «дерево», оно осталось там, когда строили дома, его просто забыли выкорчевать, оно одиноко высилось посреди пустыря, последнее в своем роду, единственное дерево, которое не спилили и не пустили под крепежный лес. Никто не знал, что это за дерево, на нем никогда не было листьев, оно не росло, но и не погибало, оно стояло голое и неподвижное, раскинув мертвые сучья, и медленно превращалось в камень. Йозеф прошел мимо веревок с бельем и направился к дереву, он знал, что там ждет его Мария.

13

Летом 1902 года Фридрих Фонтана совершал длительное путешествие по Востоку, через Египет и Нил до Нубии. Не одну неделю провел он в Каире, в арабском кафе, где из мраморных чаш били фонтаны, создавая приятную прохладу среди царящей жары. Напротив, освещенный неумолимо жгучим солнцем, сиял мраморный фасад мечети, вспыхивали позолоченные купола, а кружевной минарет со смелыми стрельчатыми арками и сетчатым фасадом, казалось, неудержимо устремлялся в темно-голубое небо.

На площади перед мечетью, совсем рядом с шумной медресе, толпились арабы и негры, бедуины и индусы, бородатые, загорелые, горбоносые, в фесках, в тюрбанах и в длинных бедуинских одеждах, клубок галдящих, орущих, торгующихся людей из разных стран, а через всю эту толпу невозмутимо шествовали верблюды и ослы, нагруженные товаром и обвешанные пестротканными коврами, и покорно покидали суету базара, где рядом с торговцами располагались заклинатели змей, глотатели огня, водоносы и нищие.

Поодаль стояли спокойные господа в цилин-

драх со своими женами; покачивая головами, они взирали на суматоху, устроенную туземцами; нет-нет да и появлялась стайка прусских офицеров, которые потешались над диковинными нравами чужих народов.

Фридрих чувствовал себя здесь, за массивными городскими воротами с мраморными зубцами и железными решетками, как у себя дома, то, о чем рассказывали его книги, стало явью, суета и крики в узких, столь живописных, на его взгляд, переулках, арабы-торговцы на базаре, где он, устроившись среди мастерских и лавчонок, предлагал картины Дюссельдорфской школы.

Его жена, прекрасная Хелена, сидела в соблазнительной позе, словно одалиска за решетчатыми окнами гарема, а по вечерам выступала в уличном восточном театре со своими итальянскими бравурными ариями и имела колоссальный успех.

Кроме того, Фридрих наблюдал вечернее сражение армады военных судов под предводительством его величества кайзера Вильгельма II, причем никто не ожидал, что будут выпускать настоящие торпеды, которые, к радости публики, поднимали столбы воды до пятидесяти метров высотой. Потом показывали блокаду судами

некоего порта, уничтожение порта, гибель вражеских судов, а попытку бегства некоего крейсера останавливали взрывом мины. В свободные от представлений дни они прогуливались мимо греческих, романских и готических павильонов, мимо дорических храмов с выступающими остроконечными порталами, увенчанными глобусами, светильниками или позолоченными статуями богини Виктории, проходили через ионические колоннады, где на страже стояли громоздкие обелиски, и попадали на лоджии в стиле ренессанс. По канатной дороге они поднимались над долиной Циллерталь, казалось, электрический подъемник поднимает их еще на тысячу метров выше и они летят над горными цепями и пропастями с видом на массив Ортлер, а спуск шел гладко и легко по наклонной горке, словно на соляных копях в Берхтесгадене, мимо переливающихся на солнце соленых озер и завершался на настоящей голландской мельнице, где можно было наслаждаться шумом моря.

Для Фонтана это было лучшее время — весь этот год, проведенный на большой Дюссельдорфской выставке промышленности и ремесел, и он очень жалел, что дальше уже нельзя будет проводить дни своей жизни как выставку, как удачную

инсценировку под аплодисменты присутствующих. Павильоны с молчаливыми орудиями и броневыми башнями, пробитые пулями бронированные плиты у входа не привлекали его внимания, хотя это тоже была та часть выставки, которая превращала жизнь в великую, поначалу также сопровождаемую аплодисментами инсценировку.

Самым забавным оказалось то, что инсценировка и далее играла большую роль в его судьбе. Жизнь в Дюссельдорфе стала казаться ему теперь чересчур пресной, обывательской, к тому же и Дюссельдорфская школа вышла из моды, поэтому он с дерзновенной решительностью уничтожил свою частную галерею искусств, заказал себе макет морского сражения и отправился с этой инсталляцией, прихватив палатку, а также прекрасную Хелену в качестве ведущей представление, по всей Европе, где в больших городах он показывал это морское сражение, никогда не забывая привести флажки победоносного флота и флажки на тонущих кораблях в соответствие с посещаемой страной и ее смертельным врагом.

В 1914 году на него обрушилась реальность, инсценированная пушечной канонадой в Париже. Его семья долгое время ничего о нем не

слышала, но придерживалась того мнения, что уж он-то не пропадет. В начале двадцатых годов его дочь и сын, которые так и оставались в Дюссельдорфе, получили фотографический снимок. На нем изображены были мужчина и женщина перед двумя витринами, в которых манекены демонстрировали ткани, элегантно накинутые на плечи. Над витринами сияли большие размашистые буквы: «Хел. Фонтана. Париж. Лондон. Милан». Женщина перед магазином была, без сомнения, прекрасная Хелена в шляпе невероятных размеров и облегающем, чрезмерно цветастом платье, а господин рядом с нею — в легком светлом костюме, жилетке в цветочек, соломенной шляпе, с тростью в руках и с лучезарной улыбкой на устах, сиявшей не меньше, чем его широкий шелковый галстук, — был, по всему видно, опять находящийся в состоянии крайнего довольства Фридрих Фонтана.

Его дочь Вильгельмина уже видела себя наследницей парижского модного салона, тогда как сын Густав сказал только: «Папаша просто сфотографировался перед магазином какого-нибудь своего однофамильца». Поскольку обратный адрес был неразборчив, написали просто «Фонтана. Париж», но письмо вернулось назад с пометкой:

«Адресат выбыл в неизвестном направлении». Так и осталось навсегда неразгаданной тайной, был ли магазин или никакого магазина не было и куда они отправляли письмо: совсем в другую фирму или в другую семью с такой же фамилией? Это была теперь семейная фата-моргана, которая побуждала к самым разнообразным интерпретациям, ведь фотография-то существовала и люди, изображенные на ней, были вполне узнаваемы, но, к сожалению, действительность и изображение никак не соединялись.

14

Мария любила смеяться и танцевать. Она была грациозна, подвижна, обожала устраивать разные шалости, которые сама выдумывала, и с увлечением предавалась им, как игривый котенок. В театральных постановках Общества святой Варвары она была самой юной исполнительницей заглавных ролей и больше всего любила играть ангела, который возвращает к жизни шахтера, заваленного в штольне сто двадцать лет назад. Шахтер тут же подносил к губам трубу и играл сигнал «Штейгер идет!», а ангел — Мария — танцевал у самой рампы, взмахивая крыльями, которые были размером с нее саму, публика бешено аплодировала, и воскресший шахтер вместе с ангелом небесным неизменно исполняли еще что-нибудь на бис, так что люди вскакивали с мест, забирались с ногами на стулья, а когда под конец исполнялся папский гимн со словами: «Его Святейшеству Папе Римскому слава, слава, слава!» — тогда воодушевление присутствующих достигало предела.

Дома она репетировала свои роли под удивленным взором Богоматери Марии Ченстоховской.

Этот образ принадлежал ее мужу, который в день свадьбы торжественно вручил его ей, и по старинному обычаю навсегда соединил таким образом оба семейства. И теперь они были вместе — Мария Новак, дочь забойщика Новака из Дальбуша, шахта VI, пласт Виктория, и Йозеф Лукаш, по прозвищу Мечтатель, забойщик из Дальбуша, шахта I, бывшая шахта короля Леопольда, пласт Вечерняя Звезда.

Мария ненавидела Дальбуш. Не только ее отец и муж работали в Дальбуше, но и ее братья, и все, кого она знала, работали тоже в Дальбуше. История Дальбуша — это была их история. Первая проходка шахты дубовой бочечной клепкой в качестве деревянной крепи, которая должна была укрепить стены шахты, но на глубине 55 метров под напором воды сломалась, и шахту затопило. История о знаменитом горном инженере Шодроне, который впервые применил изобретенную им чугунную проходку и таким образом добрался до глубины 110 метров. Позже пришлось идти до глубины 200 метров, потому что только там залегали два богатых пласта. А потом пошло-поехало. Сначала — вентиляционная шахта на Бруноштрассе, в следующем году — второй шахтный ствол прямо около железнодорожной ветки

Кельн — Минден. Затем в 1874 году — шахты III и IV. В 1892 году — шахта V глубиной 530 метров, в 1895 году — шахта VI глубиной 545 метров. Шахты II и IV были перестроены в вытяжные вентиляционные шахты. А теперь рядом с шахтой I должна быть сделана проходка новой шахты на глубину 735 метров. Правда, пока это были всего лишь планы, кое-какие слухи доходили из правления, но каждый из шахтеров разбирался в профессиональных делах, поэтому и шло обсуждение места, где собираются устраивать шахту, сложностей проходки — ведь, может статься, им придется туда спускаться. Работы должны начаться в следующем году, два года будут делать расчеты, потом — ставить крепи, так что в лучшем случае шахта заработает году в 1914-м.

Йозеф, который собирался стать штейгером, то есть горным мастером, часами вникал в детали и штудировал специальные книги и дочитывался до того, что глаза у него сами собой закрывались и голова резко падала на грудь. Марии не нравилось, что Йозеф сидит над книгами, где говорится о шахтных и штрековых профилях, армировке шахтного ствола и толщине пласта, она начинала дразниться и приставать к нему, пока покой не нарушался наполовину серьезной, а наполови-

ну игривой супружеской сценой. Самой Марии были гораздо ближе и понятнее официальные выходные шахтерского поселка Дальбуш: Новый год, Сретенье, Крещенье, понедельник, вторник и среда в канун Великого поста, Благовещенье, Страстная пятница, понедельник и вторник на Пасху, Вознесение Христово, понедельник и вторник на Троицу, Праздник тела Христова, День святых Петра и Павла, Успение Богородицы, День поминовения, Зачатие Богородицы, первый и второй день на Рождество и, кроме того, еще Эссенская осенняя ярмарка.

Лучшее время ее жизни и складывалось из этих праздничных выходных. Праздники шахтеры отмечали очень обстоятельно, не менее обстоятельно и серьезно, чем работали; праздновали бурно, с резкими перепадами в настроении, многочисленными братаниями, буйными плясками, тоскливыми песнями, с ликующей жизнерадостностью и мировой скорбью. Праздники, которым они потому отдавались с такой страстью, торжественно обставляя их по старинному обычаю, что они позволяли в общей компании если не забыть, то хоть на несколько часов облегчить тяготы их монотонной, мучительной трудовой жизни. Они были венцом их скудного, сурово-

го существования, и, глядя друг на друга, люди убеждались в том, что идут по этой жизни с гордо поднятой головой, с достоинством и они могут честно встать друг перед другом, не сомневаясь в своей порядочности, и доказать всем, что унизить их невозможно. Эти праздники придавали их жизни особую весомость, они примиряли их с судьбой, которая досталась им на долю, свою судьбу они принимали с твердолобым упрямством, они оглядывались вокруг и понимали, что никто не согласился бы с ними поменяться, их лица отчетливо выражали это понимание.

Возможно, в начале праздника они вели себя столь чопорно, скованно, чинно потому, что хотели доказать: между всякими там проходимцами, ленивыми оборванцами и шахтерами такая же разница, как между небом и землей. Неуклюжие, неловкие, сидели они со своими принарядившимися женами и членами семейства, говорили о шахтах, пластах, горах, напоминая князей, герцогов и графов, собравшихся на королевский прием, и вполне возможно, что на средневековых сборищах приближенные императора напивались и безобразничали гораздо отвратительнее, чем эти люди. Ведь все, кто в жилетке и с женой чинно сидел за дощатым столом, конечно, вдосталь

потчевали друг друга солеными шуточками и крепчайшими напитками, но все держались приличий и замертво под стол никто старался не падать, и даже если кому-то было не избежать этого финала, то он медленно и не теряя солидности сползал на землю, приземлялся, осмотрительно сказав «Гоп!», и в целом по-прежнему продолжал вести себя прилично.

Мария все праздники проводила за танцами, а в перерывах между праздниками танцевала и пела дома, мечтала о следующем празднике и, часто уговаривала отца вечером, после работы, достать аккордеон и сыграть что-нибудь, чтобы она со своим Йозефом могла станцевать прямо в горнице.

Перед самым концом смены она приходила к воротам номер один, чтобы встретить мужа с работы, и стояла там в ожидании, всегда принарядившись, даже немного слишком, прислонясь к постаменту, на котором стоял кайзер Вильгельм I. Его отлил в бронзе некий дюссельдорфский скульптор, а какие-то неизвестные люди водрузили его на этот постамент, чтобы шахтеры, опускаясь в шахту и поднимаясь наверх, «всегда видели перед собою вдохновенный образ героического кайзера в память о его грандиозных свершениях».

Сии слова провозгласил бургомистр, открывая памятник, и кайзер из-под островерхой каски грозно смотрел своими мертвыми бронзовыми глазами на каждого, кто проходил мимо, требуя усердной работы в шахте.

Днем она в задумчивости сидела у окна или в саду; если не было спектаклей в любительском театре, она скучала, если дома никого не было — тоже скучала, и ее красота, которая на сцене была столь ослепительна, увядала в суете буден, разрушавших ее, и вовсе не потому, что ей не хотелось выполнять повседневную работу, ведь она с детства была к ней привычна, а оттого, что в этой работе не было никаких неожиданностей. Белье всегда было грязным и никогда чудесным образом не превращалось в чистое, приготовление еды всегда занимало много времени, еда никогда не оказывалась на столе по мановению волшебной палочки, короче говоря, ей не хватало в жизни чудес.

Ее горизонт ограничивался копром шахты, центром этого мира, и, куда бы ни смотрели глаза, он всегда был в поле зрения, она видела его из окна спальни, из кухонного окошка, из сада, с улицы. День и ночь безостановочно крутились колеса, мелькали большие спицы, тускло

поблескивая под хмурым серым небом, словно перпетуум мобиле в его неустанном безмолвном однообразии. Колеса, которые не удалялись и не приближались, которые никогда по-настоящему не двигались и, прикованные к стальной лебедке, никогда не меняли своего места, они лишь непрерывно поднимали на поверхность уголь и людей или же опускали людей под землю, колеса, которые, медленно разгоняясь, крутились все быстрее, быстрее, пока спицы не сливались в единое полотно и, казалось, уже не двигались, поэтому их самый быстрый ход выглядел точно так же, как и полная остановка; это был полный покой, прерываемый то движением влево, то движением вправо. Это было движение, попавшее в плен к самому себе, замершее время, качание маятника остановившейся жизни, которая менялась столь же мало, как и движение колес, и собственно жизнью-то она стала в беспрерывной смене труда и покоя, рождения и смерти, меняясь только тогда, когда время внезапно взрывалось и, бесконтрольное, непостижимое, бросалось вперед, если колеса, привыкшие к вечному движению туда-сюда, испуганно, рывком, останавливались и начинала реветь паровая сирена, издавая воющие, рыдающие, стонущие звуки.

Мария и без сирены все понимала. Она всем телом ощущала остановку колес. Сирена не успевала хрипло взреветь, как Мария уже мчалась к шахте, и вот, задыхаясь, высматривая кого-то глазами, она стояла у входных ворот на шахту, где ей суждено было проводить целые дни и ночи своей жизни в ожидании жизни или смерти.

15

Вильгельмина Фонтана была полна энергии; крашеные белокурые волосы высоко зачесаны, серые глаза сквозят холодом, лицо сильно напудрено, вместо бровей — две строгие черные полоски. Большую часть своей жизни она проводила восседая на маленьком табурете за прилавком магазина. Ее остренький подбородок был как раз на уровне края прилавка, а беспокойные глаза неустанно оглядывали полки с товаром, искали недостатков в ассортименте, задумчиво задерживались на фигуре охранника, блуждали по пестрому миру товаров и затем вновь изучали переполненные полки.

С улицы, сквозь заставленную товарами витрину, ее голова виднелась между серой железной кассой и сияющими медью весами, напоминая выставочный экспонат, который удачно разместили на прилавке, эдакая кукольная головка с неизменной высокой прической.

Если какой-нибудь прохожий намеревался войти в магазин, кукольная головка рывком поворачивалась, а если прохожий отворял дверь магазина и раздавался звук дверного колоколь-

чика, то Вильгельмина поднималась с табурета во весь свой рост. Но поскольку росточка она была невысокого, а прилавок был слишком грандиозен, то и теперь видна была лишь сильно накрахмаленная белая блузка с воротом под самое горло, бесчисленные складки и рюшечки украшали тесный корсет, в котором на весь день была надежно заперта полная грудь. Затаив дыхание, пухленькая Вильгельмина с угодливой улыбкой ждала, когда покупатель скажет, что ему угодно, затем спокойно, уверенными движениями снимала товар с нужной полки, раз — и желанная вещь словно по мановению волшебной палочки оказывалась на прилавке. Если же нужное отделение на полке находилось чересчур высоко и было ей не по росту, она брала длинную палку с металлическим крючком на конце и все с той же уверенностью выуживала товар сверху. А затем оставалось только крутить ручку кассы, и она крутила ее с профессиональной резвостью и жизнерадостной энергией, черные циферки на белом фоне мелькали на маленьком табло кассы, под приятный звон колокольчика выскакивала нужная цена, сам собою выдвигался кассовый ящик, мягко утыкался в непреклонную грудь Вильгельмины, ловкие пальцы продавщицы

раскладывали полученные деньги по разным отсекам ящичка, потом она локтем задвигала его обратно в кассу, цифры на табло исчезали, раздавалось мелодичное «благодарю вас», снова звенел колокольчик у дверей, покупатель удалялся, и Вильгельмина тут же занимала свое обычное место за прилавком, головка замирала в неподвижности, а глаза продолжали придирчиво оглядывать полки с товаром.

Вот так она и производила все свои движения в ритме различных звоночков, словно заводной механизм, который неизменно срабатывал при открывании и закрывании входной двери, а также при звуке колокольчика кассы, и она, как танцующая куколка, вскакивала из-за прилавка, улыбалась, кружилась, поворачивалась, совершала кругообразные движения, снова кружилась и поворачивалась, а потом вновь возвращалась на свое место в ритме все того же танца, чтобы занять прежнюю позицию и начать все сначала. Волшебный механизм, чудо торговой механики, движимое нерушимым законом: «Покупатель всегда прав». И только в обеденный перерыв можно было видеть, как эта дама-бюст, завершив прием пищи где-то в подсобном помещении магазина, сидела за прилавком и, поглядывая на

улицу сквозь богато украшенную витрину, курила большую и, вне всяких сомнений, крепкую гаванскую сигару.

Все началось с библиотеки ее отца, исчезнувшего в неясных далях Фридриха Фонтана; выдача книг шла бойко и приносила некоторый доход. К этому добавилась продажа лотерейных билетов, а потом, в ходе расширения магазина, еще и продажа сигар, сигарет, курительного и жевательного табака всех сортов, спичек и — в качестве предмета роскоши — зажигательного устройства для сигар. Добавились шелковые и шерстяные нитки, шерстяная пряжа, штопка, спицы и крючки для вязания, английские и французские булавки, пуговицы всех мыслимых цветов, форм и фасонов, потом еще и столь популярные кнопки и застежки-молнии, резинки, подтяжки, корсеты и чулки. Потом — шелковые платки, шелковые ленты, брюссельские кружева, разнообразные шерстяные ткани для юбок, ассортимент небольшой, но качество очень высокое, далее — еще и образцы кроя. По другую сторону от прилавка — оберточная бумага, декоративная бумага для подарков, писчая бумага: в клетку, в линейку, нелинованная, цветная и белоснежная, обложки для книг всех размеров, простые

карандаши, цветные карандаши всех оттенков, чернила, линейки, школьные тетради, краски, кисточки широкие и узкие любой толщины. Игрушки для малышей и для детей постарше, куклы, настольные игры, книжки с картинками. Кроме того, водился и сезонный товар, такой, как пасхальные зайцы — к Пасхе, воздушные змеи, колотушки, конфетти, накладные носы, шутовские колпаки — к карнавалу, на Рождество — стеклянные шары, мишура, припудренные блестками еловые шишки, красные, желтые и белые рождественские свечи, подсвечники, шпили на елку, в которых отражался весь магазин, на Новый год — фейерверки, приспособления для литья олова, рецепты пунша и, конечно же, календари: отрывные, с картинками, карманные.

Годы шли, магазинчик процветал, все, что порой может понадобиться человеку, можно было здесь купить, или вам доставали требуемое в течение дня. Все, для чего в Париже строили целый универмаг, Вильгельмина умудрялась хранить на широких полках своего магазинчика, поэтому над его витринами по праву красовалась золотая надпись на черном эмалевом фоне: «Галерея Фонтана».

Густав Фонтана, приземистый, широкоплечий,

большеголовый, то обривал свой могучий череп наголо, то отращивал косматую нечесаную гриву. У него были тонкие губы, резко очерченный нос, холодный взгляд, в котором поблескивала ирония. Он обретался преимущественно в своей рабочей каморке под самой крышей и в кругах своих друзей слыл философом и непризнанным гением, к тому же обладавшим воистину энциклопедическими знаниями. Он провел несколько семестров в университетах Берлина, Бонна и Фрайбурга, кажется, чему-то там даже обучался, в основном его занимала философия, что побуждало его все чаще менять место учебы, поскольку вместо философов он находил в аудиториях сплошь «придурков, начетчиков, косноязычных идиотов и отъявленных пустозвонов».

Его окончательное расставание с альма-матер произошло довольно внезапно, хотя среди друзей проделанная им работа считалась summa cum laude, то есть выше всяких похвал, — он взял философский труд в трех томах ординарного профессора своего факультета и стал комментировать его страница за страницей, снабжая печатные истины своего учителя чернильными примечаниями на полях, ставя при этом вопросительные и восклицательные знаки, и от тома

к тому количество его примечаний вроде «ну-ну», «да неужели?» и «действительно так?» все росло, а тональность постепенно сменилась с вопросительной на утвердительную, все чаще появлялись суждения типа: «нелогично!», «нет доказательств!», «неверно процитировано!», и наконец в третьем томе его ярость уже не знала границ: «банальности, убогие постулаты, краденые мысли, бессвязный абсурд, гротескная и самодовольная компиляция» — таковы были самые мягкие формулировки; сопровождаемые вихрем вопросительных и восклицательных знаков, они ниспровергали сборник мудрых изречений ничего не подозревающего ординарного профессора до уровня смехотворной поделки, и в самом конце стоял окончательный приговор: «Неудачная курсовая работа. Рекомендую основательно проштудировать историю философии».

Он отослал свою критику ординарному профессору и предложил открытое обсуждение. Это был конец академической карьеры Густава Фонтана, хотя нашлись профессора, которые с удовольствием приняли бы его комментарий к рассмотрению в качестве диссертации, но в этом они признавались только шепотом за закрытыми дверьми. Для своих приятелей-студентов он стал

отныне профессором, этот титул неотделим был теперь от его имени, Фонтана переделал его на итальянский манер, и поэтому в пивных заведениях, где он слыл завсегдатаем, частенько можно было услышать вопрос: «Профессоре Фонтана уже здесь?»

В своей рабочей каморке, где всегда наготове лежали тома Канта, Шопенгауэра и Гегеля, где на полках стояли труды философов и энциклопедии, испещренные закладками и пометками, и ждали своего часа, Густав Фонтана трудился над известным только ему философским сочинением — главной книгой всей его жизни, но завершение ее, к сожалению, из года в год откладывалось, ибо его отвлекало чтение газет. Он подписывался на многочисленные газеты и журналы, которые добавляли свежую струю к его чувствам, и постоянно был занят тем, что вырезал достойные и недостойные статьи: первые для того, чтобы положить их в папочку согласно теме, вторые, коих, к сожалению, было большинство, — чтобы разоблачить их своей острой, но аргументированной, блистающей сарказмом ответной статьей. Многие из этих статей после их опубликования приносили редакторам больше неприятностей, чем денег, так что они при первой же возмож-

ности отсылали эти статьи, становившиеся все более длинными, назад автору или же попросту отправляли их в мусорную корзину, что побуждало Фонтана к новым, еще более энергичным нападкам, которые опять-таки оказывались все в той же корзине, и таким образом он несколько раз приближался к той критической точке, которая в конце концов заставила его навсегда отказаться от подписки на все газеты и журналы, объявив их бессмысленной пачкотней, отнимающей у человека время и мешающей ему заниматься своей работой, — после этого он месяц проскучал, глядя в чердачное окошко, и наконец возобновил подписку, чтобы вновь вырезать статьи, раскладывать их по папкам или же писать опровержения.

Спускаясь время от времени из своей рабочей каморки вниз, чтобы разжиться у Вильгельмины табачком, он любил пугать покупателей, мимоходом заметив, что мы не можем познать мир, ибо наш мозг устроен таким образом, что мы видим не все, а только вещи, доступные нашему зрению. Потом он делал эффектную паузу и, помолчав, огорошивал смущенных покупателей мыслью о том, что теперь пора поставить наконец мир с головы на ноги, другого пути кет.

Эти его откровения, высказываемые с большим жаром, вызывали у покупателей, в зависимости от их темперамента, либо леденящий ужас, либо смутное недоумение, но это не особенно вредило торговле, ибо иной покупатель, который ценил беседу со столь образованным мудрецом, заслушавшись, покупал еще какие-нибудь мелочи, которых покупать не собирался, а Вильгельмина невозмутимо крутила ручку кассы. Но когда здесь постепенно стал формироваться дискуссионный клуб социалистов и высказывания Бабёфа, Вейтлинга, Мозеса Гесса, Бланки, Бакунина и Кропоткина уже заметно мешали циркуляции товаров по магазину, Вильгельмина стала отправлять господ дискутирующих в каморку Густава, где под воздействием пунша «вырви-глаз» идеи Маркса и Энгельса вскоре начали перемежаться лихими студенческими песенками и печальными балладами, и тогда зычный баритон Густава вел основную партию. Говорилось в балладах в основном о том, как в Майнце сидел епископ Хатто в кругу своих прелатов и возносил хвалы Господу за то, что вино нынче неплохое, и все в таком духе, много куплетов — и так часами, всю ночь напролет, до самого утра.

Так или иначе, центром всего этого маленького

мирка была «жемчужина Густава», как все ее здесь называли, Ивонн Фонтана. Жена Густава была столь сногсшибательно красива, что часто ей хотелось стать хоть немного — впрочем, не слишком — безобразнее, ибо ей казалось, что это облегчило бы ей жизнь.

Ивонн, дочь часового мастера, была родом из баденского Визенталя, а в Базеле обучалась полировке золота, то есть умела придавать золотым украшениям законченную форму и соблазнительный блеск. Когда у нее родился ребенок от директора ювелирной фирмы и дело приняло неприятный оборот, Ивонн приняла предложение пожилого ювелира из Женевы, с которым вскоре стала совместно вести дело, потому что она была несравненной продавщицей: мужчины, платя деньги, смотрели только ей в глаза и совсем не смотрели на цену, а ювелир любил свою полную кассу больше всего на свете, он был дельцом с весьма изысканными манерами и по вечерам обедал со своей матушкой у нее в доме, порог которого Ивонн и ее сыну переступать не разрешалось.

Густав, который отправился в Лозанну, а затем в Женеву, чтобы пройти по местам жизни и деятельности своего кумира Вольтера, а также

близкого Вольтеру кумира Руссо, и в тот момент усердно трудился над курсовой работой, посвященной сравнительному анализу понятия разума у Вольтера и Руссо, во время одной из своих прогулок по Женеве увидел Ивонн, которая оформляла витрину ювелирного магазина. Что произошло дальше, ни один из них никогда не рассказывал. Известно только, что Ивонн бросила свой ювелирный магазин, Густав забыл о своей курсовой работе, и оба той же ночью, со споим теперь уже общим сыном, покинули Швейцарию и на следующий день уже стояли в магазине у Вильгельмины.

Ивонн была прекрасна, словно золотой лак на старинной шкатулке, ее смуглая, отливающая янтарем кожа, ее черные вьющиеся волосы, ее темно-зеленые глаза, напоминающие опалы в оправе из драгоценного камня, завораживали настолько, что порой она отворачивала от людей голову, когда легкой узкой тенью пробегала по улице. Но отворачивалась она не всегда, временами она даже пользовалась своими чарами, останавливая свой взгляд на каком-нибудь мужчине, и тот моментально терял голову и замирал, а потом она вдруг начинала смеяться — и чары спадали. Это было великолепное зрелище

— наблюдать, как рождается этот смех, как подрагивают уголки ее рта, приоткрывается рот, как ее белые зубки, безупречные, словно жемчужное ожерелье, вспыхивают между темными мягкими губами.

Свой мелодичный алеманнский диалект, вперемешку с французскими выражениями, она сохранила навсегда, она говорила на своем языке, носила яркие украшения, яркие шелковые платья и всегда выглядела элегантно, как восточная принцесса, как экзотическая бабочка из дальних солнечных краев, недоступно прекрасная, чужая и удивительная среди этих серых домов. Густав любил ее, и она любила его.

16

Тяжесть воздуха, которая словно вдавливала глаза и барабанные перепонки внутрь, — первое, что он почувствовал; секунды хватило, чтобы понять: речь идет о жизни и смерти. Чувство самосохранения, желание выжить — вот что заставило его в ту же самую секунду перекатиться в пустую выемку в породе, в то время как остальные, те, кто стоял рядом, не далее двух шагов, уже упали замертво, погребенные под обрушившейся кровлей пласта.

Наступившая тишина была странной и столь полной, что можно было потерять всякую ориентировку, не слышно было ни отбойных молотков, ни голосов, по которым можно было понять, где люди, — тишина была страшнее темноты, к которой они уже привыкли.

Угольная пыль постепенно развеялась, уносимая вентиляционным потоком. Йозеф увидел свою лампу, которая лежала рядом с ним на расстоянии протянутой руки, но дотянуться до нее он не мог, его зажало, и было никак не повернуться, чтобы пододвинуть лампу к себе. Он не знал, больно ли ему, все тело онемело, и только

голова гудела, и беспорядочно, хаотично проносились мысли, внезапно складываясь в четкие, порожденные опытом приказы: «Лежать спокойно, сдерживать дыхание, не шевелить породу, попытаться найти вентиляционную трубу, чтобы постучать камнем и подать сигнал, попытаться выжить».

Свободной рукой он нащупал бутылку с водой, она была почти полная, и он поблагодарил Бога, что Тот оставил ему бутылку с водой. Но лампу было все-таки не достать, и он проклинал Бога, что Тот так отдалил от него свет. Он прислушался. Такая тишина еще никогда его не окружала. Могильная тишина. Он внутренне сжался.

Потом он увидел Марию, она стояла между двух рудничных стоек, они надломились, но все-таки пока еще держали породу, он хотел позвать ее, но горло онемело, он не мог издать ни звука, но Мария так и стояла перед ним.

Мария не знала толком, где она находится, она прокралась через боковые ворота, пробежала мимо кричащих, запачканных грязью мужчин, мимо конторы — прямо к вентиляционной шахте, ледяной воздух, поднимающийся из подземелья, трепал ее волосы, путался в одежде, приближались какие-то люди, она пролезла под

распорками, ветер стал стихать, она поползла дальше на четвереньках, стальная лестница вела вниз, теряясь в глубине шахты, она стала спускаться, лестнице не было конца. Открылся поперечный коридор, она шла осторожно, пригнувшись, ведь он мог вести в слепой шахтный ствол, она подошла к бремсбергу, который довольно круто уходил вниз, уцепилась руками за опрокинутую вагонетку, приземлилась на каком-то горизонте, пошла туда, куда вели рельсы, и тут увидела Йозефа, он лежал между двумя сломанными стойками, она что-то прокричала ему, но он не ответил. Она звала его по имени, она кричала, но он только смотрел на нее в упор. Тишина — это тяжелое, сырое войлочное одеяло — была невыносима, она гудела в ушах, это был какой-то шорох, свист, то и дело прерываемый падающими каплями, а потом раздался шепот: «Рассказывай». Она прислушалась. Она не понимала, откуда этот шепот. Но снова отчетливо раздалось: «Рассказывай».

Она стала думать, бешено мчались секунды, которые казались ей часами, от стучащего, как молот, сердца кровь прилила к голове, но этот стук не рождал эхо, она сомкнула глаза от напряжения, а потом закричала, торопливо, за-

хлебываясь: «Один парнишка-конюх, это та самая история про парнишку-конюха, они дразнили его поляком, по всему горизонту кричали „поляк", он рассердился, бросил лошадь и вагонетку посреди штрека, пошел к слепому стволу, взобрался по крепи наверх и сбросил лестницу вниз, в шахту. И все выглядело очень глупо, они сначала не поняли, что произошло, и вдруг видят: он сидит там, наверху, и не может спуститься, а они к нему добраться тоже не могут».

Она заговорила медленнее, открыла глаза и уже не спускала их с Йозефа, который иногда проявлял признаки жизни. «А потом целый отряд вскарабкался к нему наверх, они привязали его к себе веревкой, и целая смена пошла насмарку, потому что все хотели помогать. Когда они его наконец спустили и извинились за «поляка», он сказал им: "Я старопрусаци, старый пруссак, я мазуры, лютеранин", — и все покатились со смеху, прямо-таки катались по углю, а штейгер разозлился до того, что долго на них орал и всей смене назначил сто штрафных пунктов, а парнишке-конюху — еще десять дополнительно».

Улыбался ли Йозеф? Она этого не знала, он частенько улыбался, когда вот так задумчиво, как сейчас, смотрел перед собой. Тишина уже не

была такой оглушительной, было слышно, как осыпается уголь и порода, скрипят стойки, где-то далеко из скалы лилась вода, поток воздуха из вентиляции стал сильнее и доносил теперь голоса. Она слышала дыхание Йозефа — или это было ее собственное дыхание? Не давая себе опомниться, она стала рассказывать другую историю, но не знала, чем эта история заканчивается. История о засыпанном шахтере, о нем ходило много историй, но ей надо было придумать свою, причем правдивую, всамделишную, Йозеф должен был поверить, что такое было на самом деле, надо рассказать так, чтобы он смог в нее поверить, как верят в жизнь, иначе рассказ не имеет смысла, и сама жизнь тоже не имеет смысла. Она сосредоточилась и спокойно начала свой рассказ, свято веря, что хороший конец придет сам собой: «Тот самый Козловский, который неделю пролежал в шахте засыпанный, вокруг него пять человек умерло, и когда они тех пятерых достали, то подумали, что Козловский тоже погиб, и стали готовиться к похоронам, и когда похоронная процессия была уже на полпути к кладбищу, и дети шли впереди и несли шесть табличек с именами умерших, хотя гробов было пять, и шахтерский оркестр играл траурный марш, такой медленный,

красивый и печальный, и все медленно шли за этими табличками и за оркестром, то они обнаружили Козловского, живого и здорового, за одним из вентиляционных люков, а когда он узнал, что его сейчас собираются похоронить, то попросил себе итальянской колбасы и побежал, перебирая своими коротенькими ножками и жуя колбасу, следом за процессией, словно хромая собачонка, потом взял трубу, присоединился к оркестру, встал прямо за табличкой со своим именем, где был изображен большой черный крест, и стал наигрывать "Охотника из Курпфальца", так и шел с этой песней до самого кладбища».

Она посмотрела на Йозефа, тот улыбался, она перекрестилась и подумала, что Господь ее не оставил и она нашла хороший конец для этой истории, голос ее звучал теперь сам собой: «А Козловский не захотел после этого вернуться домой, он прямо с трубой в руках отправился на вокзал, сел в ближайший поезд, поехал в Гамбург и там нашел польский цирковой оркестр, который в тот момент отправлялся на корабле в плавание, и им как раз не хватало трубача; теперь он уже давно живет в Америке, работает в большом цирке и во время номеров с цирковыми лошадьми играет "Охотника из Курпфальца", обо всем

этом он написал в красивой открытке, которую прислал из Америки».

Она слышала теперь очень громкие звуки, стук молотков и удары, но не могла понять, откуда они доносятся, они шли отовсюду, Йозеф исчез, ее руки вцепились в железные прутья ворот, она слышала голос Йозефа, он доносился из глубины горы, но она слышала его совершенно отчетливо, словно он шептал ей на ухо, и она слышала его слова: «Уголь все катится и катится, это уголь из Дабровы, Йозеф в Даброве бросает его на наклонный спуск, и он катится сюда, поэтому уголь никогда не закончится, мы можем добывать его сколько хотим, уголь никогда не кончится». Он смеялся, смеялся надо всем, над всеми этими историями, над этой жизнью, надо всем миром, вот таким, смеющимся, они его и нашли. Йозеф Мечтатель, который не знал, что три дня и три ночи пролежал в маленьком углублении и чудом вернулся от смерти к жизни, но и потом он всегда утверждал, что пробыл там всего лишь час и его сразу нашли, и при этом, задумчивыми своими глазами глядя на Марию, всегда пытался вспомнить какие-то истории, которые выпали у него из памяти. А Мария эти три дня и три ночи простояла, не отходя, у ворот шахты, целую вечность,

как она сказала.

17

Это было время, которое все, кто о нем вспоминал и рассказывал, называли прекрасной порой — самой прекрасной, какая бывала в Дюссельдорфе.

В третьем этаже дома жил человек, связанный с Вильгельминой весьма серьезными отношениями, — Вампомочь. Его настоящего имени никто не знал, все называли его только так: «Вам помочь», — потому что его появление неизменно сопровождалось этой фразой и, собственно, с нее начиналось. Вампомочь стоял, глядя на вас своими испуганными, полными сочувствия глазами, осунувшееся лицо его выражало озабоченность, унылые морщины — ниже тесного белого накрахмаленного воротничка переходили в бесчисленные морщины и складки одежды, которая висела на его тощем теле и всегда была ему велика, а сложенные на животе руки достойно довершали образ вечной заботы, постоянную готовность к помощи и к состраданию.

Висящий мешком костюм являлся его рабочей одеждой, которую он никогда не снимал, ведь он был «комиссионер и агент по похоронным

ритуалам и погребальным мероприятиям» — так гласила его визитная карточка в черной рамке, и за каждое тело, которое он сосватает гробовщику, он получал свой процент, в его ведении находились также цветы, венки, открытки с выражением соболезнования, траурное платье, проценты он получал за все, поэтому он был, что называется, всегда готов к прыжку и постоянно жил в страхе, что упустит очередное тело. Если же покойный выказывал при жизни недостаточное почтение к вере и посему на церемонии отсутствовал священник, то он сам произносил траурную речь, и она была исполнена такта, ума и страсти, ибо он был убежден, что тот, кому дозволено покинуть эту юдоль слез, может меняться лишь к лучшему. Он обнаруживал при этом поразительный ораторский дар, и часто голос его наливался такой возвышенной мощью, что силы покидали тщедушное тело и участникам похорон приходилось под руки препровождать измученного оратора домой.

Он был вольнодумцем, любителем природы, боготворил солнце, летом купался в Рейне обнаженным, положив черный костюм у самой воды, чтобы он был под рукой в любой момент, но основным источником его существования были

простуды и воспаления легких, случавшиеся зимой. В том-то и состояло основное противоречие его жизни, что он всегда был готов помочь, но жил за счет смерти. Как только кто-нибудь серьезно заболевал, являлся Вампомочь, спрашивал: «Вам помочь?» — и, совершенно вопреки интересам своей профессии, мчался в своем черном костюме по улицам, доставал лекарства, покупал еду, навещал престарелых и больных, чтобы поддержать их утешительной беседой, раньше священника оказывался у постели умирающего, которого предстояло соборовать, а если кто-то умирал, он улаживал все финансовые вопросы с больничными кассами и страхованием на случай смерти, где он одновременно исполнял роль и кассира, и официального представителя, и если нужно было освободить квартиру, то обеспечивал вывоз мебели. Для этого у него имелась большая тачка, возить которую стоило ему изрядных усилий, и если на нее водружали большой шкаф и тот начинал сползать назад, то ручки задирались вверх, и он, как пойманная птичка, повисал, крепко уцепившись за эти ручки и путаясь в багажных ремнях, и громко вопил, беспомощно болтая ногами между небом и землей.

Совершенно счастлив он бывал только в ма-

газине Вильгельмины, где регулярно занимался раскладыванием товаров по полкам. Похожий на черную ворону, он с трудом удерживал равновесие на стремянке, быстро и послушно откликаясь на самые невероятные приказания Вильгельмины, неутомимо карабкался вверх и вниз с благодарной улыбкой, довольный тем, что может помочь.

На четвертом этаже дома жил отец Абрахам, как все его называли, — охранник из одной частной охранной конторы. Каждый вечер ровно в семь он надевал свой мундир и всю ночь обходил дозором магазины и склады торговцев. Он носил с собою большую связку ключей, здесь были ключи почти ото всех магазинов квартала, ему доверяли все, он обладал неограниченной ночной властью относительно этих ключей, а утром, ровно в семь, твердым шагом, отягощенный увесистой связкой ключей, поднимался по лестнице, чтобы вскоре уснуть сном праведника, как он сам выражался, потому что праведность, под которой он понимал справедливость, означала для него все. Он вел бесконечные споры с Густавом о справедливости, которую он определял с юридической точки зрения, а Густав — с философской, поэтому сойтись они не могли никогда, разве что в отрицании

— они оба считали, что вообще никакой справедливости быть не может, но, с другой стороны, она должна быть, — так считали оба, сходясь, стало быть, и в этом утверждении, и тут у них опять начинался бесконечный диспут, в котором отец Абрахам мог опираться на опыт своей жизни, на авторитет самой природы, он свою позицию доказывал всем своим существованием, ибо сам был порядочным, ответственным, скромным, справедливым и «честным до мозга костей», как отмечали все вокруг. Если Густав видел в мире и в людях одно только зло, отец Абрахам по природе своей в принципе не мог представить себе никакого зла, у него просто фантазии на это не хватало, и, узнав об очередном ограблении или нападении, он долго молча размышлял и потом всякий раз спрашивал: «Но почему же?»

И разумеется, он никогда в жизни не смог бы представить себе, и поэтому его не посещало ни недоверие, ни, упаси Бог, подозрение — он был выше этого, — что его мундир путешествует по городу и днем, пока он спит, на теле одного из его сыновей. Сыновья занимались продажей металлического лома, и мундир помогал им, при полном одобрении самих владельцев магазинов, заниматься «официальной» конфискацией и

вывозом тех самых товаров, которые их отец Абрахам по ночам столь рьяно «официально» охранял, — то есть попросту отбирать эти товары силой. Владельцы магазинов, после выплаты им надлежащей суммы страховки, вновь могли получить свои товары обратно, на месте хранения металлолома, где они всегда были в целости и сохранности, ведь на сыновей тоже можно было положиться, хотя и в несколько другом аспекте. В случае, если мундира на месте не было, не было и одного из сыновей, небольшая командировочка, как выражались братья, но все знали, что командировочки эти на самом деле были известно куда, — все, кроме отца Абрахама, но никому никогда не приходило в голову сказать ему всю правду. Поэтому он с гордо поднятой головой, чтя закон, совершал свой ночной дозор, и все доверяли ему деньги и ценные вещи безо всякой квитанции о приеме на хранение, а у его сыновей выкупали те же ценные вещи, причем даже за полцены, замечательные вещи, которые потом доверяли отцу Абрахаму. Семья по всей округе слыла честной и порядочной, а седовласый, одетый в официальный мундир отец Абрахам считался столпом справедливости.

Однажды воскресным днем в июне 1914 года

Ивонн и Густав пешком отправились на ипподром в Графенберге, где под раскидистыми деревьями можно было прекрасно переждать жару, прогуливаясь между стойлами, стадионом и трибунами, а ставки были весьма скромными. Ивонн любила атмосферу ипподрома, а Густав находил здесь благоприятную почву, чтобы, по своему обыкновению, отпускать колкости по адресу господ в цилиндрах. Когда лошади неслись уже по финишной прямой, блестя от пота, фыркая, громко стуча копытами, по дерну дорожки, подстегиваемые публикой и кнутами жокеев, всякий раз земля дрожала, вибрировала под ногами у всех.

Вильгельмина и Вампомочь в этот момент наслаждались купанием. Они отправились для этого в купальню, которая располагалась на верхнекассельском берегу Рейна, ровно напротив Старого города, и плескались там в теплой, лениво катящей свои волны реке, отдавались на волю течения, упражнялись в невесомости. Вильгельмина, которая плавать не умела, цеплялась за скользкие, покрытые зеленоватой слизью деревянные планки бортов купальни, которые, впрочем, были не очень надежны. Вампомочь нырял прямо под нею, они визжали, кричали,

смеялись просто так, от полноты жизни.

Отец Абрахам взял шахматную доску и отправился в городской парк, чтобы, как обычно, сыграть со своим другом послеобеденную воскресную партию. Но друга все не было, и он, вглядываясь в черные и белые клеточки, в фигуры, которые на них стояли, стал обдумывать разные невероятные ходы да и задремал за этим занятием и теперь, завалившись слегка на бок, спал на скамейке под старым дубом.

Всеобщее веселье и покой ничем не омрачались. Кто-то, лежа на лугу, рассказывал, что где-то на Балканах был убит некий наследник престола. Эта не очень понятная история никого не заинтересовала. Все с нетерпением ожидали стрелкового праздника в конце июля, который сопровождался народными гуляньями на берегу Рейна, это были главные события дюссельдорфского лета, требовавшие сил и выдержки, — ведь надо было маршировать, стрелять, чествовать победителя на этой жаре, при полном параде, с тяжелыми ружьями за плечами, и всякий раз опрокидывать стаканчик — за друзей, за родину, за стрелковое общество, пусть все живут и радуются, да здравствуют все.

18

В последний июльский день 1914 года Мария получила казенную бумагу, на которой убористо, жирным шрифтом были напечатаны слова государственной важности: «Предписание о призыве». Она отнесла бумагу на шахту, Йозеф поднялся из штольни на поверхность, постоял под душем, переоделся, пошел вместе с Марией в церковь, отстоял там длинную очередь, состоящую из примолкших мужчин, которые толпились перед исповедальней, при этом ему был слышен голос святого отца, гулко отдававшийся по всей церкви, певуче, громогласно святой отец провозглашал эту войну праведной, он говорил, что они, покорясь воле Божьей, должны принести воинскую жертву, многие из присутствующих в последний раз получили в этот день благословение и Святое причастие. Во время исповеди Йозеф слышал, как рыдали и голосили женщины в гулкой церкви так, словно умер кто-то из шахтеров: поднялся наверх, вошел в душ и умер — так бывало. Дома Мария собрала ему маленький чемоданчик, они взяли его и вместе пошли на вокзал, и Йозеф исчез в толпе других мужчин, садившихся в поезд.

Он еще помахал ей из окна, но не мог различить Марию в толпе провожающих женщин, которые стояли на перроне, да и для Марии его рука слилась с множеством других — протянутые из окон вагона, они казались парящими частями единого тела, колеблющимися то влево, то вправо.

Вскоре он прислал фотографию, где был заснят в плохо пригнанной армейской форме, с печальными глазами и какой-то нерешительной улыбкой, а на обороте передавал привет. Потом приходили еще почтовые открытки, но все написано было каким-то странным, шифрованным языком, так что Мария не могла понять, где Йозеф находится.

Весенним днем 1916 года Мария получила официальное письмо, украшенное черным типографским изображением ордена Железного Креста, в котором Германский рейх уведомлял ее, что Йозеф пал смертью храбрых в Вердене за свой народ и свою Родину. Днем позже она получила точно такое же уведомление о своем брате.

Осенью того же года командир роты, в которой служил Йозеф, некий капитан, написал Марии личное письмо, в котором сообщал, что он, капитан, пережил конец света и никогда не поверит, что мир еще существует. Ибо то, что он пережил, — это была вовсе не война, это было вос-

стание земли против людей. Он своими глазами видел, как земля, сотрясаясь от боли, поднялась во весь рост и на какой-то краткий миг вечности встала на дыбы навстречу миллионам гранат, которые в нее бросали, поднялась над людьми черной стеной, на мгновение замерла в нерешительности, а потом обрушилась на их роту, сомкнулась над головами людей там, в Вердене, где ее Йозеф и сегодня молча, выпрямившись стоит в окопе вместе со своими товарищами и только штыки торчат из земли. Его тело стало теперь частицей тех семисот тысяч тел, которые остались там, в земле, образуя единое туловище, которым когда-нибудь обязательно поставят великий памятник, и это будет надежная защита от любой новой войны. А вообще, он, капитан, на войне ослеп и теперь диктует это письмо для всех жен тех солдат, которым он приказал оставаться в окопе и держать оборону.

К тому времени Мария уже давно стояла за одним из многочисленных токарных станков на военном заводе рядом с шахтой Дальбуш, где изготовлялись гранаты, где она машинально вытачивала орудийные гильзы, которые были потом отправлены солдатам в Верден, и знала теперь наверняка, что истории и чудеса больше

не помогают.

О веселье и танцах она даже не вспоминала. Жизнь определялась нормой выработки на сегодня, а гранат с каждым днем требовалось все больше и больше, по вечерам Мария добровольно вставала у плиты на общественной кухне шахты Дальбуш, где несколько женщин готовили в больших котлах надоевший всем, противный водянистый суп, обходясь без картошки, без жира, без мяса и овощей, — для голодающих стариков и детей, а также для остающихся еще шахтеров, в основном военнопленных. И поскольку все чаще в супе оставалась одна только вода, люди просто падали мертвыми на улице, тихо и беззвучно, молча и без сопротивления, или же умирали во время смены, с киркой в руках, — смерть была везде и всюду.

Ей приходилось растить двоих дочерей. В 1908 году родилась Мария, в 1909-м — Йозеф, в 1910-м — Гертруд. Йозефа, который дожил только до года и умер от судорог, незадолго до его смерти в спешке затащили к фотографу и сфотографировали с насупленным лицом на высоком детском стульчике. Фотография мальчика стояла на комоде, и вся семья на нее чуть ли не молилась. Гертруд унаследовала смешливость и легкость нрава

своей матери, а Мария, напротив, глубоко запрятанную печаль и задумчивость отца. Они росли сами по себе, потому что мама разрывалась между военным заводом и общественной кухней.

Каждый день она проходила мимо гранитного постамента, который без статуи кайзера выглядел теперь голо и неприютно. Героический кайзер был переплавлен и превратился в гранаты для совершения новых героических подвигов, и, проходя мимо гранитного постамента, который, потеряв всякий смысл, казался теперь еще более громоздким, чем раньше, она смотрела не на него, а на рыжую, излучающую тепло землю и утешала себя мыслью, что ее станок придал этому кайзеру самую подходящую для него форму.

Она не обращала внимания на ежедневные сводки в газетах, на репортажи и заявления, на умные мысли и высокие мотивы, с помощью которых политики, генералы и духовные отцы нации ежедневно объясняли, насколько все неотвратимо, почему все так неизбежно, почему все должно быть так, а не иначе, — Мария просто чувствовала, что великий, сильный Германский рейх решил уничтожить сам себя, потому что стал для себя самого непереносим, и хотел попутно уничтожить как можно больше людей, и что

идет самоубийственная гонка, и что рейху очень бы хотелось уничтожить попутно весь земной шар. Поэтому 1918 год она восприняла как победу жизни над смертью: все, кто выжил, победили, они выстояли в сопротивлении самоубийственному призыву отчизны.

Из игральных карт, которые остались от Йозефа, она сшила маленький домик, в нем сосредоточен был теперь весь ее мир. В этот домик она поставила портрет Йозефа, а рядом — портрет своего мертвого брата и фотографию маленького Йозефа, тоже мертвого. Она работала ради своих детей на конвейере в Дальбуше, отделяя уголь от породы. Куда подевалась вся ее мягкость — она сама обратилась в камень с острыми краями, которые могли ранить, она стала жесткой, чтобы выжить в этой жизни, но для жизни в ее душе уже не оставалось места, она победила смерть, но и жизнь в себе тоже убила.

Когда ее наконец уговорили начать жизнь еще раз, она нехотя вышла замуж, больше ради детей, за другого Йозефа, забойщика из Дальбуша, — он когда-то дружил с ее Йозефом. Свадьба напоминала поминки, хотя все старались, чтобы этот день в кои-то веки был похож на праздник, но все были слишком ожесточены, слишком устали,

чтобы выдавить из себя хоть подобие улыбки.

Может быть, у Марии больше не было сил повернуться к жизни лицом, она умерла в канун Рождества после родов, попрощавшись с дочерьми, Марией и Гертруд. Рождественскую елку тут же убрали, жизнь без лишних слов показала девочкам свое истинное лицо.

19

В день всеобщей мобилизации Густав появился на пороге дома, неся кипу дюссельдорфских газет, опустился на ступени лестницы и попытался разобраться в ситуации. Газета «Генераль анцайгер» сообщала, что пути назад нет, что для Германии открыт только один путь — вперед, что поведение врага носит на себе отпечаток намеренного оскорбления, что наш народ окажет небывалое сопротивление, а богиня победы впряжет своих лучезарных коней в колесницу нашего верховного главнокомандующего, ибо Господь направит наши войска и, как и прежде, дарует нам победу, если все немецкие мужи, как один, изъявят готовность пролить кровь во имя славы и величия Германии.

Газета «Фольксцайтунг» сообщала, что банки не принимают бумажные деньги, продавцы их тоже уже не берут, но поскольку население не особенно обеспечено золотом и серебром, то у немецкого народа в настоящее время есть только одна насущная проблема: где взять хлеб, картошку, сало и прочие отнюдь не стратегического свойства вещи. Один крупный штабной генерал

из Берлина выразил по поводу самоуправства банков свое явное недовольство, на что патриотически настроенные деловые круги немедленно прореагировали, найдя той же ночью компромиссное решение: в три-четыре раза повысили все цены, обесцененные банкноты все-таки стали принимать, но очень нехотя, с крайне недовольными лицами, однако уведомили уважаемых покупателей, что, к сожалению, требуемых продовольственных товаров на складах нет и достать их где-либо не представляется возможным.

Хотя обер-бургомистр Дюссельдорфа заверил всех, что продовольствия в городе достаточно и что Германия еще никогда не имела в своем распоряжении такого большого количества денег, и то и другое исчезло еще до того, как прозвучал первый выстрел, — пропало напрочь, испарилось, куда-то делось, словно никогда и не бывало, никто не мог вспомнить, когда все это было, никто никогда и не слыхивал ни о деньгах, ни о продуктах. Если в магазине покупатель клал на прилавок банкноту, то продавец взирал на него с крайним удивлением и спрашивал, что означает этот странный церемониал.

Густав был бы не прочь подробно поговорить о том, как война, которую ведут во имя славы и ве-

личия страны и ее граждан, еще до своего начала настолько разоряет и страну, и людей, что мгновенно воцаряются бедность, отчаяние и голод, что одна только весть о войне повергает всю страну в нищету и никакой враг не мог бы добиться такого успеха, — можно считать, что война уже проиграна. Но времени для размышлений теперь не оставалось, у каждого в кармане уже лежало судьбоносное письмо от имени государства.

Вампомочь отправился на свой важный пост на складе гробов, единоличным владельцем которого он недавно стал.

Отец Абрахам торговал теперь металлоломом, потому что сыновья отправились на войну и пришлось взять их дело в свои руки. Он удивлялся тому, что старое железо, которое просто так ржавело во дворе, было возведено теперь Германским рейхом в ранг важнейшего источника сырья.

У Вильгельмины в магазине очень быстро закончились все товары, и, поскольку никаких поставок больше не было, она сидела возле пустых полок, привычно оглядывала их все снизу доверху, храня в памяти расположение товаров: если когда-нибудь товары вновь появятся, место для них будет уже предусмотрено.

Густав, который уже при медицинском освиде-

тельствовании обеспечил себе надежные тылы, поразив комиссию художественным сочетанием слабого сердца с документом об окончании краткосрочных медицинских курсов, остался в Дюссельдорфе санитаром. Но приятной должностью это было только в первую неделю войны. А потом война начала извергать из себя свою блевотину, свои отбросы и нечистоты и кровавыми гнойными сгустками выплевывать их на священную землю Родины. Составы, которые везли солдат на фронт, возвращались в качестве санитарных поездов с теми же самыми солдатами, и через несколько недель уже начинало казаться, что ранеными возвращается больше солдат, чем с песнями уезжало на фронт.

В Дюссельдорфе трамвайные вагоны переоборудовали в лазареты, чтобы ускорить разгрузку санитарных поездов, загнанных на грузовые вокзалы в Билке и Дерендорфе между товарняками, на которые с громкими криками «Взяли!» и «Поберегись!» грузили тяжелые орудия; носилки с ранеными, напротив, уносили почти бесшумно. Густав каждый день ездил в этих трамваях-лазаретах через весь город, сопровождая весь этот стонущий, кричащий, извивающийся в болезненных судорогах на каждом повороте и на каждом

стыке рельсов груз, — людей, каждую секунду находящихся на грани жизни и смерти. Он ехал мимо длинных очередей, в которых стояли отупевшие, отчаявшиеся люди, — за картошкой, за супом у раздачи на полевых кухнях, за брюквой, за продуктами, которые выдавали на особых пунктах по карточкам, женщины, дети, старики, в своей однообразно серой одежде они, словно накрытые одной маскировочной сеткой, превратились в единый организм, который непрерывно вытягивался, рос и, разбухая, заполнял собою все пространство между домами.

Отец Абрахам, который теперь охранял картофель для Германского рейха, считал свое нынешнее занятие деградацией, ведь как-никак раньше под его присмотром были ювелирные лавки, склады ковров, магазины деликатесов, и частенько он сидел вместе с Вильгельминой, Густавом и господином Вампомочь, который, устав от коллективных гробов и братских захоронений, от стандартных проповедей и неимоверного количества мертвецов, теперь не находил должного удовлетворения в своей профессии, и так все вместе они сидели в подсобном помещении магазина при свете свечи, которая бросала на стены трепетные тени. Они смотрели на пламя свечи, но ее

свет утопал во тьме, которая его окружала, он не отгонял ночь. Если удавалось добыть картошку, то тогда безо всякого жира жарили на сковородке оладьи из тертой картошки, которые навевали воспоминания о лучших временах.

Ивонн с ними уже не было. Эта прекрасная бабочка погибла в самом начале войны, она не создана была для таких испытаний. Она работала у золотых дел мастера на Кенигсаллее. Когда магазин закрылся, она, как и многие другие женщины, стала работать в пункте обработки одежды, где надо было срезать пуговицы и пряжки с окровавленного солдатского обмундирования и пришивать их к новым мундирам. У Ивонн начался кашель, врач установил у нее туберкулез, и она умерла так быстро, что никто и опомниться не успел. Не слышно было больше смеха, не было ни пленительных взглядов, ни шелковых платьев, ни украшений, ни легкого дуновения на лестнице, пестрый мотылек был завернут теперь в белый саван, он опять превратился в твердый безжизненный кокон.

Во время похорон на кладбище Штоффелер, когда гроб опустили в мерзлую землю, твердую, как скала, — эту землю никакая лопата не брала, она словно не желала больше принимать в себя

мертвецов, — Вампомочь произнес траурную речь под девизом «Для властей предержащих народ — что трава, эта завяла — новая вырастет». Он говорил отчаянно, страстно, красиво, словно это была его последняя речь. Потом отец Абрахам вынул свой служебный пистолет и шесть раз выстрелил вверх. «Почетный салют», — крикнул он. Густав положил на гроб полотнище имперского военного флага, которое он где-то сорвал с древка, а Вильгельмина отказалась бросать на гроб землю.

Элизабет и Фридрих, дети Густава и Ивонн, стояли у открытой могилы рядом с Жанно, своим сводным братом, который родился у Ивонн в Базеле, и понимали, что сейчас, у этой могилы, начинается их собственная жизнь.

20

Процессия, состоящая из людей в черном, медленно тянулась к кладбищу, то и дело слышались причитания: «Йезус-Мария-Йозеф», потом: «Святая Мария Богородица, не покинь нас», потом: «Аминь» — и опять все сначала. Через силу, но люди старались исполнить свой долг, дотащить гроб с Марией до могилы, хотя им было очень трудно, очень уж холодно было в эти дни между старым и новым годом. Снег вперемешку с дождем летел почти горизонтально, покрывая гроб сверкающей, прозрачной и тонкой ледяной коркой, наметая на крышку девственный холмик из белых снежинок, а стекающие вниз капли воды оборачивались тонкими, хрупкими сосульками, веточками ювелирного узора из причудливых растений, покрывавшего гроб и на глазах у всех превращавшего его в хрустальный ковчег.

Мария и Гертруд шли за гробом, ведя под руки беззвучно плачущего Йозефа, человека, которого они почти не знали, который, спотыкаясь, брел за гробом по черной от угля дороге к кладбищу, где мертвую Марию уже ждала яма, вырытая в топкой, хлюпающей, черной жилковатой земле.

Под пронзительные, одни и те же испокон веку вопли всех скорбящих и под последнее, отчаянное «Йезус-Мария» ее опустили в эту яму, и вознеслась выше копров литания из коротких польских и немецких молитв.

Одолеть обратный путь было еще труднее, потому что теперь все продрогли до мозга костей, с завистью вспоминали о тех досках, которые они только что опустили в землю, — какой славный костерок можно было бы из них запалить, — они знали, что никакая поминальная трапеза их не ждет и нечем будет наполнить пустые желудки, поэтому, стыдливо и виновато пожимая плечами, они вытаскивали из карманов плоские бутылочки с самогоном, отпивали глоток, передавали дальше, и гуляла бутылочка из рук в руки и, пустая, возвращалась к владельцу, и вот похоронная процессия теперь уже не так тупо и беспомощно тащилась мимо отвалов породы, больше стали они похожи на людей, зашевелились, зашустрили, глядишь, молодежь уже чуть ли не галопом поскакала, среди горестных всхлипываний там и сям уже стали раздаваться смешки, да и откровенный смех послышался, вот кто-то подпрыгнул в танце, другие подхватили, и вовсе не из озорства, просто чтобы согреться, и

так вот вся эта толпа людей, вертясь, подпрыгивая, скача, пританцовывая и смеясь, добралась наконец до трактира «Удиви» — именно так называли они забегаловку, над дверью которой охочий до шуток хозяин повесил французское название «О-де-ви» — «Живая вода», — и все уселись за длинными столами из добротно оструганных досок, положенных на деревянные козлы и сделанных из бывшего шахтного крепежа; хозяин поставил на столы мытую брюкву, тут же из карманов были извлечены складные ножи, брюкву порезали на куски и, обильно приправив самогоном, тут же съели, вспоминая о поминках прежних лет, когда, бывало, и целую свинью съедали, а поскольку в нетопленом трактире было чуть ли не холоднее, чем на улице, столы и длинные деревянные скамьи отодвинули в сторону, у кого-то в кармане нашлась губная гармошка, от польки и мазурки перешли к полонезу, от которого в тесном помещении началась сутолока, все сгрудились, перемешались, полонез соединил людей в один шевелящийся теплый клубок, где один согревал другого, и стук деревянных башмаков по полу говорил, какое это счастье — жить.

Мария и Гертруд пошли домой, во-первых, потому что ближайшим родственникам покойной

так полагалось, во-вторых, потому что этому чужому Йозефу, который был теперь их отцом, стало плохо от водки, брюквы и беззвучных слез, и, стуча башмаками, они поспешили домой, в тихую ночь.

21

По ночам эти лемуроподобные существа выходили на улицу, во тьме они былнеразличимы, у них не было очертаний, они то сливались в единый комок, то распадались на отдельные слабые тени, звенели витрины, двери магазинов с треском слетали с петель, а темная масса, сгустившись, наседала, потом распадалась. Теперь они уже и среди бела дня паслись небольшими группами возле магазинов и складов, передавали друг другу газеты, где говорилось о переходе на осадное положение, и смеялись, эта масса росла быстро и угрожающе, она легко и шумно передвигалась по улицам, быстро меняла направление, делилась на части, то исчезая, то внезапно возникая уже в другом месте, снова сливалась воедино, быстро разбухала, потом на минуту замирала, беззвучная, и все глядели куда-то в одну точку, потом вдруг с криком срывались с места, осаждали ворота, двери, окна, подвальные люки и на мгновение облепляли весь дом, словно стая скворцов, которая ненадолго опускается, а потом, вспугнутая выстрелом, улетает прочь, и вот после короткой бешеной суматохи они исчезали с лица

земли, оставляя после себя дорожки из муки, гороха, чечевицы, фасоли, картошки, и все это тут же подбирали, ползая на четвереньках, старики и старухи, там же суетились плачущие дети, которые пытались мокрыми пальцами собрать остатки муки из грязи и сразу совали их в рот, но во рту оказывалась почти одна только грязь.

Густав беспомощно стоял в длинной цепи часовых, которая бесполезной гирляндой вилась вокруг магазинов и складов, в последний свой наряд вышли люди в форме, чтобы защитить хлеб от голодных, которые сужающимся кольцом стягивались вокруг охраняемых зданий, с каждым днем их становилось больше, их кольца лихорадочно сужались, переполняясь ненавистью, пока голод и бессилие в их мятущихся телах не перерастали в неудержимую силу, и тогда они переставали обращать внимание на цепи часовых и их предупредительные крики, на солдат с ружьями на изготовку, они обрушивались на эти цепи, и если некоторые из них платили за это жизнью, поскольку солдаты стреляли, то остальные выигрывали еще один день жизни, а один день жизни стоил смерти, и они чуть ли не бросались на солдат, пробегали прямо под дулами винтовок, выбрасывали из окон мешки,

канистры, банки, те лопались, и под прицелом направленных на них винтовок они торопливо все это собирали и тащили прочь.

Густав, с ружьем на изготовку, глядя поверх ствола, видел копошащихся людей, которые вдруг побежали прямо на него, у одного из них в руках был котел со свекольной ботвой, и этот человек, покачиваясь, шел прямо к нему, Густав поднял глаза от прицела, посмотрел в это лицо, оно было уже совсем близко, это был Хенсхен Альверманн с Риттер-штрассе, а лицо все росло, белки обезумевших глаз, красные от напряжения веки, широко разинутый рот, он что-то кричал, но звука не было, с губ не срывалось ни слова, Густав резко вздернул ружье и выстрелил в воздух, офицер, стоявший за ним, приставил к его затылку пистолет, Хенсхен Альверманн споткнулся и замер с котлом ботвы в руках, Густав качнулся вперед, схватился за Хенсхена, а тот — за него, и оба, цепляясь друг за друга, рухнули на булыжную мостовую, ударились головами о котел с ботвой и больше ничего не помнили.

22

Пока чужак Йозеф, которого, собственно говоря, никто и знать не знал, пытался прокормить семью, по двенадцать часов посменно работая под землей, — Мария и Гертруд, теперь уже полные сироты, жили у одного из братьев их убитого в Вердене отца, у Пауля по прозвищу Полька. Так звали его во всей округе, потому что до войны он кочевал со своим кларнетом от одной шахты к другой, ведь только он мог устроить праздник, как полагается. Он знал, что когда играть, и весь вечер вытягивал на себе: лихое начало, потом спокойные мелодии, сложные танцы, народные песни и наконец — бешеная кульминация праздника под попурри из самых любимых мелодий. Он умел играть все танцы и знал, какой за каким лучше пойдет, он знал вдобавок еще национальные гимны Германии и Польши и папский гимн.

Но только все мелодии теперь перепутались, весь распорядок жизни разрушился, он уже не различал, день сейчас или ночь, на войне он несколько дней просидел засыпанный в бункере и стал играть на своем кларнете такую музыку, которая была нестерпима для человеческого

слуха, ее никто не мог переносить долго. Пронзительные, тоскливые, жалобные звуки безо всякого ритма, лишенные гармонии, звуки, которые завладели им, когда его, полумертвого, извлекли наконец из бункера, от которых он хотел избавиться, передавая их кларнету, и от которых он начинал задыхаться, когда кларнет у него отбирали, так что он играл непрерывно, по ночам — тоже. Мария и Гертруд никогда не могли забыть эти высокие трели и низкие басовые тона, истинную мелодию этого мира, громкую, пронзительную, бессвязную, бездушно прерывистую, это была какая-то варварская, жестокая музыка.

Однажды выдалась на редкость тихая ночь, лишь изредка слышался жалобный звук, хотя висящая между отдельными звуками тишина тяготила больше, чем кларнет Пауля Польки. Рассвет в это утро оказался каким-то странно светлым, Мария выглянула в окно и увидела, что вся местность изменилась. Выпал снег, скудный свет неяркого солнца лишал предметы их очертаний, белые смерзшиеся горы угля сливались с белыми горами породы и с серовато-белым небом в одно единое целое, искажая расстояния. Белый фон и белые горы — все казалось одинаково далеким и одинаково близким. Тише, чем обычно,

звучали шаги людей по снегу, беззвучно вращались колеса копра, откаточные пути, опоры, крыша бани, здание конторы — все неразличимо слилось в слепящей белизне, мир ослеп, обратившись в нерасчленимую, слитную картину, где не существовало привычных точек опоры, картину, скрывавшую реальный мир. Внутри этой картины сидел Пауль Полька и обеими руками запихивал снег себе в рот. Мария быстро оделась, подбежала к нему, опустилась перед ним на колени, попыталась дыханием согреть его закоченевшие руки, а он тихим голосом говорил какие-то слова, потом оживился, стал говорить все быстрее и быстрее: «Свежий снег, капли крови на пути, вперед, товарищи, форт Донаумонт, туда, где кричат, туда, за мертвыми вслед, по развороченной грязной земле, река полна трупов, через реку по мягким, склизким телам, голый лес, на ветвях висят трупы, вставшие с земли, они остались висеть на деревьях, надо заползти в мертвых лошадей, в тлен, в трупное зловоние, порыться руками в человеческих кишках, в теплой плоти, заползти в тело, в ногу, в руку, сожженные, гноящиеся лица, половина головы, жажда, хочу пить, надо попить из головы, хочу пить, попить из головы, хочу пить, надо выпить

мозг, пить, пить…»

Мария с трудом подняла его, осторожно повела к окаменевшему дереву, которое стояло около дома, он обхватил его и больше уже не отпускал. На куче угля начал таять снег и вновь вернул миру черные контуры.

23

Что-то тупо ударило его по ноге, но было вовсе не так больно, как он воображал себе, ухаживая за ранеными, однако он точно знал, что это пуля. Он лег на спину, опираясь на локти, отполз подальше за постамент памятника и снова зарядил ружье. Над ним царственно восседал на своем боевом коне кайзер Вильгельм, и брюхо коня весом в тонну бугрилось над головой Густава. Он посмотрел вверх, небо стало темно-алым, мир закружился вокруг него, и в этот момент фигура кайзера поднялась, конь под ним взвился на дыбы, нетерпеливо грызя удила, хвост и грива коня взметнулись вверх, затрепетал султан на шлеме у кайзера, подковы замелькали в морозном воздухе, ангел войны справа от кайзера и ангел мира слева от него, оба с широко раскинутыми крылами, тоже сорвались с постамента и вместе с пушечными ядрами, пальмовыми ветками и рогами изобилия взмыли в воздух, и вся скульптурная группа, мощно хлопая крылами и звеня копытами, стала подниматься в небо.

А после этого с неба спустилось лицо господина Вампомочь, причем он странным образом опус-

кался вверх ногами и, схватив Густава сзади под руки, со стонами и проклятьями потащил его с линии огня. «Да не цепляйся ты так за землю, Густав, ну, мне ведь и так тяжело, и брось это поганое ружье». Густав судорожно сжимал ремень ружья в онемевшем кулаке, ружье с лязгом и стуком волочилось за ним, раненая нога скользила по окровавленным булыжникам, ружье то и дело застревало, зацепившись за камни, нога болела, Вампомочь все тащил его, а ружье справа, нога слева — ненужные и безжизненные, болтались, волочась за телом Густава, но Густав не хотел терять ни то ни другое.

На углу около какого-то дома ждали Вильгельмина и отец Абрахам со старой тачкой, на которой Вампомочь перевез уже немало гробов, все вместе они взгромоздили Густава на тачку и бегом повезли его в магазин Вильгельмины, где Густава положили на прилавок, головой к кассе, которая с помощью привинченной к ней таблички «Спасибо» утверждала свое место под солнцем торговли. Нога теперь страшно разболелась, тряска в тачке, спешка при переносе тела в магазин сделали свое дело, Густаву стало плохо.

Вильгельмина вырвала у него из рук ружье, побежала в подвал и бросила «чертов пугач» в

ящик для картошки, который давно пустовал. Раздался звонкий лязг, словно металлом ударили по металлу, и снизу, из дыры в ящике, выкатились четыре ружья, два пистолета и несколько ручных гранат, которые медленно покатились по полу. Вильгельмина охнула и упала в обморок.

А между тем наверху, в магазине, появился советник медицины доктор Леви, который, будучи человеком несколько полноватым, придерживался правила «Тише едешь — дальше будешь», поэтому в случаях, когда требовалась срочная помощь, всегда появлялся в дверях, тяжело дыша, ронял на пол свой врачебный чемоданчик, словно это был ненужный хлам, размашистым жестом перекидывал через стул пальто, надевал пенсне, склонялся к пациенту и произносил свою знаменитую фразу: «Вот так сюрприз, извольте радоваться!» — а на этот раз прибавил: «Пулю придется удалить».

Устроив своего рода неотложную операцию в полевых условиях: «Как я понимаю, больница исключена по причинам юридического порядка, не так ли?» — он начал кромсать ногу Густава, заговаривая ему зубы разного рода житейскими мудростями до тех пор, пока не остался более-менее доволен своей работой. «С медицинской

точки зрения это не блестяще, но, учитывая грядущую мировую революцию, этот вариант избавит обвиняемого от некоторых пока еще существующих параграфов закона. На нет и суда нет. Перед Господом все мы грешники, сказано в Ветхом Завете, а Иисус не знает грешников, только кающихся, сказано в Новом Завете. Выберите то, что вам больше нравится».

Он подхватил пальто и чемоданчик и вышел из магазина, успев восхититься звоном колокольчика у дверей и с иронией воскликнув: «Шалом!»

Под вечер явился Виг Бен с двумя юными соратниками, спокойно оценил ситуацию и постановил: «В крепость Обербилк». Густава вновь погрузили на тележку, туда же поместилось несколько стульев, стол, платяной шкаф, старая кровать, матрас и постельное белье — что делать, переезжать надо было срочно. Соратники тащили тележку, сам Биг Бен шагал рядом, переставляя ноги, как механическая кукла, которая учится ходить. Он энергично загребал руками, а ноги выбрасывал вперед с большой осмотрительностью. Тело Биг Бена было, казалось, сделано из кованого железа, а подвижные детали не имели внятной формы и были пригнаны кое-как, наскоро привинчены к телу. В своей расстегнутой до пупа

рубашке, с выпяченной грудью и закатанными рукавами, с руками, сжатыми в кулаки, в громоздких, как скальные утесы, башмаках, он всем телом, словно танк, обрушивался на классового врага, подставлял ему лоб и грудь, был и молотом, и наковальней, был гудящим колоколом революции, бил сам и сносил побои, жил ради всеобщей забастовки и боролся с реакцией.

Биг Бен уверенно провел их через все минные поля классового врага, он знал убежище, надежность которого обеспечивали товарищи по партии, ведь все подземные переходы, ведущие в Обербилк, охранялись, и доставил Густава в «неприступную крепость Обербилк», в абсолютно надежное место, в комнату своего дяди.

В юности дядю дважды арестовывала полиция, первый раз — по ошибке, по делу об осквернении памятника, когда он просто стоял рядом, и все, а второй раз из-за того, что он во время первого допроса назвался чужим именем. После этих двух арестов он, видимо, потерял разум и с тех пор так и не обрел его вновь — так люди теряют свой зонтик и уже никогда больше не находят.

Дядя сидел в старом кожаном кресле, прикрыв колени грязным одеялом, бессмысленно смотрел через окно на улицу и каждые четверть часа, как

часы с кукушкой, повторял: «Такова жизнь». Он научился произносить эту фразу без малейшего выражения, она составляла всеобъемлющую философию его жизни, будь то солнце или дождь, рождение или смерть, война или мир, — «такова жизнь». Интерес к людям, к вещам, к миру он утратил полностью, железная самодисциплина не допускала в его сознание ничего, кроме одной мысли: «Такова жизнь». Поэтому его комната была наилучшим пристанищем для людей, о которых необходимо было забыть.

Густав лежал в углу на полу, на твердом ватном матрасе, под головой у него была попона. Он смотрел поверх кресла, в котором, сгорбившись, сидел дядя и непрерывно качал головой, и видел квадратик окна и одинокую звезду в черном ночном небе. Нога пульсировала, боль ширилась, казалось, что рана становится все больше и больше, что она расползлась уже по всему телу, его начало лихорадить, в раскаленном мозгу проносились разноцветные яркие образы, они сливались воедино, рассыпались, возникали вновь: огненно-красные, ядовито-зеленые, ярко-фиолетовые, ослепительно-желтые — «Такова жизнь». Он видел себя в серой армейской шинели с красной повязкой на рукаве, ружье висит через

плечо дулом вниз, он в карауле у пулемета рядом с вокзалом — «Такова жизнь». Вокзал превращается в театр «Аполлон», в это византийское строение с гнутыми арками, красочными эркерами, сияющими куполами и башенками, которые тянутся к небесам, перетекая одна в другую, и все это громоздится и растет вверх: эркер на эркере, купол на куполе, бесконечные башенки одна на другой — «Такова жизнь», — и в этом здании совет рабочих и солдат, стоя в свете рампы среди жонглеров, эквилибристов, фокусников, воздушных гимнастов, попирающих смерть, стоя на трапеции, среди мимов и рейнских юмористов, среди солистов балета на воде, конферансье и девочек по вызову, в здании на 3500 мест в партере и ложах, в грандиозном помещении этой Айя-Софии легкого жанра, — «Такова жизнь», — провозгласил, что он, совет, а вместе с ним народ берет власть в свои руки. «Новое время началось для Германии. Да здравствует мир, да здравствует свобода! Да здравствует братство всех народов на земле, их слияние в единую демократическую и социальную республику!» — «Такова жизнь», — и те, кто держал красное знамя, дрались с теми, кто до сих пор размахивал черно-бело-красным, они стреляли друг в друга, и в парке Тонхалленгар-

тен под старыми романтическими деревьями, под угасшими теперь белыми шарами фонарей, которые, как зябнущие чайки, недвижно сидели на железных дугах на одинаковом расстоянии друг от друга, были объявлены и при всеобщем одобрении приняты двенадцать пунктов, — «Такова жизнь», — и высокие чины городского магистрата бежали, они летели над городскими крышами, над театром «Аполлон», а в это время заключенные, которых освободили из тюрем, танцевали на улице, слепой шарманщик наигрывал скрипучий вальс, — «Такова жизнь», — и народ бежал по улице Карла Либкнехта, которая прежде называлась Кенигсаллее, бежал по улице Розы Люксембург, бывшей Кайзер-Вильгельм-штрассе, по улице Спартака, бывшей улице Гинденбурга, — «Такова жизнь», — и Густав размахивает ружьем перед носом у редактора газеты «Дюссельдорфские новости», которая теперь называется «Красное знамя Нижнего Рейна», и печатает на первой странице программу Союза Спартака, составленную маленькой дикаркой Розой из Польши, а «Дюссельдорфский ежедневный листок» называется «Народная воля» — «Такова жизнь».

Революция! Красные флаги развевались над

городом — на больших домах, на мосту через Рейн. Революция! Никто толком не знал, что это такое. Революция! Это означало, что все будет по-другому, но как, как именно, кто ж его знает, денег не было, а без денег жить нельзя, но какая же революция, если у людей есть деньги, — «Такова жизнь».

Прибыли матросы из Киля, то и дело слышались песни и возгласы: «Эй, на шлюпке!», они мечтали о больших парусниках свободы, о гордых пятимачтовых покорителях морей, а люди, уставшие от очередей за супом, за картошкой, за брюквой, от продуктовых карточек, мечтали о том, чтобы настал наконец предел этим земным мучениям, этой беспросветной нужде, этой голодной бесприютности, — «Такова жизнь», — они, преисполненные надежды, по доброй воле мчались в этом общем хороводе, вьющемся по улицам без конца и без цели, похожем на лабиринт, и пляска смерти день и ночь не прекращалась, увлекая людей в сонный парк Тонхалле, пьяно проносясь по ратуше и пугая граждан, неистовствовала в свете прожекторов на сцене театра «Аполлон», становясь главным номером программы в этом «самом большом варьете Европы», грандиозной пантомимой в масштабах государства, — «Та-

кова жизнь», — и кайзер Вильгельм на коне, в сопровождении шумнокрылых ангелов смерти и мира, с лязгом и цоканьем удалился в каморку над сценой истории, где обычно сидят кукловоды, да так там и сгинул, а народ по ошибке забрел в оркестровую яму и многоголосо, на все лады стал взывать о помощи, и этот чудовищный дисгармоничный гам перерос в неистовый хохот, и пляска смерти обернулась карнавалом, когда революция родила нового бургомистра, и он представился: «Шмидтхен», — «Такова жизнь», — и когда генерал, который в имени не нуждался, именовался просто «генерал» и всегда знал, что надлежит делать, подчиняясь приказам из Берлина и используя свой добровольческий корпус, превратив веселый карнавал в мрачный день Великого поста, то есть применив тяжелые орудия, завоевал Обербилк, улицу за улицей, дом за домом, подобно тому как в 1848 году прусская армия с помощью пушек взяла центр Дюссельдорфа — Старый город, — генерал ворвался в эту со всех сторон окруженную высоким и широким железнодорожным валом, почти неприступную крепость Обербилк, в которой красный цвет был цветом жизни и люди называли друг друга «товарищ», — «Такова жизнь».

Густав лежал, обессилев от боли, изнуренный треском взрывающихся гранат, извиваясь от ярости, совершенно беспомощный, в углу, где на стене отслаивались обои и под верхним слоем виднелись старые узоры. Когда он снова пришел в себя, тем давним утром, — старый, тихий, уютный, безобидный и самодовольный Дюссельдорф канул в прошлое, Густав лежал в комнате один, сжимал в руке железнодорожные часы своего деда, которые мирно тикали, и, почувствовав легкую саднящую боль, увидел, что на ноге у него открылась красная язва.

24

«Тяжелую, кровавую жертву принесла община этой долгой войне, самой большой и самой чудовищной в мировой истории. Сотнями исчисляются мужчины и юноши из Ротхаузена, которые на полях кровавых сражений принесли в жертву во имя Родины и Отечества самое ценное и дорогое — свою жизнь. Пусть многочисленные имена дорогих нам покойных навеки золотыми буквами будут вписаны в историю нашей общины».

Эти слова написал учитель Тобиен в той книге, которую вручили Марии в торжественной обстановке, с надписью от бургомистра. История общины Ротхаузена близ Гельзенкирхена в ржаво-красном переплете, таком же красном, как земля, на которой все они жили, книга истории той общины, у которой вовсе не было никакой истории до тех пор, пока в ее непаханой земле не нашли уголь и пока на угодьях Дальбуша не сделали проходку первой шахты, а потом появились и другие шахты, и среди разбросанных там и сям крестьянских лачуг возник первый шахтерский поселок, прямо через поля были наскоро

проложены рельсы новой железной дороги, а вокруг все росли и росли шахты. Подобно тому как росли поселки золотодобытчиков вокруг золотоносной жилы в легендарной Америке, здесь, на легендарном западе Германского рейха, на Руре, города вокруг угля и железа быстро срастались в один гигантский город. История домишек, прилепившихся к шахте Дальбуш, завершалась великой войной, а в напечатанном красивым шрифтом приложении, где был изображен орден Железного Креста, содержался «почетный перечень павших воинов, которым сия книга да послужит вечным надгробием», как писал учитель Тобиен, и в этот список имена отца Марии Йозефа Лукаша и брата ее матери Франца Новака были навеки внесены не золотыми, но тяжелыми черными буквами. «Вечная наша память и благодарность павшим героям. Склонимся перед их именами. Пусть сей пример безграничной самоотверженности послужит гражданам образцом для подражания, образцом верного служения обществу, и тогда всходы нового времени, укрепленные героической гибелью этих честнейших людей, принесут нетленные плоды во благо и процветание нашей общины и нашей Родины».

Многие поговаривали, что учитель Тобиен уже

произносил все эти слова на открытии памятника героическому кайзеру у главных ворот шахты. Героического кайзера переплавили, герои мертвы, а оставшиеся в живых сидели в ратуше на памятном вечере, все рядочком, словно на церковной скамье, собрались все близкие и дальние, самые близкие и совсем дальние родственники, которых нужно было называть «дядя» и «тетя», двоюродные и троюродные, и разбирались во всем этом хитросплетении родства только старики, родственники в большинстве своем жили в Гельзенкирхене или неподалеку от него, они образовывали разветвленный клан и, несмотря на все невзгоды, держались вместе, словно связанные единой нитью.

Рядом с Марией сидела тетя Жозефина, сестра матери, подарившая ей однажды маленькие сережки, за которыми они специально ходили в ювелирную лавку, где Марии проткнули мочки ушей, это было такое яркое воспоминание. У тети Жозефины было, как все говорили, фарфоровое личико, она была очень хороша собой, вышла замуж за учителя танцев, «не самый удачный брак», говорили все. Теперь на фарфоровом личике появились первые тонкие трещинки, Мария хорошо их разглядела, в уголках рта и

глаз собрались морщинки, а веки непрерывно подрагивали, словно у куклы, которую все время вертят и не дают ей покоя. Ее муж на вечер не приехал, «он не любит нашу семью», говорили все. Он был лютеранской веры и вместе с тетей Жозефиной содержал школу танцев, Мария это знала, большую часть они сидели одни в большом арендованном ими зале и ждали, не заглянет ли к ним какой-нибудь смущенный юнец, чтобы научиться танцевать вальс и фокстрот.

Тетя Серафина, другая сестра матери, была незамужем, «ведь порядочные мужчины нынче перевелись», как все вокруг утверждали. Она находила отраду в церкви, куда наведывалась ежедневно, наряжаясь всегда с такой тщательностью, будто Иисус ждет там только ее одну. Она помогала всем, все ее любили, она ходила за больными, помогала по хозяйству, но стоило какому-нибудь мужчине положить ей руку на плечо, как она тут же вырывалась, бежала в церковь и исповедовалась.

Рядом с Паулем Полькой сидела его жена Анна, которую Мария тоже называла «тетя», хотя теперь она стала ей вместо матери. Все говорили, что она «работает за двоих», — «а говорит за четверых», всегда добавлял Пауль Полька, потому что она не

могла работать молча, она делала что-нибудь и говорила, говорила, а голос у нее был не слабенький, поэтому все в доме слышали, что она сейчас делает, летом же, когда все окна были открыты, вся улица была в курсе ее дел. «Но уж сердце у нее зато какое доброе», говорили все, и это была правда, она заботилась обо всех и каждом, и Мария так мечтала, чтобы она побольше заботилась о ней и о Гертруд, но Анна больше всего любила высунуться в открытое окно, упереть локти в подоконник, она болтала, болтала, примечая все, что происходит на улице, и денно и нощно всем сердцем принимала участие в чужих заботах.

Тетя Кэте и дядя Генрих, собственно говоря, к их роду не принадлежали, но к ним относились как к близким родственникам и на семейном совете к ним прислушивались, почему — Мария не знала. Дядя Генрих, машинист паровоза, считался человеком, повидавшим мир, а тетя Кэте деятельно участвовала в судьбе всех детей рода.

Для Марии лица всех родственников, одетых в черное, постепенно слились воедино, они сидели прямо, с серьезным, озабоченным выражением лиц, все в один ряд, женщин было больше, чем мужчин, они «погибли на войне», так про них говорили, женщины прижимали к лицу носовые

платочки, взволнованно всхлипывали, а немногочисленные мужчины, у одного из которых была только одна рука, а вместо другой пустой рукав, всунутый в карман пиджака, мужчины сидели с равнодушными лицами, нетерпеливо ожидая того момента, когда снова можно будет курить.

Мария никак не могла себе представить, что ее отец теперь — герой и Родина вечно будет о нем помнить, наверное, это просто так было написано в книге. Она часто по вечерам листала эту книгу, сидя на кровати, подобрав под себя ноги, при свете керосиновой лампы, и закладывала страницы письмами и открытками от отца и матери, и все написанное в них и в книге сливалось теперь воедино. Став взрослой, она могла поклясться, что последнее письмо отца напечатано в этой книге, но на самом деле это было не так. В этой красивой книге ничего не говорилось о ней, о Марии, и ее истории, ничего там не было о тех людях, которых она знала, о ее родителях, дедах и прадедах, о том, откуда они пришли, там были только сведения о росте численности общины да о постоянно увеличивающихся масштабах рудника и неуклонно растущей добыче угля, там было названо количество тонн, которое приходится на каждую шахту, и средняя цена, а также выража-

лась благодарность дирекции, которая, выйдя на заслуженный отдых после плодотворных трудов в Дальбуше, переселилась в Дюссельдорф.

Поэтому она все внимательнее вчитывалась в длинный перечень героев, ведь эти имена ей хоть что-то говорили, правда, кое-какие из этих имен пока еще представлялись ей совсем не героическими, зато они живо вставали в ее памяти: стоило ей только закрыть глаза, как мертвый герой с недокуренной папироской во рту спешил по главной улице, потом стоял у стойки в трактире, горланя песни, или фланировал в компании других шахтеров мимо главных ворот. Она добросовестно сосчитала все имена, потому что учитель Тобиен забыл это сделать, и у нее получилось 759 погибших. Столько домов у них и не было, сотни две — не больше, ну, на худой конец, четыреста, значит, на каждый дом приходилось по два человека погибших, да если добавить к этому раненых, ну, скажем, по четыре на каждый дом, и тех, что вернулись домой инвалидами, тогда получается целая шахтерская смена всех шахт Дальбуша, сколько же это семей-то всего, которым пришлось теперь перебиваться без мужа или без сына.

Германского имперского рейха больше не бы-

ло, так говорилось в книге, но и род Лукашей почти прекратился, хотя об этом говорил только перечень героев. То и другое было тесно связано, хотя можно было подумать, что никакой связи здесь нет, — вот что было самым ошеломляющим во всей этой истории. Они пришли сюда в пору создания Германского рейха, и они умерли вместе с ним.

III
Время замерло

1

Открытая гноящаяся рана переливалась всеми цветами ореола святости — от синего и красного до зеленого и желтого с розовыми и фиолетовыми полутонами, это была настоящая радуга, в центре которой багрянцем пламенела рана; ее часто выставляли напоказ, как святые мощи, которые в положенный им час освободятся от тонкой пелены, и хлынет алая кровь, утверждая вечную истину и бессмертную память.

Густав, подвернув повыше штанину, таскался от кабака к кабаку, ведь эта рана была знаком чести и достоинства, в Обербилке она считалась пожизненным орденом, что вы хотите, герой революции, слуга Отечества, значит, всю жизнь пиво бесплатно, все признательно похлопывают по плечу, подмигивают доверительно с видом заговорщика, поднимают на прощание сжатый кулак, а те, кто там не был, интересуются и задают вопросы. Он сопровождал свои ответы размашистыми жестами, говорил с ораторским запалом, да, конечно, поражение, но не бесчестье; у тех и артиллерия была, и боеприпасов навалом, но город-то был в наших руках, мы провозгласили

свободу да еще и бой приняли. В этом месте его речи неизменно раздавались аплодисменты, и все еще раз пропускали по рюмке водки ради такого случая, а Густав шел дальше.

Этим утром он, вытянув ногу на деревянной скамье, сидел в пивной «Роте Капельхен», так называлась забегаловка на углу, состоявшая из стойки-бастиона и трех маленьких столиков вдоль одной скамьи. И днем и ночью один и тот же мглистый свет погружал лица мужчин, брезжащие за пивными кружками и стаканами со шнапсом, в мягкую расплывчатость алкоголя, и только раздвижное окошко на улицу, через которое любопытные мальчишки просовывали внутрь стеклянные и фарфоровые кувшины, а потом забирали их, наполненные пивом, только это окно и связывало забегаловку с внешним миром, потому что дверь завешена была тяжелым, неподъемным войлоком.

«Все истории, вместе взятые, есть лишь одна единая история, но жизнь рассказывает множество историй и сбивает людей с толку, однако все истории приходят к нам из дальних краев, из Страны Соломона, они-то и есть та самая история людей и человечества, все, что произошло и что еще произойдет, — все есть в этих историях.

Нужно верить в эти истории как в истину, ибо истина всегда была просто-напросто историей, но именно она наполняет жизнь, мир и даже самих богов своим светом. Я написал все это каллиграфическими буквами и собрал в одну книгу, где мирно спят все истории этого мира, чтобы люди с трепетом склонились перед ними и чтобы истинное знание о мире расцветало в умах и сердцах уверовавших».

Эти чеканные строки, которые у стойки в кабаке пана Козловского взывали к совести человечества, пытаясь достучаться до каждого сердца, служили прежде всего продаже маленькой белой книжонки за двадцать пять пфеннигов, которую все уже прекрасно знали и в которой много говорилось о скором конце света. Продавал их проповедник Кальмеской, как его называли люди, единственный в мире последователь Соломона, как он именовал себя сам. Он расхаживал в длинной черной сутане, как итальянский священник, без носков, в открытых стоптанных сандалиях, а волосы никогда не стриг, и они курчавыми локонами падали ему на плечи. На груди у него висела большая аспидная доска на красной веревочке, и каждый день он красным мелком угловатыми буквами аккуратно выписы-

вал на ней одно из изречений царя Соломона, а вечером, поплевав на доску, стирал его рукавом сутаны, который был перепачкан мелом всех оттенков, чтобы на следующее утро написать новое изречение. Вооружившись таким образом, он разгуливал по улицам, останавливался, чтобы прохожие смогли прочитать изречение, и был очень доволен своей деятельностью. Он знал, что является единственным соломонистом в мире, священником, верующим и ведающим в одном лице, но он воплощал в себе Церковь будущего, и это придавало ему уверенности, тем более что уже почти сто тысяч человек, по его подсчетам, прочитали его изречения, а в том, что слово Соломоново окажет свое действие на тех, кому явлен уже свет истины, у него не было ни малейшего сомнения.

Биг Бен, который верил только тому, что видел, но не мог отрицать того факта, что в данный момент видит на доске слова: «Не злоупотребляй ни справедливостью, ни мудростью, ибо иначе ты погибель готовишь себе», и для проповедника уже одно это доказывало, что слово оказывает действие, так вот, Биг Бен больше верил в дела. Биг Бен в своем роскошном мундире стоял у стойки, как маршал Красной армии, он даже кивнул,

соглашаясь, потому что тоже не отказался бы от хорошей истории, и заказал Козловскому джин на всех.

Если ему случалось работать, то он работал портье в разных ночных клубах и в своем ярко-красном мундире с золотыми позументами и шнурами выглядел «как генерал-квартирмейстер всех медных дверных ручек и распашных дверей» Дюссельдорфа, он жил «чаевыми буржуазии», а если на чай давали слишком мало, то он брал несчастного буржуа во фраке за грудки и кричал, что ему, мол, самое время строить Ноев ковчег и сажать на него хотя бы несколько дам и господ, трезвых или пьяных — неважно, чтобы сохранилось хотя бы несколько образчиков этой разновидности людей, потому что грядет девятый вал пролетарской революции.

А мундир он не снимал целыми днями, ведь другой приличной одежды у него не было, и дети с восторгом смотрели на него на улице, думая, что это цирковой шталмейстер. Жил он у своей матери, которая целые дни просиживала у окна за занавеской, напоминая сморщенную изюминку, и экономила каждый пфенниг ради своего сына, и, надо сказать, ей удалось скопить денег, чтобы сын съездил в Лондон, там он обозрел

Национальную библиотеку и тот самый зал, где работал Карл Маркс, вернулся домой и сообщил: «Да, этот дядька прочел много книжек».

И каждый день он рассказывал свою любимую историю о том, как однажды, когда великий Крупп вошел в двери отеля «Брайденбахер», Биг Бен на минуточку, просто так, поднял его на руки. Крупп три минуты просидел у него на руках, не шевелясь. А когда Биг Бен снова спустил его на пол, Крупп снял перед ним цилиндр, вручил ему свою визитную карточку и тут же, с ходу, предложил ему место на вилле Хюгель. Он, Биг Бен, отклонил это предложение под тем предлогом, что на этой вилле все равно скоро будет устроен дом отдыха для трудящихся. Крупп ответил, что это совпадает с его планами и что он был бы очень рад избавиться от старой развалюхи, но сказал, что если до этого дойдет, то он просит зарезервировать для него, Круппа, местечко на вилле Хюгель. И он, Биг Бен, ему это пообещал. А потом они оба, рука об руку, Крупп во фраке и он в своем мундире, прошли через весь Старый город и заглядывали в каждую забегаловку, куда Крупп раньше и войти-то не решался. В завершение сего похода они посетили даже местную пивнушку «Де сиббе лююс», а закончили свои

приключения в «Хансенс Пенн». «Хансенс Пенн» была та самая пивная, где хозяин ночью натягивал веревку от одной стены до другой, продернув ее под мышками у посетителей, которые явно собирались здесь уснуть, и таким образом всего за пять пфеннигов они могли здесь отоспаться в слегка подвешенном положении. Каково же было ликование присутствующих, когда утром, как только хозяин выдернул веревку, Крупп свалился в уже приготовленный тазик для умывания. Разумеется, все понимали, что на самом деле такой истории быть не могло, но уж больно она была хороша, к тому же это была история Биг Бена, и всем хотелось слушать ее без конца. Удивляло только то, что в конце рассказа Биг Бен показывал всем присутствующим визитную карточку Круппа.

За столом рядом с Густавом, в поле зрения знаменитой раны, сидел полицейский Шмитц; поблагодарив, он отказался от предложенной ему рюмки джина и продолжал в задумчивости ковырять яйцо вкрутую, пытаясь совместить и сложить воедино, как мозаику, все те четыре истории про ногу Густава, которые всякому были известны, потому что он был полицейский и ничего, кроме полицейского протокола, вообразить себе не мог.

Вильгельмина готова была поклясться, что эта рана была у Густава еще в раннем детстве. Биг Бен был уверен, что это дело рук реакционера, который попал в Густава камнем. Пан Козловский готов был руку дать на отсечение, что Густав просто свалился с лестницы, когда спускался в винный погребок. Густав, после некоторого раздумья, решился в пользу той версии, что он только протянул руку за супом, стоя у раздачи, у котлов солдатской полевой кухни, как сбоку рикошетом ударил осколок, бог его знает откуда, и…

У полицейского, таким образом, было четыре истории, которые с точки зрения процедуры криминального расследования назывались противоречивыми, но он уже усвоил, что в этой части мира, где ему пришлось нести свою службу, жизнь состояла из сплошных противоречий. Да что там говорить, и его собственная личность складывалась из противоречий, ведь полицейского Шмитца на самом деле звали Гранжан О'Фаолэн. Его дед приехал из Ирландии, работал инженером у Мальвани и через некоторое время, поскольку люди не могли выговорить его имя и, к его досаде, называли его просто «англичанин», переименовал себя в Смита, а из Смита получился потом Шмитц. Когда его дочь вышла замуж

за бельгийца, инженера по имени Гранжан, все по-прежнему пользовались фамилией Шмитц, потому что и бельгийское новое имя не так-то просто было выговорить, а их сын, который чтил имена своих предков и всегда подписывался полным именем «Гранжан О'Фаолэн», — и есть наш полицейский Шмитц. Этим полным именем он подписывал все протоколы, когда же в полицейский участок прибывал новый стажер и, наткнувшись на странное имя, вопрошал: «Это кто же у нас такой?» — старшие товарищи успокаивали новичка, поясняя: «Так это же Шмитц».

Полицейский по имени Шмитц-Гранжан О'Фаолэн гордился своими курчавыми рыжими волосами, поэтому частенько снимал фуражку, с удовольствием проводил рукой по «кудряшкам», как их здесь называли, и отправлялся на обход своего участка, взирая на все с беспечным спокойствием, потому что его изобретательность в трактовке законодательной сути каждого деяния была поистине неисчерпаема. В небрежной позе, чуть склонив голову, наблюдал он за ходом многочисленных драк, прикидывая, спортивная ли это схватка или все же умышленное членовредительство, ведь в этом квартале было немало боксеров, а когда стоящие рядом зрители убежда-

ли его, что участники драки, которые в данный момент вовсю бьют друг друга по физиономии, это на самом деле добрые друзья, то он прекращал схватку добродушным возгласом «брейк!» и шел дальше.

Так что в этом квартале были свои, особенные порядки. Тут и не всякое воровство считалось воровством. Все зависело от обстоятельств. Если украл безработный, а у него семья, то это не воровство, а если кто-то злоупотребил доверием своих же товарищей, то наказанием ему было всеобщее презрение, которое длилось годами, и этого бывало вполне достаточно, привлекать его к суду не было необходимости. А если кто-то, кровопийца и мучитель, недоплачивал своим же рабочим, то хуже воровства не было, и уж к такому обязательно наведывались в контору и обчищали ее как полагается, это называлось строгать спички, да и обстановочка в конторе после такого налета выглядела соответствующе. Таким образом, все делалось здесь как полагается и в соответствии с твердыми представлениями о справедливости, и полицейскому приходилось с этим считаться, тем более что людей в форме здесь вообще не очень-то жаловали, никто не мечтал стать жандармом, все предпочитали быть

не казаками, а разбойниками.

Гранжан О'Фаолэн был исключением, он здесь родился, был гражданином страны, ему доверяли. Если он проявлял интерес к какой-нибудь истории, к какому-нибудь загадочному ограблению, которое не сходило со страниц газет, то он всегда получал честный ответ, ему подробно, в деталях, рассказывали, что произошло на самом деле и кто в этом участвовал. Так прямо записывать все это и протокол было нельзя, что побуждало Шмитца-Гранжана О'Фаолэна к употреблению витиеватых восточных выражений и восточной же интерпретации определенных правонарушений относительно собственности. За его рапортами, которые отличались сногсшибательными оборотами речи и особой человеколюбивой логикой, с прямо-таки философским интересом следил весь полицейский участок. Прочитать там можно было, к примеру, следующее: «Краденое было найдено в полном объеме, поскольку обвиняемый (ранее судимый) смог, приведя улики, доказать, что обокраденный (ранее судимый) сам совершил кражу этого краденого, поскольку фактический обокраденный (ранее судимый) вопреки нашим утверждениям утверждает, что он обокраден не был, и заявил о своем намерении

оспорить наше утверждение в высших инстанциях, и посему краденое согласно официальным предписаниям с правовой точки зрения надлежит рассматривать как найденное, и в случае неявки каких-либо прочих владельцев по истечении установленного законом срока оно будет поделено поровну между тремя вышеозначенными лицами. Притязаний на вознаграждение за найденное никто из заинтересованных лиц не предъявлял».

В остальном же полицейское управление было в высшей степени довольно его работой. Если заваривалась серьезная каша, то есть имущественное преступление было налицо, и ребятки всерьез поработали у одного из ювелиров на Кенигсаллее или в драке один другому череп проломил, тогда преступник находился мгновенно, глядь — а он уже в наручниках, и Шмитц всегда прекрасно знал, какую птичку и где ему надо ловить, тут он мог рассчитывать на полное взаимопонимание у себя на участке, все-таки он был полицейским и дело свое знал крепко.

Козловский, который, стоя за своей грандиозной дубовой стойкой, начал уже проявлять нетерпение, выразился в том смысле, что, наверное, достаточно будет маленького протокольчи-

ка, — «и написать туда всю эту обычную чепуху». Гранжан О'Фаолэн с ним не соглашался: «Закон, закон прежде всего, а в данном случае мы имеем дело с военно-уголовным правом, тут шутки в сторону, вздернут — и все, тут хитрить нельзя», при этом он встал, взял из миски на стойке еще одно яйцо вкрутую и снова сел.

Поляк Козловский, отец которого был чернорабочим и оставил крохотное наследство, взял в аренду эту забегаловку на углу, которую все называли не иначе как «Дас роте капельхен» — «Красная часовенка», потому что, с одной стороны, здесь раньше была штаб-квартира Союза Спартака, а с другой стороны, Козловский оборудовал здесь самый настоящий домашний алтарь, ибо, говоря про себя: «Я поляк, и больше ничего, поляк до мозга костей», он был человеком весьма консервативным, поэтому в одном из углов своей забегаловки в полном соответствии с традициями своей родины устроил этот самый домашний алтарь. Распятый Иисус, увитый священными ветвями самшита, образ Девы Марии Богоматери Ченстоховской, портрет Его Святейшества Папы Римского, флаг Польши и флаг Германии, все это было слегка покрыто копотью, но зато из своего угла Козловский хорошо видел все свои

реликвии. Подо всем этим еще недавно висел кроваво-красный плакат с призывом ко всем поспешить на митинг, где будут выступать Роза Люксембург и Карл Либкнехт, но, когда пришли солдаты, плакат спешно сорвали, и на четырех кнопках, которыми он был приколот к стене, до сих пор оставались обрывки красной бумаги, так что любому завсегдатаю было ясно, какой дух по-прежнему витает в этих стенах и что на этом месте по идее должно висеть.

Строгим католиком Козловский не был, но великому лону всеобъемлющей Матери-Церкви он ущерба наносить не хотел, как, собственно, и постоянных посетителей своих ущемлять не собирался, а они состояли исключительно из социалистов да коммунистов; когда он читал их программы, то находил в них много, по его словам, евангелического, но все-таки все они, как он считал, оставались христианами в этих программах. Церковь, по его мнению, заведовала жизнью вечной, а всякие там партии — жизнью повседневной, поэтому он цедил пиво из бочки, занимая промежуточное положение между Христом и Либкнехтом, Марией и Розой, одной партии ему было мало, он был и на той и на другой стороне.

Большинство постоянных клиентов Козловского снисходительно игнорировали его домашний алтарь при условии, что он будет развешивать все их плакаты, и он их всегда развешивал. Кроме того, его пивной подвал представлял собой надежное бомбоубежище, и никакая граната его не брала, у него были сносные отношения с весьма терпимым священником — и то и другое было немаловажно в известных случаях, а если в пылу пламенной общей сходки кто-нибудь начинал кричать, что-де этого парня, там, вверху на кресте, надо бы повернуть лицом к стене, Козловский кричал в ответ, что этому-то парню, который там, наверху, в любой момент можно доверить партию, в отличие от пресловутого Ленина.

Пан Козловский состоял из двух шаров, один сверху, поменьше, с добродушным выражением вареной свеклы, другой снизу, побольше, — тот был скрыт мощной стойкой. Эти два шара, связанные между собою и неподвижные в соответствии с неким законом инерции, могли молниеносно прийти в движение, элегантно огибали угол стойки, и тогда руки, балансируя и одновременно загребая наподобие лопат для угля, отвешивали затрещины направо и налево. Поскольку такие затрещины могли повредить барабанную пере-

понку или же так свернуть челюсть, что после этого три дня кряду приходилось питаться одной только жидкой манной кашей, забегаловка пана Козловского была вечным оазисом мира.

Биг Бен воспылал тем же нетерпением, что и Козловский, и сказал, что с этим делом нужно покончить немедленно. Пан Козловский позволил себе приблизиться к истине еще ближе и напомнил о падении с лестницы, да еще в столь юном возрасте… Кальмеской процитировал царя Соломона: «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки». Тут Гранжан О'Фаолэн, покончив со вторым яйцом вкрутую, вынул свою авторучку, отвинтил колпачок и официально, по-деловому, ответственно и аккуратно запротоколировал результат, запечатлевая его для вечности: «Рикошет в момент раздачи супа», а в скобках добавил: «Старая рана, полученная в детстве при падении с лестницы» — и подписался.

История есть история, можно в нее верить, а можно и нет, но иногда верить приходится. Отныне в нее верили все, хотя каждый знал свою версию, но теперь в ходу были две основные, одна настоящая и другая тоже настоящая. И это было совсем немного, ведь в квартале водились люди, у которых было по четыре разных биогра-

фии, и в каждом кабаке их называли разными именами, и при каждом перекрестном допросе в официальных инстанциях все четыре судьбы переплетались, превращаясь в непроходимые джунгли жизни, в которых можно было найти сотню убежищ и сотню выходов из каждого положения, и это длилось до тех пор, пока бедняга уже сам не начинал сбиваться и не мог понять, кто он такой на самом деле, и уже отказывался что-либо говорить, потому что его жизнь окончательно запуталась и между рождением и смертью он не находил уже ни одной точки опоры, за которую мог ручаться, ничего такого, что он сам мог принять за свет истины, и поэтому под конец ему оставалось либо со всем согласиться, либо все оспорить.

Полицейский Шмитц захлопнул папку, и на этом официальная часть закончилась, а разговор вновь вернулся к великой революции, к неисчерпаемой теме того года, и к вопросу, который был непосредственно связан с нею: как могло так случиться, что добровольческий корпус завоевал Обербилк, эту неприступную крепость? У каждого наготове был стандартный ответ: «Пушки, пушки»; «Надо было штурмовую группу против пушек бросить»; «Вместо того чтобы плакаты

развешивать, надо было гранатометы купить»; «Связки гранат швырять в них с железнодорожной насыпи»; «С насыпи пулеметы строчили». Последнее мнение касалось и полицейского Шмитца, который лежал во время штурма на насыпи между рельсами, в общем-то на нейтральной полосе, и перед ним была поставлена задача оборонять вокзал. Он не знал, что ему делать, душа рвалась на две части, с этой стороны коммунары, там солдаты, а он лежит на путях со взведенным затвором, надо стрелять, но в кого?

В этот момент в пивную ворвались люди и закричали: «Фэн разыгрывает сумасшедшую!» Такого никто не хотел пропустить, все заторопились, зрелище получилось замечательное: Густав с засученной штаниной, Биг Бен в парадном мундире и Кальмеской в черной сутане и с аспидной доской на груди сломя голову бегут по улице. Шмитц-Гранжан О'Фаолэн отправился на свой пост, ведь тут дело было приватное и его не касалось.

Еще издали они увидели Якоба, отца Фэн, маленького тщедушного человечка, который, как взлохмаченный ворон, свешивался из окна и каркал: «Густав, Густав!» — подпрыгивая и размахивая руками, указывал на какую-то кучу барахла

на улице и при этом чуть не вываливался наружу. Отец Фэн подметал улицы и был честнейшим человеком в мире, как он сам всех уверял, он по собственной инициативе рассказывал всем и каждому, что он-де чего только не находил и все честно возвращал: жемчуг и бриллианты, золотые украшения и часы, позолоченные портсигары и серебряные булавки для галстуков, бумажники и портмоне, полные купюр, документы и валюту, и он мог бы разбогатеть, мог завести себе собственный дом и хозяйство, но нет, все найденное он честно отдавал, он — честнейший человек на свете, и этого ему вполне достаточно.

Фэн, его дочь, у которой Густав жил и которая обеспечивала его всем необходимым, разошлась, как говорится, не на шутку. Рослая, сильная женщина, которая, когда входила в раж, от избытка энергии могла перетаскать из погреба на второй этаж центнера так два угля не запыхавшись, Фэн на этот раз опять вошла в раж, сняла большое зеркало с туалетного столика и выбросила его через окно на улицу, вынула выдвижные ящики и тоже все их пошвыряла вниз, потом одним рывком подняла туалетный столик, поставила его на подоконник, наклонила, двинула вперед и предоставила силе тяжести доделать начатое.

Когда собравшиеся убедились, что от Фэн пока ничего угрожающего ожидать не приходится, они срочно позвали Густава. Густав поднялся по лестнице: «Ты чего?» Фэн сидела в кресле развалясь, забросив ноги на подоконник: «А ничего. Еду я сготовила. А звать неохота было. И в кабаки чтобы ты больше ни ногой».

Они ели в полном молчании, а после обеда притащили обломки туалетного столика обратно в квартиру. Густав сколотил из них некий предмет мебели, который не пролезал теперь ни в окно, ни в дверь, и каждый гость с недоумением замирал перед ним, вопрошая: «Это что за штука такая у тебя?»

«А, это особая история», — бормотал Густав, который навсегда запомнил тот день, ведь тогда был положен конец его героическим похождениям.

2

Ей рассказывали, да она и сама потом много раз повторяла, что в детстве, во время долгого путешествия к родственникам в Познань, она стала кричать, когда поезд поехал по бесконечному водному пространству, — она решила, что весь мир утонул и что земли больше нет, а есть только эта серо-голубая неподвижная гладь, которая простиралась до самых облаков на горизонте. Она кричала, потому что не видела моста, по которому катился поезд, не видела ускользающие назад рельсы и стальные опоры, проложенные через Одер и Обру. Даже в самом конце своей жизни она вспоминала эту водную гладь, через которую вела незнакомая дорога, — она не видела эту дорогу, ей оставалось только в нее верить.

Мария еще в юности узнала, что правду нужно придумывать и потом в нее верить, верить в нее, как в красивую историю, добрую и правдивую, которую непременно надо все время повторять, рассказывать ее до тех пор, пока мечта не превратится в жизнь и пока жизнь не обретет смысл, как это бывает в любой настоящей истории, а если это не удавалось, если жизнь оставалась только

жизнью, жалкой, обыкновенной, такой, как всегда, такой, как у всех, то история жизни каждого все-таки оставалась, как оставалась мечта, превращавшая неизбывные страдания, выдержку и покорность, необходимость терпеливо сносить свою судьбу в благую весть, которую передавали из поколения в поколение, несли в будущее все эти истории о победах и поражениях, о рождениях и смертях, о печалях и надеждах, ибо силы, которых требовала жизнь, не исчерпывались со смертью, эти истории освежали их и из поколения в поколение передавали мужество жить.

В Ротхаузене прошли первые выборы, забастовки и гражданская война сменяли друг друга, страну оккупировали французы, и около всех шахт были расставлены их патрули, правительство в Берлине опасалось, что Рурская область, где жили сплошь одни поляки, провозгласив себя самостоятельным Польским государством, присоединится к Франции, а в Дальбуше по-прежнему день и ночь добывали уголь, здесь ничего не изменилось.

Мария подрастала, у нее были черные волосы, темные глаза, постепенно все четче обнаруживалось задумчивое выражение отцовского лица, но к его робости и замкнутости у Марии добавля-

лись упорство и независимость. Высоко подняв голову, в платьях, которые шила сама и которые для Ротхаузена составляли небывалую роскошь, она гордо шествовала по угольной грязи, словно не замечая ее. Она любила шить, с невероятным усердием трудилась над вышивками и училась готовить, хотя ей не с кого было брать пример. У нее было несколько поваренных книг, и, дорвавшись до плиты, она, ко всеобщему удивлению, ставила на стол такие блюда, которых до сих пор никто не знал, и не могла толком объяснить, как у нее это получилось. Этот ее удивительный дар в полной мере проявился однажды, когда ей пришлось заменять заболевшую кухарку на свадьбе у одного асессора из конторы шахты, и она приготовила нашпигованное салом жаркое из косули, и все гости, да и она сама, были поражены тем, что она делала это блюдо первый раз в жизни. После этого она не раз помогала готовить разные кушанья, когда собирались гости у директора шахты, и отважно экспериментировала с черной икрой, лососем и шампанским, получая, как по мановению волшебной палочки, разные соусы, и вскоре на приемах у директора без нее было уже не обойтись, при этом лицо ее светилось застенчивой радостью, а в душе она преисполнялась

гордости.

Мария все тверже стояла на ногах, но в ней была заметна какая-то скованность, замкнутость, понять которую никто не мог. То, что скрывалось за этой скованностью, впервые вырвалось наружу, когда, охваченный хмельным порывом, пьяный гость попытался обнять Марию, накрывавшую на стол — она и этому быстро научилась, — чтобы на глазах у всех поцеловать ее. То, что потом произошло, осталось в памяти у всех присутствующих, и они неизменно вспоминали об этом со словами: «Да-а, такого, признаться, я в жизни не видел…» Директорский фарфор, отнюдь не созданный для свободного полета, потерпел в этот день сокрушительное поражение, гости стояли в полном замешательстве, обрызганные с ног до головы, оконные стекла в гостиной со звоном вылетали из рам, серебряные вилки и ножи поражали правого и виноватого, кастрюли и скатерти свивались в один грохочущий комок, и конца не было этому безумию, никто, никакие добрые духи дома не в силах были остановить этот вулкан, и, если наступало некоторое затишье, передышка, это означало только, что Мария переводит дух перед очередным приступом ярости; с трудом удалось убрать подальше серебряные подсвечники, и вот

через час, наконец все разметав, она опустилась на стул, и всякий, кто осмеливался заглянуть ей в глаза, понимал, что Марией владеет священный гнев, что в ней пылает безумная ярость, которая никогда не угаснет, которой суждено тлеть всю жизнь. С тех пор с Марией стали обходиться осторожно, одного ее взгляда было достаточно, чтобы любые глупости тут же застряли в горле.

А Мария, которой смертельно надоели копры, отвалы и шахтеры, решила отправиться в Дюссельдорф. Родня попыталась вмешаться и сказать свое веское слово, но быстро смолкла, когда Мария подняла голову и, сжав губы, с решимостью посмотрела на тех, кто силился выразить свой нелепый протест, скрывая его за уклончивыми намеками.

Открытым оставался еще вопрос насчет Польши и Германии, вопрос выбора гражданства. Мировые державы несколько сократили размеры Германского рейха, теперь появилось новое государство — Польша, и земли, которые были когда-то объявлены «навеки» немецкими — как раз те, в которых жили предки Марии, считаясь польскими немцами, — стали теперь польской Польшей, и мировые державы требовали, чтобы всякий выбрал, кто он такой — поляк или немец.

Многие выбрали Польшу своим отечеством, а Германию — новой родиной, и власти находились в полном замешательстве — они вовсе не такого решения ждали. Почти все хотели оставаться поляками и жить в Германии, то есть ничего не менять, и лишь очень немногие решались действительно вернуться назад в Польшу или выбирали немецкое имя, потому что на самом деле считали себя немцами.

Михаэль, двоюродный брат Марии, сын ее дяди-кларнетиста, решил выбрать Польшу. Его тут же уволили с шахты, а немецкая полиция намеревалась выслать его, как иностранца, в Польшу, где работать ему было негде, да переселенцев не очень-то и жаловали. Михаэль, который уже толком не понимал, кто он на самом деле — польский немец или немецкий поляк, решил отправиться во Францию, где к тому времени образовалась уже большая колония «вестфальчиков», как там именовали приезжих из Вестфалии. Может статься, в Европе постепенно так и устроится, думал он, и небольшие группы людей одной национальности будут жить внутри другой, большой нации. Так он себе это, по крайней мере, представлял. Ведь что вестфальчики, что вестфальцы — все они были родственниками, неважно, кто они — немцы,

поляки или французы, и вся эта неразбериха с национальностями была для него непонятна: все равно, приехав во Францию, он, немецкий поляк, вскоре превратится во француза.

Мария выбрала Германию, но оставила себе польское имя, она купила на вокзале Ротхаузена, в Дальбуше, билет в Дюссельдорф, купила корзину с крышкой, которой суждено было отныне сопровождать ее по жизни, хотя она об этом еще не подозревала, положила в нее все свои вещи, их было немного, в корзину все поместилось, но каждая вещь была предметом ее гордости. Сверху она уложила образ Святой Марии Богоматери Ченстоховской, а также портрет матери на военном заводе и портрет отца в плохо пригнанной солдатской форме.

Принялись писать письмо. Его создание длилось неделю, подобно сотворению мира Господом, который тоже потратил на Свое дело семь дней, а уж коли речь зашла о письме, которое решало судьбу человека, то его надлежало готовить, как пасхальное празднество. Тут надо было как следует поразмыслить, посоветоваться, тут всякий делился своим опытом и думал над каждым словом. Первые наброски делались могучими рабочими руками на оберточной бумаге, толстым

столярным карандашом, под неусыпным оком жен, стоящих у кухонной плиты и вставлявших самые разные замечания, потом все эти куски бумаги из разных семей собирали вместе, читали, сравнивали, комментировали, все писали заново, составляли вместе, склеивали. Привели в порядок все версии той самой истории про человека из Дабровы, замурованного в горе, про разлившиеся в незапамятные времена среди плотин воды Обры. Снова разрезали бумагу на отдельные куски, что-то вычеркивали, исправляли, вклеивали разные комментарии, что-то убирали, добавляли пословицы, разные выражения, легенды, то, что не очень-то хорошо знали, но о чем догадывались, сказанные кем-то непонятные слова, потом один из них, кто умел писать, перенес все это в черновик, отчаянно разбрызгивая чернила, высунув язык и постанывая, потому что «легче две смены подряд в шахте отстоять», черновик переправили к штейгеру участка, который разбирался в запятых, точках, восклицательных и вопросительных знаках, потом тетрадка перекочевала к однорукому, который работал в канцелярии и одной левой писал краше, чем кое-кто обеими руками, столярным карандашом и на оберточной бумаге. Острым стальным пе-

рышком, издававшим успокоительный скрип, он фактически нотариально, то есть в присутствии членов семьи и попутно уточняя последние детали относительно содержания и стиля, пользуясь синими королевскими чернилами, выписывая остроконечные буковки со всеми полагающимися закорючками, изгибами, хвостиками и острыми углами, летящей скорописью, перенес все это на первоклассную, оплаченную общими усилиями бумагу ручной выделки с зубчатым краем, правильными немецкими и польскими предложениями, ибо все настаивали на том, чтобы письмо было на двух языках, снабдив послание надлежащим обращением в начале и надлежащим приветом в конце, не скупясь на цветистые обороты речи, так что получилось двойное обращение, первое — с титулом и фамилией, второе — как к члену семьи, свойское и по имени, а в завершение шли сердечные, но в то же время церемонные и вежливые приветы, ведь семейное и официальное смешивать было нельзя. Особую важность все придавали тому, что это — официальный запрос, а вовсе не просьба о помощи, и вот уже опять где-то там, сзади, у стены, кто-нибудь начинал ворчать, мол, зачем все это нужно, пусть Мария остается в Гельзенкирхене, к

чему весь этот спектакль, ведь наша Мария и так лучше всех, он вскакивал, размахивал руками, от возбуждения захлебывался, не договаривал фразы до конца, кричал, весь документ оказывался под угрозой, — и тут кто-то не выдерживал и орал на него: «Заткнись, олух», и оформление письма снова шло своим чередом, и вот его завершили, как и было задумано, на конверте при всеобщем одобрении был взят французский тон, там написали «мадам» и «месье», каждый убедился в этом лично, подержав письмо в руках и одобрив коллективное творение.

В воскресенье все поставили под письмом свою подпись, мужчины слева, женщины справа, старики подписывали первыми, молодежь — потом, причем обозначили имена, прозвища, фамилии, и, если бы в доме водился сургуч, они и сургучом бы все припечатали, один королевский дом писал другому королевскому дому, семейство Лукаш писало письмо семейству Лукаш.

Подобно реке, которая знойным летом, иссякая в своем старом русле, замедлив ток своих вод, образует новые рукава, тянется множеством рук к новым путям, вбирая в себя слабые ручейки и соединяя их в новое русло, так и здесь выпростались наружу все невидимые доселе веточки

семейного древа, которое всякий раз, когда одной из ветвей грозило вымирание, веером распускало свою обширную крону, всасывая в себя все, чему грозила гибель, и несло дальше, возвращая этой веточке жизнь.

3

Обербилк — это весь мир. «Это маленькое "О"», — говорил Густав, цитируя Шекспира, сидя теплыми летними ночами на коньке крыши, прислонившись к каминной трубе, и, раскинув руки, смотрел сверху вниз на этот остров, который день и ночь полнился огнем, дымом и шумом, этот клочок земли, который веками покоился, пустынный, под открытым небом, песок да кусты, безлюдные чащи да неведомые тропы, и утренние зори сменялись вечерними, погожие дни — дождливыми, пока не настал час творения, и всего за несколько лет тихая, Богом забытая пустошь превратилась в пульсирующий, изрыгающий огонь, оглушительный город. То был не час творения Господня, нет, необузданная воля человека создала здесь свой собственный мир, несущий в себе добро и зло, рай и ад, грехопадение и Каинову печать, этот мир утвердился на земле без спроса, без надежды на спасение, без всякого осознанного порядка, это был большой взрыв, первородный толчок, новая солнечная система, стремительно расширяющийся звездный мир, в лабиринтах которого рождались все новые

и новые миры, но для тех, кто в них жил, для густого скопища людей это была всего-навсего крохотная скорлупка на земном шаре, к которой они прилепились, которую называли родиной.

Индустриализация — вот как называлось то, что создавали строители этого нового мира, который разверзал свои недра, подобно древней вулканической породе изрыгая огненную кипящую лаву, и она разливалась, преодолевая сопротивление, вступая в новые соединения, ее потоки сливались воедино, изменяя свой вид, дымящаяся порода устилала старую землю, застывала, покрывалась коркой, маленькие мастерские соединялись во все более крупные фабрики, маленькие деревеньки превращались в большие поселки, люди приезжали из Ирландии, Англии, Бельгии, Франции, Голландии, с ними приезжали инженеры, специалисты, целые колонии возникали вокруг фабрик, они привозили с собой свой язык, свою веру, свой образ жизни, свои праздники, свои блюда. Позже стали приезжать немецкие фабриканты из Айфеля, из Аахена, из Берга, из Изерлона, они тоже везли с собой рабочих, сотнями приезжали они в фургонах, а позже — в поездах, все фирмы гугенотов переместились сюда, ехали в эти края итальянцы, строили ка-

мины, вверх тянулись печные трубы, итальянцы везли сюда родню, родня торговала мороженым и жареными каштанами, они селились целыми семьями с многочисленными детьми по соседству с домами польских рабочих, которые прибывали сюда, экспедиторы из Голландии, богемские стеклодувы, венгерские сапожники, еврейские торговцы одеждой, баварские пивовары, агенты гамбургских судовладельцев, банкиры из Базеля, нотариусы из Берна, русские попы, немецкие монашки, французские дамы, проповедники, предприниматели и дельцы всех мастей. Многоязыкий, разнородный, искусственно созданный новый мир, соединивший множество культур, где все живут бок о бок, подчиняясь законам производства, и трудятся на сталелитейных и сталепрокатных, вальцовочных и кузнечных заводах, на фабриках паровых котлов и трубопрокатных заводах, мир, где в центре — рыночная площадь Обербилка, главная улица — Кельнерштрассе, а церковь Йозефскирхе на Йозефсплатц — местный Ватикан.

Железнодорожные пути различных компаний, когда-то концентрическими дугами проложенные в чистом поле, очень скоро образовали постоянно расширяющиеся границы жилых

кварталов города. Рельсы все теснее стягивали эти кварталы, все ближе подбирались к жилым домам и фабрикам, образовывая хитросплетение рельсов, стрелок, запасных путей, боковых веток, ведущих прямо на фабрики, это был стальной пояс, сплетенный из бесчисленных то соединяющихся, то разбегающихся и скрещивающихся стальных волокон, все туже стягивающийся кокон, который тесно и жестко спеленывал этот мир.

Позже, когда была возведена насыпь, рельсы кольцом окружили жилые кварталы, образовав маленький континент, обнесли его высоким валом, словно Китайской стеной, она и стала границей с остальными частями света. Основные пути, ведущие в город, а также путь на кладбище и к часовенке Штоффелер, где женщины под заунывные песнопения ставили свечки перед образами святых, представляли собой длинные подземные переходы под железнодорожными путями, мрачные, неизменно сочащиеся влагой, черные от угольной паровозной копоти, пугающие гулким грохотом мчащихся над ними поездов, клубящиеся белым паром врата преисподней. Ворота в другой, чужой, зачастую совершенно незнакомый мир, ворота, ведущие

из родного жилья.

Многие обитатели жилых кварталов никогда не входили в эти черные, оглушительные коридоры, ведущие к другим районам города, они не знали Дюссельдорфа, никогда не видели Рейна и всю свою жизнь провели только здесь, за крепостным валом из грязно-желтого кирпича. Для них это стальное кольцо было межой, а круг внутри нее — хорошо знакомой картой, и, подобно старым картам, на которых подробно обозначена была только своя, родная земля, а вокруг изображены были огнедышащие драконы и разинувшие пасть морские чудища как символы бездны, в которую ты низвергнешься, если переступишь границу, Дюссельдорф для жителей Обербилка был несуществующей страной, и наоборот, Обербилк был для Дюссельдорфа белым пятном на карте города, терра инкогнита, неизвестной землей, полной опасностей, где никто не мог ручаться за свою жизнь. Зато для тех, кто здесь жил, это было единственное место на земле, где ты чувствовал себя в безопасности и где, кстати, царили свои неписаные законы. Как будто нарочно, чтобы сразу дать понять чужаку, что законы здесь свои, особые, улицы и площади не носили имен королей и князей, не назывались именами бывших

бургомистров и национальных героев. Улицы назывались: Промышленная, Металлургическая, Железная, Кузнечная, Литейная, Сталепрокатная, Стальная, улица Круппа, Сименса, Борсига, Хальске, Густава Пенсгена, и все, кто жил на этих улицах, придерживались исключительно своих собственных законов, которые складывались из привычек многих людей. Правила общежития, которые были приняты в других местах, здесь не действовали, их просто никто не знал, здесь жили по собственным законам, которые выросли из совместного труда и совместной жизни, и эти законы уважали все. Со стороны все это выглядело как хаос, как полная анархия, как пространство беззакония, но изнутри — как хорошо организованное человеческое сообщество. Республика с собственными законами и своего рода Конституцией, согласно которой каждый живущий здесь человек чувствовал себя абсолютно свободным гражданином, не признававшим над собой никакого начальства, не позволявшим заговаривать себе зубы и не склонявшимся в безмолвии и покорности перед своим патроном на работе. Это было республиканское сообщество, основной заповедью которого была терпимость. Разумеется, никто этого так не формулировал,

просто все жили, соблюдая заповедь: «Пусть каждый делает, что ему хочется». Если из-за этого возникал спор, потому что кто-то другой тоже хотел делать то, что ему вздумалось, тогда вопрос разрешался открыто и громко, с участием всех соседей по дому, на всех европейских языках. Если спор повторялся, то он уже сопровождался дракой, и тогда принимались особые меры. Ведь если человек оказывался скандалистом, который постоянно покушается на свободу других, на любой улице всегда находилось несколько мужчин особо крепкого телосложения, которые втолковывали этому нарушителю, что в этом квартале живут приличные люди, и если он не умеет себя вести, то лучше будет ему отправиться в Кельн. Во время национальных праздников случались потасовки между ирландцами и англичанами, между бельгийцами и французами, между итальянцами и поляками, но это уже вошло в традицию, было обычным завершением праздника, и говорить здесь было не о чем. Однако если кто-то из профсоюзных новичков вставал и начинал разводить агитацию, что, мол, все мы — рабочие и давайте-ка объединимся против фабрикантов, которые тоже сейчас где-то сидят за одним столом, стряпают картели и устанавливают цены, то

такой агитатор понимания не встречал. Хозяин есть хозяин, а национальный праздник — это совсем другое, и нечего путать эти вещи, они не имеют между собой ничего общего. Кроме того, ведь все здесь работали только неделю, а следующую неделю отдыхали, этого было достаточно, чтобы прокормиться, и целую свободную неделю бродили по улицам, болтали либо, развалясь на солнышке на подоконнике, грелись и бездельничали, чтобы на следующей неделе перейти, может быть, к другому хозяину. Но профсоюзы тоже времени даром не теряли, и поэтому политика наряду с религией была главной темой для обсуждений. Вавилонское столпотворение поднималось, когда спорили представители разных верований и религий, сталкивались бесчисленные секты, сторонники разнообразных предрассудков, правоверные, неверующие, ортодоксы и реформаторы, атеисты и агностики. Как много было доводов и доказательств на всех языках за и против существования Бога, как много раз взывали к небесам и проклинали ад — можно было подумать, что здесь у каждого свой Бог. Что касается политики, то здесь глаза разбегались от бесчисленных, беспрерывно спорящих друг с другом коммунистов, социалистов,

спартакистов, социал-демократов, анархистов, радикальных социалистов, независимых социал-демократов, левых и правых уклонистов всех мастей, вплоть до гуманистов, тяготеющих к чему-то среднему, а там, посередине, они наталкивались на священника-коммуниста, который вел борьбу сразу на два фронта, балансируя меж Богом и политикой. Окидывая взглядом всю эту неразбериху национальностей, языков, верований и политических убеждений, нельзя было найти хоть одного человека, который походил на другого. Это было величайшее скопление индивидуалистов на маленьком клочке мира. Некая Флорентийская республика, в которой недоставало только латыни и греческого, — и, сидя по ночам на коньке крыши, Густав, погруженный в полуфантастические мечты о такой республике, громко провозглашал, что в Обербилке нужно ввести греческий и латынь.

4

Да, и его тоже звали Йозеф Лукаш, потому что всех Лукашей звали Йозефами, а их жен — Мариями, но этот был с особой частичкой «фон»: Йозеф фон Лукаш, именно частичка «фон» оторвала эту ветвь семейства от всех прочих. Она создавала дистанцию, которая все увеличивалась, и вместе с тем нельзя сказать, что родня не гордилась этим сильным стволом, который вырос среди ветвей старого фамильного древа, питаясь от корней его, простиравшихся с вершины холма до самой реки, сильным стволом, отягощенным тяжелыми плодами, пустившим уже свои собственные корни, превратившимся в новое дерево, которое отнимало свет и почву у старого материнского дерева, некогда вольно росшего на этом холме.

Когда-то они жили в одной деревне, родились на той же самой земле, их хоронили на том же кладбище, они вместе возделывали землю и строили плотины, защищаясь от наводнений, заселяли новые земли, но потом у некоторых из них стало больше полей, возможно, оттого, что они больше думали о будущем, яснее мыслили, правильнее действовали, тогда как другие плыли по

течению жизни, следили лишь за сменой солнца и луны и дальше ближайшего дня и ближайшей ночи не заглядывали. А поля из десятилетия в десятилетие все разрастались, огибая маленькие земельные наделы, а вскоре вбирали в себя и их, захватывали невозделанные луга, пустующие дома, им удавалось выстоять в неурожай, они все увеличивались, и только плотина служила им пределом.

И тут можно было говорить уже о поместье, и множество родственников работали в этом поместье, получая за работу деньгами или натурой, одни с завистью, потому что их собственное хозяйство свел на нет неурожай, другие равнодушно, ибо свою хибарку с огородом и землей они пропили, и нынешняя жизнь казалась им проще, заработок был надежный, работа от и до, крыша над головой обеспечена, а к ней еще и огородик в придачу, пока работаешь. Теперь уже как-то само собой разумелось, что надо работать в поместье, так уж повелось, вроде бы испокон веку так и было, время стерло все воспоминания, казалось, что поместье было всегда и с самого начала.

Но были и исключения, попадались люди, которые старались держаться своего первоначального надела, прочно сидели на земле, жили

тяжким трудом, пытаясь сохранить хозяйство и выстоять в неурожай, а неурожай случался часто, и приходилось работать все больше и больше. Поэтому на окраинах больших угодий ютились маленькие островки, крохотные пятнышки рядом с гигантской территорией, которые совершали отважные наскоки на большое поместье, отстаивая свои старинные права относительно дорог, пастбищ, дров, воды, боролись упорно, а если забывали какую-то деталь, то из расписанных вручную заветных сундуков извлекали бумаги, доказывали, спорили, подавали жалобы, это была маленькая островная империя самостоятельных, упорных землепашцев, сильные ветви семейного дерева, которые предпочитали уехать и стать рабочими и ремесленниками в других странах, предпочитали по завещанию передать свои земли церкви, нежели уступить хоть одно из своих исконных прав большому поместью.

В поместье уважали эти права, никаких тяжб между членами семьи не было, все свято чтили старинное право родства, которое стояло выше раздоров и требовало единения. И хотя теперь уже не доводилось всем сидеть за одним столом, этого, скорей всего, даже старались избегать, но по праздникам все поздравляли друг друга честь

по чести, подтверждая и укрепляя тем самым родственные связи; оказывая уважение родне, каждый упрочивал свою репутацию и пред небом и людьми честно и откровенно заявлял, что занимает должное место на этой земле. Так что согласно распорядку церковного календаря к церковным праздникам подносили подарки, соответствующие времени года: яйца, масло, кур, уток, гусей, рыбу, копченые колбасы и свиную ветчину. Когда красили яйца, то обязательно расписывали их, строго следуя традиционным орнаментам, кускам сливочного масла придавали красивую форму, изобретательно украшая их завитушками и инициалами семьи, кур дарили живыми, уток и гусей — ощипанными, готовыми к жарке, чтобы видны были размеры птицы, упругость мяса и количество жира. К лапкам и к шее привязывали разноцветную бумажную канитель, сами тушки помещали в ивовые корзины, которые торжественно несли в поместье, а навстречу уже шел управляющий с такими же точно дарами, ведь каждый, разумеется, старался выбрать в подарок самую лучшую птицу. Так что и те и другие угощались одинаковыми торжественно врученными яствами, сравнивали с собственными припасами, которые, конечно, бы-

ли вкуснее, и вся эта символическая церемония обмена продовольствием укрепляла родственные связи навеки, до самого Судного дня.

И когда однажды вместе с дарами им вручили визитную карточку, на которой между именем «Йозеф» и фамилией «Лукаш» появилось словечко «фон», все были страшно удивлены, одни посчитали это наглостью и кощунством, другие вообще ничего не поняли и спрашивали, что это за «фон» такой, а некоторые говорили, что это от спеси, от заносчивости, мол, мало им того, что земли у них полно. С какой стати и откуда у них это словечко «фон», этого все равно никто не узнал, все восприняли его как добавку к имени, как до того привыкли к обилию земли у этих людей.

Йозеф фон Лукаш с ранних лет оставил поместье, он учился в университете, стал профессором, приезжал в гости только по большим праздникам, жил в городе Познани, где у него был польский книжный магазин, он даже открыл типографию, основал и стал выпускать литературные журналы: «Оредовник» и «Пжиятель люду», написал историю города Познани по-польски и по-немецки, выпустил историю всех церквей, опубликовал множество статей и несколько книг о диссиден-

тах, то есть обо всех тех, кто не принадлежал к Польской католической церкви, о лютеранах и реформистах, о греках и армянах, о богемских братьях и Швейцарской евангелической церкви.

Его книгами были заполнены шкафы в усадьбе, все дивились: каких только плодов не приносит поместье! Управляющий же, если его спрашивали, сообщал, что этот самый Йозеф, который «фон», — историк и библиотекарь и заведует библиотекой графа Рачиньского в Познани. А графа Рачиньского, в свою очередь, знали все, он был из древнего польского дворянского рода, в особенности прославилась ветвь познанских католиков. Их было два брата, один писал и собирал книги, другой путешествовал и собирал картины. Тот, у которого книги, выстроил Золотую часовню на Соборном острове, и в ней стояли статуи первых польских королей — Мишко и Болеслава Хробры, и всякий хоть раз да видел эти статуи, ведь все там хотя бы раз молились. Да и библиотеку знали все, снаружи разумеется, и книг там было, поговаривали, видимо-невидимо, — одним словом, гордость Познани, все знали об этом и, конечно, тоже гордились. Если ехать от болотистых земель в низовьях Обры, то надо на телеге проехать по дороге императрицы Виктории, потом по Тир-

гартен-штрассе въехать в Берлинские ворота — и вот ты уже в Познани, а дальше поехать влево, мимо польского театра и городского немецкого театра к площади Вильгельм-платц, а на этой большой красивой площади, среди старинных деревьев и роскошных домов, выделялась своими мощными колоннами необозримая библиотека Рачиньского. Граф завещал ее городу и вскоре после этого застрелился у себя в поместье, говорили, что сердце его не выдержало страданий за Польшу, потому что он был польским патриотом. Напротив библиотеки был построен специальный музей для картин, принадлежавших его брату, а брат был прусским посланником, то есть вовсе не патриотом Польши, и картины свои завещал Пруссии, в связи с чем музей носил имя кайзера Фридриха. Вот так они и высились один напротив другого, эти два брата, увековеченные в двух зданиях — немецкого музея и польской библиотеки.

Здесь-то и служил библиотекарем тот самый Йозеф, который «фон». Он тоже был из патриотов, судя, по крайней мере, по журналам, которые он выпускал и которые после одного из многочисленных польских восстаний были запрещены властями Пруссии, и ему оставалось лишь вер-

нуться к вечным вопросам о том, какие нынче виды на урожай пшеницы или картофеля. Позже, когда полякам стало житься совсем худо, а пруссаки так и норовили стать единоличными хозяевами, Йозеф фон Лукаш окончательно вернулся в деревню, стал сам управлять родовым имением. Он часто появлялся на полях, здоровался со всеми за руку, но был молчалив и частенько сиживал на скамье под древним дубом, который по-прежнему зеленел, раскинув ветви на вершине холма. Он сидел и задумчиво смотрел на красное закатное солнце, которое, вспыхнув последний раз, тонуло в черных водах Обры и, унося с собою дневной свет, оставляло обрские болота во тьме, а на небе оставался от него лишь слабый, едва угадываемый отсвет, который всасывали набегающие облака.

5

Густав спустился с крыши, на которую забирался всегда, если ему хотелось поразмышлять на воле, и через чердачный люк пробрался в хранилище, где стояли манекены из гипса и дерева и еще сияющие медью механические устройства небольшого размера, которые начинали негромко постукивать, если нажмешь кнопку. Он спустился во второй этаж, в свои комнаты, и включил маленькую лампочку, которая располагалась над батареей на подоконнике и по ночам освещала эмалированную табличку возле входной двери: «Густав Фонтана, прожектер». Он хотел, чтобы к нему можно было обратиться и днем и ночью, он, словно акушерка, всегда готов был помочь рождению новой идеи и молниеносно оформить послание в патентное бюро.

Охваченный страстью к изобретательству, которая царила в жилых кварталах Обербилка, он брался проектировать все — от разного рода механизмов до целых фабрик. Анархист по складу своего мышления, целеустремленный в своих действиях, общительный, остроумный, сообразительный, ироничный, принципиально

ни во что не верящий, он был воплощением светского человека, которому ничто на земле было не чуждо, для которого большинство людей были никак не творения Господни, а проклятая свора непроходимых тупиц, которым никогда не суждено ничего понять, которые раз и навсегда впряглись в упряжь и тащат на себе карету с неким царствующим господином, обеспечивая вращение Земли, и поскольку этого не изменить, то приходится поразмыслить, как из всего этого выпутаться. Его образ жизни, манеры и знания позволяли ему без всякого труда перескакивать из высших слоев общества в низшие, и наоборот, сначала принять стаканчик шнапса в забегаловке на углу в компании рабочих, а потом с видом знатока потягивать искрящееся мозельское или душистое рейнское в компании советников коммерции.

Между тем он жил в квартире, которая для Обербилка считалась приличной, — в таких проживали зажиточные буржуа, — наголо брил голову и в основном проводил время, сидя на кожаном диване возле своей обширной библиотеки, которая, пополняясь по большей части книгами по естественным наукам, занимала уже почти всю стену, причем социалисты первой волны

и Шекспир располагались в непосредственной близости от дивана — только руку протянуть. Стена напротив была затянута полотном с изображением города Дюссельдорфа, полученным в подарок от одного художника-декоратора. Поскольку предназначалась она для созерцания с расстояния в тридцать метров, то с кожаного дивана Густав мог видеть только мешанину ярких красок, в которых терялись очертания города. Часто в его жилище с улицы приходили дети и пытались отгадать, где на картине может быть река Дюссель, а где Рейн и башня Ламбертус-турм, они принимались малевать сверху своими красками, прорисовывая контуры города, и со временем все линии удвоились, однако силуэт города не прояснился. Фантастическое полотно, на котором терялась граница между далеким и близким, идеально соответствовало ходу мыслей Густава, которые, не сковывая себя реальностью, открывали в этой картине собственную действительность.

Стоило с дивана бросить взгляд в окно, и взору открывался роскошный вид на дом напротив, который служил приютом сначала какому-то владельцу фабрики, потом — управляющему производством, потом — цеховому мастеру, да-

лее — сразу нескольким мастерам и подсобным рабочим и наконец — только рабочим. Фасад сохранился во всем своем великолепии, и похоже, что фабрикант, который когда-то строил дом в полном соответствии со своими вкусами, воображал себя непобедимым охотником, ибо фасад был не просто украшен, он был весь утыкан тупо взирающими на вас, изваянными в камне головами лис, зайцев, кабанов, горных коз, косуль, благородных оленей, там были даже медвежьи головы и лапы. Расположение всех этих красот, а также обрамляющие их охотничьи псы, ружья, загонщики оленей и ловчие сети при первом же взгляде на них возбуждали подозрение, что ни архитектор, ни каменотес никогда в жизни не бывали в настоящем лесу. По воображаемым лугам фасада прелестным хороводом тянулись ангелочки, роняя цветы и вия венки, эдакая «дикая охота» фабриканта, они все вместе поддерживали герб рода — широкий щит, который водрузил сюда архитектор, питая лучшие надежды относительно родовитости своего хозяина, но, поскольку господин фабрикант ни титулом, ни благородством, по всей видимости, не вышел, сей щит, лишь слегка тронутый пометом гнездящихся под крышей голубей, по-прежнему оставался

девственно-чистым и ровным, не тронутым резцом изобретательного творца, и привлекал взор своей голой незамысловатостью. «Иоанн Безземельный» — так прозвал Густав этот герб, как всегда памятуя о Шекспире. Он намеревался в будущем купить этот дом, собственноручно высечь на пустом месте герб семейства Фонтана, представляющий собой фонтан в лучистом венчике брызг, и собственноручно же сколоть с фасада всех зверей и ангелочков, обнажив скромный ренессансный фасад.

Лежа на своем кожаном диване, он мечтал о маленькой фабричке, где все ради интереса и удовольствия будут заниматься своими изобретениями, эти изобретения они все вместе без особого труда будут продавать, чем станут зарабатывать себе на хлеб, а ему обеспечат небольшой доход как скромному участнику всего процесса, и у него будет время, чтобы читать, размышлять и при случае что-нибудь изобретать, а эти изобретения будут, в свою очередь, развивать и доводить до ума все остальные, и так до конца дней, все они будут работать в едином коллективе над созданием полезных вещей, применяя законы механики, именно так он это формулировал. Будучи человеком, который отвергал любое

ограничение своих мыслей догматическими истинами, он придерживался мнения, что в вопросе с перпетуум-мобиле не все детали продуманы, и пусть даже эта задача не имеет решения, но на пути к этому решению можно открыть кое-что новенькое. Поэтому каждый вечер он принимал свою «идеальную духовную позу», то есть удобно располагался на своем кожаном диване, ложился на спину и, вооружившись карманным фонариком, направлял луч на потолок, где с помощью кнопок были прикреплены разнообразные наброски, чертежи, планы, синьки. Освещая себе путь фонариком, он начинал мысленное путешествие по этому собору духа, по небосводу своих изобретений. Новые идеи он фиксировал на бумаге, сидя на полу, потом вешал их на потолок поверх прежних рисунков, снова ложился и долго размышлял, следуя за лучом фонарика, который вел его по идеальным фабрикам будущего. Каждые четверть года собор обрушивался: небосвод, окутанный облаком пыли и отягощенный некоторыми фрагментами потолочной лепнины, валился на пол, вновь возвращая идеи Густава с небес на землю и обогащая старьевщика новой порцией макулатуры.

Кухонное окошко в квартире Густава выходило

на внутренний двор какой-то фабрики, где рабочие таскали трубы, с удовольствием швыряя их на землю и наслаждаясь оглушительным грохотом; небольшая фабричная труба днем и ночью пускала по ветру дым, и ветер задувал этот дым в кухни и спальни то с одной, то с другой стороны. Дома лепились к заводам и фабрикам, а фабрики и заводы строили рядом с домами, поэтому из квартир можно было видеть, что делают рабочие, а рабочие видели все, что делается в квартирах. Дом со всеми его пристройками и надстройками представлял собой многоликий пещерный город, для непосвященных это был лабиринт с многочисленными ходами и выходами, и трудно было сказать, сколько человек здесь живет. Лабиринт коридоров позволял придумывать все новые и новые комбинации из отдельных комнат и квартир, быстро возводили стену и точно так же быстро сносили, дверь закладывали кирпичами, зато где-нибудь в другом месте она появлялась, и таким образом из больших квартир делали маленькие, а их при необходимости снова превращали в большие. Кто у кого что снимал, сказать было сложно, порой две семьи занимали одну квартиру, порой у одного человека была целая большая четырехкомнатная квартира, и три

комнаты он сдавал, иногда какая-нибудь семья отгораживала себе внутри большой квартиры маленькую. Густав и Фэн соединили много маленьких комнат и сделали себе многокомнатную квартирку, состоящую из множества коробочек. Своя комната здесь была у отца Фэн, дети Густава Фридрих, Элизабет и Жанно жили в комнатках мансардного этажа, и все как-то размещались в этом улье, который, благодаря посменной работе его жильцов, всегда был полон жизни — утром, днем и ночью.

Прямо под окном той комнаты, где жил Густав, висела жестяная табличка, на которой буквами разной величины, то красными, то зелеными, вкривь и вкось была выведена надпись: «Оброн-ски amp; Болье. Колониальные товары». Так назывался магазин, где продавались овощи и фрукты, разные в зависимости от времени года, а кроме того, чечевица, горох, фасоль, ячневая крупа, мука, манка, сахар, соль, растительное масло, уксус, селедка и картошка. Но главным товаром, который здесь продавался, была все-таки картошка, и поэтому оставалось загадкой, какие же товары можно считать колониальными — ну разве что кофе в зернах. Фэн частенько помогала хозяевам в магазине, а если и не помогала, то

все равно целыми днями паслась здесь, ведь сюда каждый день приходило так много людей. Если Густаву надо было поговорить с Фэн, ему стоило только постучать палкой по жестяной вывеске, и Фэн в ту же секунду высовывалась во входную дверь, запрокидывала голову и зычно произносила: «Ну чего?» Как правило, после этого разгорался жаркий диспут о том, в котором часу честным людям положено бывает обедать. Фэн неизменно завершала переговоры, произнося своим сочным голосом: «У меня еще никто с голоду не помирал».

Все любили этот магазинчик не только потому, что он был для людей чем-то вроде клуба, куда хотя бы раз в день наведывались все жители окрестных домов. Он был жизненно необходим людям в первую очередь по той причине, что здесь всем и всегда давали в долг, а тем, кто уже ничего больше не мог записать себе в долг, так как был безработным и его страничка в толстой долговой книге была уже исписана вся до краев, — таким людям предоставлялась официальная возможность украсть немного самых необходимых для пропитания продуктов. Обронски и Болье в таких случаях начинали чересчур усердно разглядывать свои весы, с интересом

смотрели в окно либо принимались пересчитывать бутылки с уксусом и постным маслом, ибо они очень хорошо знали: как только у этого человека появится работа, украденные товары он оплатит в первую очередь, раньше тех, которые записаны в долг, а они будут разыгрывать ошарашенных продавцов и на чистейшем литературном немецком языке — поскольку оба были когда-то прежде придворными актерами, — строя удивленные мины, заведут свой обычный дуэт: «Да что вы! Разве вы еще что-то должны? Значит, мы просто забыли за вами это записать. Просим прощения за эту оплошность», — и таким вот простым способом они сберегали гордость мужчин и женщин, которые еще месяц или два тому назад, стыдясь всех и вся, молчаливо негодуя на свое горестное положение, сунули в продуктовую сумку или в карман штанов пару картофелин или морковок и, сторонясь прилавка и кассы, поджав губы, выходили из магазина. И поэтому обоюдная радость в день уплаты долга была искренна и неподдельна, покупатель, который столь долго ходил в безнадежных должниках, переступал порог магазина с кошельком в руках, чтобы все вокруг могли видеть: сегодня состоится оплата, Обронски и Болье пританцовывали за прилав-

ком, как два медведя, и, сияя, поздравляли: «Что, снова получили работу? Ну, мы рады за вас», а краешком глаза примечали, как снова кто-то улучил момент и кинул за пазуху пару картофелин.

Так что у Обронски и Болье была постоянная и верная клиентура, которая приходила сюда и в худые, и в добрые времена, и благодаря ей магазинчик держался на плаву без всяких калькуляций и без бухгалтерского учета, ибо в этом оба хозяина ничего не смыслили, и слава богу, ведь покуда в кассе были деньги, оба свято верили, что у них есть прибыль, а в конце года сочиняли некую сумму, которую и заявляли налоговой инспекции как прибыль; их «обеспечение по старости», как они именовали свой магазинчик, процветало, тогда как с калькуляциями и бухгалтерским учетом они вылетели бы в трубу. Обронски и Болье, оба кругленькие, счастливые, неподвижно стояли за прилавком, а если кому-то из них приходилось покидать свое привычное место и выходить из-за прилавка, то они с танцевальной ловкостью, повиливая бедрами, обходили один другого, они даже сидели в одинаковых позах, словно два старых, заслуженных цирковых медведя, и различить их сразу можно было только по тому, что у одного был

стеклянный глаз — по его словам, несчастный случай, сцена с фехтованием, — а другой носил барочный парик с локонами — из тщеславия, как он сам признавался. Поскольку всем покупателям известно было, где лежит товар, то каждый брал то, что ему было надо, клал на весы, Обронски взвешивал товар при помощи гирь, Болье записывал стоимость, и всякий раз, в зависимости от того, входил покупатель или выходил, они на театральный манер называли это «арриве» и «депар», они хором кричали: «Добрый день!» или «До свиданья!» Они сожительствовали, и все об этом знали, но это никого не смущало. На площадке за домом стоял их жилой вагончик, который они купили у циркачей. Они и жили в тесном кругу цыганских повозок, населенных бесчисленными семьями цыган, которые обитали здесь с самого начала, раньше других осев тут и обретя свою родину.

Если солнце стояло уже так высоко над домами, что лучи его падали прямо на жилые вагончики, большую часть года остававшиеся в тени, Обронски и Болье приводили в порядок свой вагончик, красили его заново и отправлялись в путешествие. Артистическая карьера друзей нашла свое воплощение в представлениях кукольного теат-

ра, которым они отдавались со всей страстью и непередаваемой грацией; они выступали с ними на ярмарках в маленьких деревеньках вокруг Дюссельдорфа, их там обожали, ждали каждый год с нетерпением, а они, дурачась, словно шаловливые дети, болтая во время представления на разные голоса, путешествовали по этому маленькому миру всегда с собственными спектаклями, самодельными куклами и костюмами. А когда лучи солнца снова начинали падать косо в окна вагончиков, они, обладая чувством трезвой реальности бывалых актеров, возвращались в свой магазин колониальных товаров, где Фэн, все лето отважно заменявшая их и в самые жаркие дни обслуживавшая покупателей, к негодованию Густава, в купальнике, передавала им из рук в руки толстую конторскую книгу, и оказывалось, что количество сделанных в долг покупок совпадает с перечнем товаров на складе, то есть все то, чему надлежало быть на полках, из магазина унесли, а касса была пуста, как никогда, ибо Фэн по натуре своей склонна была делать подарки.

Цыгане, которые жили на площадке за домом, круглый год развлекали жильцов своими искусствами. Шпагоглотатели и пожиратели огня, танцующие дервиши и разрыватели цепей во

мгновение ока превращались в трехэтажную пирамиду и, с трудом удерживая равновесие, жонглировали всем, что им бросала публика; женщины пели странные песни на незнакомом языке, кружились под бубен, ударяя им по бедру, волнами пуская по воздуху разноцветные ленты, пускались в буйный восточный пляс. Еще женщины заходили в дома, чтобы погадать по руке, мужчины точили ножи и ножницы, а если после их визита в хозяйстве чего-нибудь недоставало, то звучало привычное, понятное только жителям этих мест: «Пойду-ка спрошу цыган». Иной раз пропажа находилась, иной раз нет; если вещь находилась, то ее с сияющей улыбкой отдавали обратно и говорили «спасибо». Если цыганам нужна была какая-то вещь, они смело брали ее там, где находили, без особого стеснения. Ведь если она понадобится, то ее хватятся и заберут обратно, значит, этому человеку она, оказывается, тоже нужна — вот и все. Если же владелец не объявлялся и тем самым откровенно заявлял, что в этой вещи вообще не нуждается, то рано или поздно она попадала к Обронски и Болье, у которых на сей случай был заведен особый уголок «подержанных вещей». И если кто-нибудь вдруг вопил: «Гляди, да это же моя кастрюля!» — то

он тут же получал свою кастрюлю совершенно бесплатно. А случалось, что кто-то по дешевке выкупал вещи, которые когда-то ему принадлежали, просто потому, что уже забыл, что такие вещи у него были, тут действовал закон справедливого выравнивания. Но как только кто-нибудь прикидывался дурачком и начинал утверждать, что-де этот цветочный горшок на самом деле его, надеясь получить его даром, Обронски и Болье разгадывали хитрость сразу, их было не провести, такое поведение покупателя расценивалось как свинство, то есть, считай, злодейство. Такого покупателя вышвыривали из магазина немедленно.

Людей, подобных добряку Герману, в Дюссельдорфе называли «стильными попугайчиками». Собственно говоря, он был почтальоном, но, зайдя после почтамта домой, он ставил на пол тяжелую кожаную сумку с письмами, быстро разносил заказные, а остальные разбирали дети, игравшие неподалеку, да соседи — каждый выбирал в сумке письма, которые мог занести по пути.

А добряк Герман быстро переодевался, аккуратно вешал на плечики форму почтальона, надевал черный костюм из тика и вязаный джемпер и отправлялся «в турне», как он сам это называл,

потому что по совместительству он был еще и торговым агентом, рекламирующим вещи повседневного спроса, такие как постельное белье, швейные иглы, английские булавки, расчески, фартуки, подтяжки, ремни, и оформлял и более крупные заказы по каталогам. Поэтому в своем квартале он знал всех и как почтальон, и как торговый агент, а все узнавали его и в форме почтальона, и в комбинезоне, он же комбинировал свои наряды и носил иногда джемпер с цветочками в комбинации с форменными брюками или форменную куртку с брюками из тика, но при этом был неизменно в белых гамашах поверх ботинок, волосы же носил сильно напомаженными. Вечером он в третий раз сменял свой наряд и облачался во фрак, составлявший предмет зависти всего квартала, и шел играть на скрипке в городские рестораны, на пианино ему аккомпанировал его старший брат, а около пианино всегда стояла почтальонская сумка, туго набитая нотами. Он ловко пиликал свое попурри, рассчитанное на любой возраст, и чутко подстраивался к публике, поэтому всегда создавал уместный фон к трапезе состоятельных граждан, он с чувством аккомпанировал разговорам серьезных дам и господ, чуть добавлял пыла, заметив в зале

подвыпивших дельцов, а влюбленным парочкам наигрывал тихо и нежно.

В Обербилке ему все доверяли, он помогал составлять самые разные заявления, за небольшую мзду выступал посредником при оформлении страховок, служил кассиром и делопроизводителем в доброй дюжине разнообразных союзов. Поскольку он не мог разместить такое количество сейфов с деньгами в своей маленькой комнатушке, уже и без того доверху заполненной нотами, бельем, заявлениями, страховыми полисами и недоставленными письмами, то стал хранить доверенные ему деньги все вместе в одном сейфе, который Фэн прятала в своем платяном шкафу. Он уже так давно снимал у них комнату, что стал практически членом семьи. В конце года он носил этот сейф из одного союза в другой, из Союза филателистов в шахматный клуб, из объединения по организации карнавальных празднеств в страховое общество, из клуба игроков в кегли в похоронное бюро. Он ставил на стол полную кассу и говорил: «Все денежки здесь, целехоньки». Поскольку круглый год членам всех этих обществ выдавались ссуды под небольшие проценты на краткий срок, то в день проверки сложно было выяснить, кто из членов

всех этих союзов уже вернул свою ссуду, а у кого ссуда была еще на руках, не представлялось возможным выяснить также, кто заплатил взносы, а кто нет, и уж совсем невероятно было узнать, у какого союза какая сумма должна остаться на конец года. «Вы сами должны все записывать. У меня на это времени нет», — говорил кассир и делопроизводитель, показывал каждому союзу полную кассу всех союзов вместе, все этим и удовлетворялись, ведь деньги-то были на месте. Вот так деньги, с одной стороны, были у граждан, а с другой — находились в кассе. На чем держится вся эта система, не понимал и сам добряк Герман, который считал, что как доверенное лицо он совершенно честен. Но до тех пор, пока все эти союзы и объединения не догадались устроить совместное общее собрание, что было абсолютно нереально, система действовала, ко всеобщему удовольствию.

Если добряка Германа спрашивали, почему он носится целыми днями как белка в колесе, почему он так усердно занят делом, он отвечал: «Потому что хочу стать настоящим бюргером». Что он под этим понимал, было не совсем понятно, наверное, он мечтал о маленьком собственном домике и хотел быть рантье с репутацией эдакого

короля-патрона, перед которым все снимают шляпу. Он и жениться не хотел, пока не достигнет всего этого, — дело прежде всего, — но все его предприятия не покрывали его расходов. Когда он по вечерам изображал порядочного бюргера и, подойдя к чьему-то столику, исполнял персональное пожелание посетителя, все это заканчивалось просто-напросто небольшими чаевыми; когда ему, как торговому агенту, удавалось продать три английские булавки на пфенниг и он скреплял успешную сделку, приложившись к ручке хозяйки, все это было, конечно, очень изящно, но абсолютно не к месту, он ведь все равно не разбирался в тонкостях приличий. На похороны своего отца он наконец-то оделся, как положено, в свой черный костюм, но зато для поддержания репутации нацепил на шею все свои карнавальные ордена, которых было немало, ибо он не раз играл на своей скрипочке на разнообразных дамских вечерах и в мужских клубах. И вот когда он, возвращаясь с похорон, переступал порог своего жилища, неся в почтальонской сумке урну с прахом собственного отца, а на шее у него звякали шутовские карнавальные ордена, он воистину представлял собою воплощенную нелепицу, которую и именовали

«стильным попугайчиком».

Именно добряк Герман осчастливил Густава большим пакетом акций, составлявшим девяносто процентов всех акций некоей несуществующей фабрики. Оставшиеся десять процентов закрепил за собой сам добряк Герман, который обнаружил эти акции во время своих многочисленных «турне» благодаря рассказу одной пожилой дамы, пожелавшей освободить наконец для пользования принадлежащее ей подвальное помещение. Густав представлял себе пакет акций как некий небольшой пакетик, который добряк Герман в один прекрасный день принесет ему в своей черной почтальонской сумке, а вместо этого к дому подъехал грузовой фургон и выгрузил ко входным дверям в квартиру Густава гору бумаг с золотой окантовкой, два метра в высоту и два метра в ширину, а Густав под удивленные взгляды всей улицы перенес все это в подвал. Так пакет акций компании «Райнише Индустри АГ» перекочевал из одного подвала в другой. Несуществующая фабрика была задумана как фирма мирового масштаба. Дело в том, что один бельгийский инженер и один швейцарский банкир, опираясь на заявленный патент некоего английского изобретателя, основали акционер-

ное общество для производства товара, который давно уже по дешевым ценам продавался на всех прилавках. Когда они это обнаружили, акции были уже напечатаны, они так и остались лежать в типографии, а типография со временем продала их в пункт сбора макулатуры, где решили, что такие красивые документы могут пригодиться и на что-то лучшее. Вот так акции путешествовали из одного подвала в другой, пока наконец не приземлились в подвале у Густава. Добряк Герман любил рассматривать эту гору бумаг, и тисненные золотом буковки золотили его мечты, до образа жизни добропорядочного бюргера было рукой подать, он благоговейно поглаживал красивые акции, которые обещали столь много, и воображал, как купоны превращаются в деньги. По вечерам, со скрипкой в руках, он подходил к столикам, где сидели бизнесмены, с новыми интересными предложениями относительно быстрого получения прибыли и рекомендовал Густава как непризнанного гения.

И теперь к Густаву все чаще стали наведываться оборотистые господа с недоверчивыми лицами и бегающими глазками, которые немногословно намекали, что их на мякине не проведешь. Если этих господ удивляло странное местоположение

главного офиса фирмы, Густав отвечал: «Свое состояние, господа, я намереваюсь тратить на Кенигсаллее, а здесь, господа, я намереваюсь его зарабатывать. Изобретатель должен жить в непосредственной близости к фабрикам, там, где его идеи рождаются и где они могут быть быстро воплощены». После этих успокоительных разъяснений Густав препровождал господ в свой подвал, где, заманчиво поблескивая, высились горы отпечатанных золотыми буквами акций, притягивая жадные взгляды предпринимателей, Густав же подстегивал их вожделение, с особым значением кладя руку поверх горы бумажного золота и говоря при этом: «Это — мой персональный золотой запас, господа, надежный, как английский банк», потом брал в руки одну из акций, подносил бумагу поближе к тусклому свету подвальной лампочки, прикрывая большим пальцем дату выпуска, и добавлял: «Когда инфляция будет позади, я отправлюсь с ними на биржу. Но обменивать их сейчас на обесцененные бумажные деньги, нет, господа, спасибо, я уж подожду, у меня есть кредиты».

Из закутка в подвале, который Густав называл винным погребом, он доставал собственноручно наполненную им накануне бутылку выдержан-

ной мадеры, потому что эту мадеру он изготовлял сам и тут ему равных не было. Позади кухонной плиты всегда стояла большая оплетенная бутыль, прикрытая тряпицей, к ней были подведены стеклянные трубочки, в которых непрерывно что-то булькало. Ежедневно Густав пробовал на вкус эту бродящую жидкость, настоянную на смеси шиповника, каких-то плодов, трав и сахара, а когда через несколько недель смесь достигала нужной кондиции, волшебный напиток приобретал нужный цвет и нужную крепость, он наливал его в подлинные бутылки из-под мадеры, запечатывал их сургучом, чтобы потом, во время визитов деловых людей, достать их из закутка со словами: «Храню для особых случаев». И тогда в своей каморке, перед загадочной панорамой Дюссельдорфа, он откупоривал бутылку, наполнял бокалы, цокая языком, с видом знатока рассматривал содержимое своего бокала при свете свечи, удовлетворенно кивал, приглашая гостей также оценить цветовую гамму, приглашал выпить за здоровье: «А вотр санте!» — с лицом, излучающим блаженство, делал первый глоток, опять кивал, господа тоже пили, он тут же подливал им еще и говорил: «Такой мадеры вы и на острове Мадейра не сыщете».

В довершение всего он тоном заправского экскурсовода подробно разъяснял значимость фасада дома напротив, обладавшего неоспоримой культурно-исторической ценностью: «Да, господа, югендштиль, чистейший югендштиль» — и, многозначительно подмигивая, делал намеки относительно пустующего гербового щита: «Побочная ветвь Гогенцоллернов — принц Инкогнито — совсем юнец — влюбился в простую работницу — какой был скандал — ну вы, разумеется, помните»; никто, конечно, ничего не помнил, но все согласно кивали и говорили: «Ах да, та самая знаменитая история, ну конечно».

Завершив эту часть программы, Густав вновь наполнял бокалы и, интригуя господ и подогревая их ожидания позой застенчивой нерешительности, изъявлял-таки великодушную готовность дать пояснения к тем проектам, которые располагались в его комнате на потолке, он пускался в глубокомысленные, но невнятные рассуждения по поводу законов механики, которые, к сожалению, еще не в полной мере эксплуатируются, со всей откровенностью — доверие за доверие — заявлял господам, что все эти проекты на потолке — только маленькая часть того, что роится у него в голове. Спустя час господа находились уже в

состоянии крайнего потрясения: вороха акций в подвале, подлинная этикетка на бутылке мадеры, содержимое которой с молниеносной быстротой ударяло в голову, таинственный фасад дома напротив, оригинальное полотно с панорамой Дюссельдорфа, очертания которого становились все более зыбкими, волшебный небосвод загадочных проектов на потолке — и никто из них не уходил, не заключив по крайней мере предварительного договора, о котором на следующий день большинство из них и не вспоминало, а в памяти оставалась лишь причудливая атмосфера всего визита да дьявольские головные боли.

Но однажды несколько господ вернулись назад и ошарашили Густава своим заявлением о том, что макулатура на потолке их не очень интересует, а пот золоченые бумажки в подвале — очень и очень. Они предложили Густаву пятьдесят тысяч марок наличными, Густав согласился и был очень рад, что избавился наконец от этой горы акций, которую действительно некуда было пристроить. Месяц спустя он прочитал в газете, в разделе «Разное», что некий биржевой маклер буквально за несколько дней продал сотням клиентов акции некоей несуществующей фабрики, выручив на этом несколько миллионов марок.

Поскольку биржевые маклеры могли документально подтвердить, что акции они продавали хотя и вне биржи, однако по поручению весьма серьезных, но, к сожалению, неизвестных финансистов, которые должны были вот-вот основать упомянутую фабрику, и поскольку многие из покупателей уже перепродали купленные акции с выгодой для себя, а с другой стороны, многие акционеры твердо верили в будущую фабрику, которая вот-вот заработает, и подозревали, что власти намеренно вводят их в заблуждение, — в связи со всем этим судебное преследование было пока приостановлено. Миллионные барыши от продажи акций исчезли, однако так же бесследно, как и сами финансисты. В связи с этим газета предостерегала читателей от покупки акций фирмы «Райнише Индустри АГ». Сообщение сильно напоминало протокол полицейского Шмитца, и Густав понял, что перпетуум-мобиле, который он столь долго понапрасну искал, лежал у него в подвале и состоял из бумажек с золотыми буквами.

Еще в тот же день он порвал на мелкие клочки все свои проекты и все предварительные договоры, отыскал в своей библиотеке объемистый том под названием «Вселенная», всю ночь читал, а наутро пошел устраиваться на работу в пла-

нетарий, выдав себя за специалиста, сведущего в астрономических науках. Попутно он столь подробно распространялся на соответствующие темы и предъявил столь заманчивые образчики своих обширных знаний, что сразу был принят. Отныне Густав занимался исключительно механикой звезд, небес, вселенной.

6

Когда Мария вместе с графиней совершала прогулку по Познани, выяснилось, что одна только библиотека Рачиньского сохранила свое прежнее имя, а все немецкие названия улиц и площадей заменены были на польские. Графиня была к названиям равнодушна. «Проявление свободы граждан» — так она это называла, она говорила по-французски, во всяком случае пока была в Польше; а в Париже, где проходила большая часть ее жизни, она говорила по-польски, ей нравилось выделяться среди своего окружения. «Необходима своя собственная окраска», — говорила она. Графиня показывала Марии Познань так, как будто это была ее собственность, рассказывала о Мишко и Болеславе, у которых здесь когда-то была резиденция и которые создали Польское государство, с такими интонациями, как будто они были ее ближайшими родственниками, и быстрым движением руки указала на фонтан Прозерпины перед ратушей. Мария, внимательно слушая и поспешая за ней, словно цыпленок за наседкой, спросила: «А кто это?», графиня ответила: «Это Персефона», а другой

рукой уже указывала на здание ратуши: «Ренессанс, архитектор Джованни Баттиста ди Кватро из Лукки». Мария не знала, где находится Лукка, она решила, что это какой-то город в Польше, и графиня, покачав головой, сказала: «Не так важно, чтобы ты знала, где находится Лукка. Важно знать, что она упоминается в первой фразе „Войны и мира". Eh bien, mon prince, Gênes et Lucques ne sont plus que des apanages, des поместья, de la famille Bounaparte».[1] Мария не понимала, что означает это «Война и мир», бессмысленная игра в вопросы и ответы продолжалась.

Тем же вечером графиня велела отвезти ее и Марию в свои поместья, они добрались ночью, Марию привели в темную комнату, освещенную лишь скудным светом свечи, вот она и дома, в том месте, о котором говорили все, когда упоминали родину. Мария выглянула в окно, темнота была совершенно непроницаема, не было ни копров с прожекторами и подъемными клетями, ни фабрики, где за освещенными матовыми стеклами метались какие-то тени, не было угольных отвалов, за которыми поднимались белые струйки дыма от коксовальной установки, ночь,

---

[1] Примечания: 1
Ну, князь, Генуя и Лукка поместья фамилии Бонапарте.

настоящая ночь, какой Мария не знала, звезды на небе и тишина, которая звенела в ушах, ни шипения волочильного стана, ни глухих ударов парового молота, тишина, от которой было больно. Она залезла под одеяло и потом всю ночь то и дело вздрагивала от незнакомых шорохов, от звуков, которые издавала неведомая ей природа, ей казалось, что это голоса зверей, может быть, они доносились из леса, а может быть, с озера, странные, неслыханные звуки, которые вместе с породившей их темнотой объединялись в какое-то бескрайнее пространство, где она теряла всякую ориентировку.

Письмо, которое Лукаши написали Лукашам, прошло через несколько рук и наконец попало к графине, которая вовсе не была графиней, но поскольку она принадлежала к фон Лукашам, а брат ее был сначала посланником, а потом и послом Польши в Париже, то в фамильном поместье, где она владела небольшой долей, ее называли графиней, и ей это нравилось. Она непрерывно переезжала из Парижа в поместье и обратно, в Париже мечтала о поместье, в поместье мечтала о Париже, считала, что вообще-то надо жить в Вене; как-то, находясь проездом в Брюсселе, по прихоти купила себе там городской дом просто

потому, что ей понравился раззолоченный фасад, Брюссель она находила ужасным, поэтому дом спустя год продала, во время войны отсиживалась в Лондоне, а после окончания войны снова вернулась на континент, проводила время в путешествиях и жила так, как подобает ее сословию, до того самого дня, когда управляющий имением прислал ее брату счета, из которых сразу было видно, что свою наследную долю она уже давно израсходовала. Брат немедленно сократил ее годовую ренту до смехотворной суммы, купил ей крохотный, увитый плющом домик в Кайзерверте, предместье Дюссельдорфа, совсем рядом с домом диаконис, с которыми у семьи были традиционные дружественные отношения, с тех пор как историк и библиотекарь Йозеф фон Лукаш полжизни посвятил исследованию некатолических церквей и их диаконисам в Польше, Литве и других местах, кроме того, он позволил ей раз в год ездить в свое поместье.

Графиня восприняла все эти меры как изгнание, она прочила своему брату все муки ада, удалилась в домик, который совершенно не соответствовал ее сословному положению, и на глазах у диаконис подчеркнуто исповедовала католицизм и всячески демонстрировала свою

любовь к Польше. И только раз в год, во время поездки в имение, она снова делалась прежней графиней, совершала променады по Познани, болтая по-французски, а явившись в поместье, велела слугам целовать себе ручку, только времена-то нынче переменились и здесь, и ее прежняя расточительная власть осталась у слуг да у крестьян лишь в блаженных воспоминаниях.

Письмо застало графиню накануне ее ежегодной поездки в поместье. Девушка, которая явилась к ней следом за письмом, была хрупка и бледна, ей явно не хватало деревенского воздуха, и графиня решила, что это юное дитя сначала будет сопровождать ее в поездке, а потом видно будет, ей нужна хорошая экономка, но хозяйство, к сожалению, придется вести очень бережливо. И вот, не успев приехать в Дюссельдорф, Мария отправилась обратно в Польшу. Дорожная корзина, сданная в багаж, прибыла в тот момент, когда Мария как раз уезжала, и до ее возвращения простояла нетронутая на чердаке.

Время, проведенное в поместье, обернулось для Марии сплошным кошмаром. Вместе с управляющим и старыми, дряхлыми работниками и служанками она рано утром села за стол вокруг большой плошки с жирным молоком, каждый

крошил туда свой хлеб, все ели из одной миски, вылавливая сгустки сливок, Марии стало дурно от жирного молока и от молчаливого слюнявого чавканья этих местных людей, которые с любопытством разглядывали ее в упор. Ее стошнило, после этого она заперлась в своей комнате. Обед понесли прямо на поле, и Марии удалось остаться дома никем не замеченной. Вечером все уселись вокруг большой сковороды, стали тыкать вилками в картошку, поджаренную на шкварках, каждому хотелось подцепить и кусок буженины, никто не собирался упускать своего, а кожу со щетиной и шкварки все выплевывали прямо на пол. Марию выворачивало всю ночь, и следующие несколько дней она вообще ничего не ела.

Управляющий доложил об этом графине, и отныне Мария ела в господском доме за столом, накрытом белой, сияющей волшебным светом камчатной скатертью, с крахмальными салфетками, которые тихонько поскрипывали, когда их разворачивали, с серебряными ложками и вилками, которые приятно холодили руку, на расписном фарфоре, слуга в белых перчатках неслышно ставил тарелку на подтарельник и так же неслышно уносил. У графини был повар-француз, и Марию больше не тошнило, она старалась

сосредоточиться на еде, но, как только в памяти всплывали шкварки и свежее коровье молоко, она пулей вылетала из столовой.

Из господского дома она выходила лишь изредка, потому что он весь был окутан мерзкими запахами: свинарники, коровники, овечьи загоны, конюшни, кучи навоза и бочка золотаря — все это смешивалось для Марии в одну чудовищную вонь, она была невыносима, и Мария отказывалась переступать порог хлева вообще.

Еще страшнее были те дни, когда забивали скот: пронзительный визг, предсмертный хрип свиней, которых мясники резали отвратительными длинными ножами, прорывался даже сквозь закрытые ставни. Жирный пар кипящих котлов во дворе, от которого выворачивало живот и судорожно скручивало горло, смрадный запах крови, текущей по двору тонкими пенистыми ручейками, образуя лужицы крови, которая в тот же вечер оказывалась в тарелках в виде кровяного супа, к бурной радости тех, кто весь день шлепал по этим темно-красным лужам, тех, чьи запачканные башмаки с рантом из свежей крови стояли перед домом, где жили батраки.

В такие дни Мария уходила в поля, стараясь, чтобы ветер дул ей в лицо. Деревенские дети

бегали по стерне босиком, а Мария старалась идти только по дороге, между двумя глубокими колеями, переступая через втоптанный в землю навоз. Ее передергивало от отвращения, когда, несмотря на все предосторожности, она наступала на свежую коровью лепешку; как безумная, мчалась она тогда прямо по разлетающемуся брызгами навозу обратно, к имению, швыряла свои башмаки на кучу навоза, и старый батрак, который жалел несчастную «мадам-хен», выуживал их оттуда, мыл, начищал и ставил на ступени господского дома.

Молотьбу было переносить легче. Вокруг молотилок, приводимых в движение бурно пыхтящей паровой машиной, молотилок, которые казались гигантскими волшебными шкатулками и вздымались выше дома, где жили батраки, собирались десятки людей, они охапками забрасывали колосья спереди, а сзади вынимали спрессованные брикеты и складывали их в сарай, другие в это время завязывали полные мешки, в которые из бокового отверстия сыпалось зерно, и уносили их.

Мария наблюдала все это через закрытое окно, потому что в воздухе висели мельчайшие частицы соломы, пыль от зерна. Вздымаемая машина-

ми, пелена из ошметков мякины поднималась над двором и, золотясь на солнце, опускалась на мужчин и женщин, так что они, — лоснясь от пота, напоминали бронзовые скульптуры. По вечерам они все вместе запрыгивали в большие чаны с водой, спасаясь от сухого пыльного воздуха в объятиях другой стихии, потом, усевшись за длинные столы, ели на улице, запихивая в себя невероятные количества мяса, хлеба и картошки, потом как убитые спали на сеновале дома для батраков, а на следующий день снова суетились вокруг молотилок — и так четыре дня кряду. На пятый день они отправились на следующий двор, забрав с собой паровую машину и прицепив к ней неповоротливые молотилки.

Хороша была пора сенокоса, хорошо было лежать на горе сена, нагруженного на телегу, меж небом и землей, и плыть так с лугов домой, трепеща на поворотах, когда телега опасно наклонялась и женщины визжали, а мужчины лишь хитро ухмылялись. Приятен был и запах, этот дух теплого подсыхающего сена, в которое можно было провалиться с головой.

После сбора урожая графиня вместе с Марией снова отправились в Дюссельдорф, и, очутившись среди городских домов и привычных фабрик,

Мария потихоньку пришла в себя.

Мансарда под самой крышей в Кайзерверте стала на последующие годы маленьким собственным уголком Марии, ее крохотным царством на новой родине, которое служило ей защитой даже от графини, в которое она забивалась, когда ей вздумается, которое она обставила и украсила в полном согласии со своими желаниями, мечтами и воспоминаниями, в котором она хранила свои немногочисленные сокровища. Это был ее собственный уголок в этом мире, и, если кому-нибудь было от нее что-то надо, он обязан был постучаться, даже госпожа, как она именовала графиню.

Деревянная лестница вела из мансарды вниз, в мощенную камнем галерею второго этажа, с которой была хорошо видна гостиная в первом этаже, производившая впечатление тесного краеведческого музея в каком-нибудь захудалом польском городишке. Тесновато здесь было еще и потому, что графиня всеми силами старалась показать, что она привыкла к более просторным покоям, шкафы, сундуки, столы и кресла были явно великоваты для этого увитого плющом домика, место им было в господском поместье. Плотно придвинутые друг к дружке шкафы, стоявшие в

простенках между завешенными красным бархатом окнами и дверьми, хранили бокалы и фарфор из Польши, а там, где еще оставалось немного свободного места, на обитых темным деревом лакированных стенах развешены были полотна и гравюры с изображениями польских городов и пейзажей в непомерно больших и тяжелых золоченых рамах, паркетный пол был покрыт двойным слоем ковров, так что голоса гостей, сидевших за массивным круглым дубовым столом в обитых гобеленом креслах, которые никуда было не сдвинуть в этой тесноте, едва долетали до галереи.

Раздвижная дверь соединяла гостиную со столовой, и стол на двадцать четыре персоны заполнял все пространство настолько, что у свободной части стола помещалось в лучшем случае двенадцать человек. Массивный буфет, фасад которого, украшенный колоннами, лишь на несколько сантиметров не доставал до потолка, пришлось распилить на части, а потом снова склеить, иначе его ни за что было бы не втащить в это помещение. Он занимал все оставшееся место в столовой, а единственным ее украшением, усладой для глаз, убежищем и пристанищем в этом сокрушительном нагромождении вещей

была мозаика, составленная из балтийских раковин и из камней, собранных в Высоких Татрах, изображавшая польского орла.

За окнами шевелились на ветру густые плети плюща, погружая комнаты в полумрак, и эти обломки воспоминаний о другой стране пробуждали благоговейные священные чувства, словно здесь находился последний польский храм на чужой земле. Графиня поддерживала эту атмосферу, сохраняя величавую прямую осанку, нося традиционные польские платья, украшенные старинными узорами, она опускала усталые веки, и грустное звучание ее голоса наполняло комнаты, призывая хранить и вечно помнить.

По воскресеньям в присутствии узкого круга посвященных совершалось нечто вроде памятного молебна. Действо осуществлял некий польский парикмахер, которого суд объявил недееспособным, поскольку он, воплощая мечту своей жизни и построив в Варшаве дворец парикмахерского искусства из мрамора, с зеркальными стенами, аквариумами, где плескались золотые рыбки, со световыми эффектами, чудо света, в котором клиентов брили и стригли под цыганскую музыку, задолжал неимоверное количество денег и жил теперь у графини как личный садовник

и как ее правая рука. Каждое воскресенье ровно в одиннадцать часов утра, облачившись в мундир польского улана, который был ему очень велик, он вставал перед деревянной кафедрой, на которой раскрыта была роскошная книга в красно-белом кожаном переплете, распространяя сияние своего великолепия на все помещение, и читал присутствующим историю Польши, над которой столь усердно трудился в свое время Йозеф фон Лукаш, причем каждый год все читалось опять с самого начала. На Крещенье он начинал с мазовецкой и куявской ветвей в династии Пиастов и с Ягеллонов, а на четвертый адвент завершал чтение последним разделением Польши. После этого гости обсуждали исторические события, неверные решения и удручающие удары судьбы, постигавшие Польшу, и, невзирая на слова графини, которая своим грудным, глухим голосом призывала к спокойствию и тихому благоговению, начинали сильно шуметь, то есть и здесь все происходило точно так же, как в знаменитом польском сейме, где у каждого был свой либерум вето, который часто и усердно пускали в ход, поэтому достигнуть какого-либо согласия относительно истории Польши было совершенно невозможно. Каждый хотел продемонстриро-

вать, что у него есть собственное мнение на сей счет, вовсю пуская в ход силу своего голоса, коего он был неограниченным властелином, а на все остальные мнения накладывал свое несокрушимое вето. В таких случаях Мария по знаку графини подавала любимый всеми «польский чай» — теплое пиво с белым вином и с вишневым ликером, от которого после третьего стаканчика любое вето неминуемо сменялось дремотным блаженством.

В такие дни дел у Марии было совсем немного, поскольку недееспособный парикмахер в мундире улана в полной боевой готовности стоял у кафедры, с вежливой профессиональной услужливостью принимал на себя обязанности дворецкого, а после обеда, когда гости похрапывали в своих креслах, стриг на кухне волосы отдельным особо приближенным клиентам. Все это время Мария проводила у себя в мансарде за чтением «Войны и мира». Так велела ей графиня, которая внимательно следила за процессом чтения книги, контролировала его, переводила Марии французские вставки, объясняла непонятные слова, и так вместе они одолевали страницу за страницей. Весь процесс длился два года, наконец Мария одолела эту книгу, но, когда она

потребовала новую, графиня сказала: «Толстого тебе вполне достаточно. Ничего другого читать не надо. Теперь начни все сначала».

Советник медицины доктор Леви, личный врач графини и частый посетитель ее сеансов — так называл он воскресные чтения, — услышав этот разговор, узнал о странном, необычайно сконцентрированном на одной книге обучении Марии и выразил мнение, что, учитывая такую специфику ее образования, два-три посещения оперы «Волшебная флейта» ни в коей мере повредить не могут, не стоит пренебрегать музыкой при столь изысканном воспитании, Моцарт в данном случае будет особенно уместен. И вот Мария в сопровождении доктора Леви, внимая его подробным разъяснениям по поводу небес и ада, огня и воды, красоты и мудрости, света и тьмы, трижды подряд побывала на представлении «Волшебной флейты», открыв в себе огромную любовь к музыке.

Зато живопись порождала постоянные споры. Графиня признавала только «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, тогда как доктор Леви энергично расхваливал «Мон Сент-Виктуар» Сезанна. Графиня от своих привычных взглядов не отступала, а доктор Леви говорил, что Леонардо

— просто мастер перспективы, а в живописи главное — это цвет и величайшее мастерство заключается в том, чтобы показать один-единственный мотив в непрестанной смене оттенков, раскрыть одну-единственную тему в бесчисленном множестве вариаций, соединить тысячу красок живой жизни в открытой композиции, где каждый зритель может обнаружить свой собственный мир. Спор не утихал, он длился часами, не прекращался целые дни и месяцы, и в конце концов Мария получила в подарок два тома с репродукциями обоих художников. Марии очень хотелось увидеть все эти картины в оригинале, но дорожные расходы встали на пути этого желания непреодолимой стеной, к тому же, как справедливо отметил доктор Леви, Толстого Мария тоже читала только в переводе, да и «Волшебная флейта» в Дюссельдорфской опере ставилась не Моцартом, и дирижировал тоже не он, поэтому пусть наслаждается вторичным отображением и мысленно представляет себе оригинал, в сущности, это тоже неплохая прелюдия к жизни, ибо жизнь редко оригинальна, по большей части она есть лишь репродукция настоящей жизни.

Таковы были глубокомысленные соображения доктора Леви, который сам испытывал немалое

удовольствие, когда высказывал их и, задумчиво посмеиваясь, разглядывал светское общество, пробужденное его громким голосом от своей сладкой дремы, он смотрел на испуганных, внезапно встрепенувшихся людей, которые никак не могли сразу взять в толк, не их ли он сейчас имел в виду и что, собственно, хотел сказать. Тут всегда возникала неловкая пауза, повисала не очень приятная тишина, нарушаемая лязганьем парикмахерских ножниц, доносившимся с кухни.

Советник медицины доктор Леви был евреем, он был родом из Казимежа, еврейского гетто в Кракове, и родился в Мьодове, на углу с Подбжеци, ну, там, где стоит большая синагога, добавлял он всегда, изучал медицину в Берлине и в Вене, а в Гейдельберге — философию и германистику, прямо-таки роковое увлечение, не забывал он при этом добавить, считался выдающимся ученым-медиком, способным взглянуть на медицину с некоей научной дистанции, и был общепризнанным знатоком и ценителем немецкой литературы.

На вопрос, почему он решил вести свою медицинскую практику именно в Дюссельдорфе, он обычно отвечал: «Потому что здесь никогда не было гетто и ни разу не бывало погромов» — и

добавлял, что маленький Генрих Гейне учился здесь в самой обыкновенной городской школе и он ему очень завидует.

Графиню такие откровения выводили из себя, у нее было такое лицо, словно она глотнула уксуса, она бормотала что-то вроде «моветон», впрочем, ее всегда снедало подозрение, что доктор Леви — масон, тем более что доктор любил прерывать священные воскресные чтения пространными пояснениями, говоря обычно: «Хочу сделать маленькое примечание». Ибо как только воодушевившееся было общество с горящими глазами начинало углубляться в благородную историю Ягеллонов, он начинал мимоходом сообщать, не смущаясь бормотанием парикмахера, который вскоре внезапно запинался, обращая свой пламенный взор к присутствующим, словно служка, молитву которого гнусным образом прервали, что при Ягеллонах в шестнадцатом веке в Кракове, в переулке Брайте-Гассе, была построена маленькая синагога — тут он отвешивал легкий поклон — и там знаменитый рабби Моше Иссерлес, именуемый Рему, — опять легкий поклон — написал свою «Даркай Моше», и всего пара сотен метров отделяла его от того университета, где некий Коперник трудился над своим сочинением

под названием «Об обращении небесных сфер».

Пока общество еще терялось в догадках по поводу скрытого смысла этого рассказа, понемногу приходя в возбуждение, доктор Леви постарался довести свою мысль до конца, ровным голосом сообщив, что рабби Моше Иссерлес, именуемый Рему, — он отвесил легкий поклон — в 1572 году упокоился с миром, ибо в том самом году этому великому человеку, да благословенно будет имя его, — тут он опять слегка поклонился — вопреки всему обыкновенному ходу истории довелось при всей мудрости его пережить страшное зрелище — как христиане убивают христиан: в Варфоломеевскую ночь гугеноты оказались теми избранными, коих убивали за их веру. Случилось ли это для того, чтобы рабби Моше Иссерлес, именуемый Рему, — он слегка поклонился — мог упокоиться с миром, ему неведомо, ведомо это было лишь самому величайшему рабби, да будет благословенно имя его, — он опять слегка поклонился, на этот раз не без иронии, — и, вполне довольный своими словами, возвел глаза к потолку.

Графиня сидела во время этого оскорбительного выступления с непроницаемым лицом, а потом подала парикмахеру какой-то знак, махнув

своим кружевным платочком, и все оставшееся время священная история читалась без всяких примечаний. После обеда доктор Леви тоже отправился стричься на кухню, к маленькому чтецу исторических сочинений, который по просьбе доктора во время стрижки всегда пел песню «Нас десять из четвертого полка», тот уже ждал этого момента и немедленно запел:

В Варшаве тысячи молили на коленях:
Священный бой пусть пуля не осквернит,
Бей барабан, вперед на поле брани,
Штыками сможем путь себе пробить!
И плачет Родина, и помнит на века
Историю четвертого полка.

Прощайте, братья, умирать нам рано,
Но падают бойцы, и стон в рядах,
Хоть живы мы, разверсты наши раны,
С земли родной уходим навсегда.
Господь, да будет наша смерть легка,
Нас десять из четвертого полка.

7

«Переезд в Дюссельдорф не рекомендуется», — писали газеты, и, когда Фэн вспоминала об этих временах и рассказывала о них, она всегда говорила, что все это можно было сравнить с крушением корабля: палуба накренилась, земля уходит из-под ног, через борт хлещет вода, все хватаются за что придется, не понимая, где находятся, и все это одновременно, в один миг, ничего не происходит постепенно, по порядку, чтобы можно было по порядку об этом рассказывать, — сначала то, потом се, нет, все сразу, без разделения на сегодня и завтра, просто каждый день — гибель всего, каждый день теряются все прежние ориентиры, словно какая-то сила поменяла местами север, юг, восток и запад, но никто об этом и понятия не имел, не помогали никакие компасы старого порядка, потому что было похоже, что Северный и Южный полюсы тоже находились теперь в другом месте.

Дюссельдорф был в то время, наверное, самым многонациональным городом Европы, и он же был городом, где располагался самый большой гарнизон Европы. Французы, бельгийцы,

англичане осаждали город, они делили его на части, устанавливали границы, укрепляли их с помощью колючей проволоки, земляных валов, пограничных столбов, шлагбаумов, сторожевых постов, вывешивали над своей территорией национальные флаги, вводили паспорта, визы и пропуска, штампы и условные значки, устанавливали различные заграждения и придумывали каждый день новые правила, чтобы поддержать порядок, которого больше не было в этом городе, рассеченном национальными границами. В южных районах правили англичане, в западной части, на левом берегу Рейна, — бельгийцы, которым принадлежали и оба моста через Рейн, все остальное каким-то образом отошло к французам, но ненадолго, а потом французы, бельгийцы и англичане заняли все вместе центр города, образовали новую общую оккупационную зону, и здесь воцарились свои, особые юридические нормы и особое чрезвычайное положение, во всех приказах они настоятельно подчеркивали разницу между новой и старой зоной, и теперь для каждого горожанина было жизненно важно, какая улица к какой зоне относится. К тому же восточные районы граничили теперь с Германией, ибо Германия отныне была для Дюссельдорфа

заграницей, а Дюссельдорф не входил больше в состав Германии, пассажирские поезда, направлявшиеся в Берлин, Гамбург, Мюнхен, часами простаивали на маленьких пригородных вокзалах в ожидании проверки паспортов и таможенного контроля франко-немецкой патрульной службы: «Чем вы занимаетесь в Германии? С какой целью вы едете в Дюссельдорф?» — ведь чужая страна не своя страна, а порядок есть порядок.

Заграница образовалась и в самом Дюссельдорфе, потому что в каждой из зон царила своя жизнь. Англичане ввели в старой зоне английское время, и поэтому, попав в Бенрат, надо было переводить стрелки на час назад. Они любили говорить о демократии, питали пристрастие к солидным пропускам, на которых от штампов живого места не было и которые надо было выправлять в ратуше Бенрата, и получить их можно было только в том случае, если ты доходчиво и по возможности на английском языке объяснишь, что тебе необходимо попасть на похороны твоей тетки, ибо даже для самого короткого пребывания в этой Новой Англии нужен был серьезный повод, и ни в коем случае нельзя было говорить, что ты хочешь прогуляться по дворцовому парку,

так как во дворце сидели англичане и с восхищением разглядывали лионский шелковый штоф на стенах.

Бельгийцы на левом берегу Рейна повышенное внимание уделяли культуре и первым делом ввели свою систему школьного образования. Они настаивали на том, чтобы все учителя местных школ жили в их зоне, потому что воспитание должно быть единым. А поскольку они вообще старались сбить всех своих овечек в одно стадо, те жителям, которые имели хоть какое-то отношение к этой новоявленной Бельгии, приходилось переселяться с правого берега на левый. Зато постовые на мостах через Рейн были гораздо добродушнее, чем у французов и англичан, и, если ты хоть чуть-чуть болтал по-французски, они пропуск особо не рассматривали и кивали «Проходи».

Французы больше всего внимания стали уделять своей новой зоне, хотя она в равной мере принадлежала и англичанам, и бельгийцам, отправляли сюда колониальные войска, алжирцев, марокканцев, сенегальцев, экзотический вид которых на фоне английских и бельгийских мундиров придавал Дюссельдорфу облик международного города. Они сразу попытались

учредить четкую, разумную систему управления по французскому образцу, откомандированный генерал несколько раз встречался по этому поводу с беспомощным бургомистром в Академии художеств, поскольку это было тихое, достойное и в определенном смысле нейтральное место, единственное место в Дюссельдорфе, где царил абсолютный покой, и они, покуривая сигареты, обсуждали, каким образом введение осадного положения может помочь поддержанию порядка.

Фэн рассказывала позже, что самым главным было знать, кто кого и в какой зоне имел право арестовать. Теперь была немецкая полиция в зеленых мундирах и немецкая полиция в синих мундирах, и у каждой были свои полномочия, а кроме того, французская, английская, бельгийская военная полиция в каждой зоне и еще смешанный франко-немецкий пограничный патруль на пограничных постах. «Все во имя порядка».

Деньги тоже устанавливали свои порядки, и Фэн говорила, что в те времена она научилась считать, как сам Медичи, это выражение она позаимствовала у Густава. В ходу были банкноты Германского рейха, банкноты города Дюссельдорфа, суррогатные фабричные деньги, и все они

отличались богатством цвета и пышностью рисунка, за которыми люди угадывали их нулевую стоимость, а орнаментальное богатство каждой новой банкноты становилось все изощреннее. День и ночь печатались все новые деньги, а количество нулей все увеличивалось, и постепенно их бесконечная вязь превращалась из гирлянды странных призрачных цветков в непроницаемые лианы непостижимой цивилизации. Люди считали деньги с утра до поздней ночи, сбиваясь со счета, в мелькании пальцев радугой начинали светиться бумажки, и все равно никто не мог понять, сколько у него денег, потому что за ночь нулей опять прибавилось, и каждый новый день начинался с подсчетов. Позже появилась немецкая рентная марка, и нулей в ней было меньше, но она признавалась как законная денежная единица только в новых зонах, а в старых по-прежнему все росли и росли нули на старых деньгах. Кроме всей этой разнообразной немецкой валюты официальное хождение имели еще и французский франк, бельгийский франк и английский фунт, причем англичане любили расплачиваться французскими франками, устанавливая свой курс по отношению к немецким деньгам, так что наряду с официальным был и английский курс франка.

Зато у бельгийцев зачастую появлялись швейцарские франки и американские доллары, которые очень нравились французам, поскольку они явно не верили в свою собственную валюту. Поэтому чуть ли не каждый горожанин освоил профессию менялы и жил, словно Крез, в какой-то фантастической действительности, ведь обыкновенная ежедневная газета, в которой не было ничего особенного, стоила двести миллиардов, простые люди, которые никак не тянули на миллионеров, тратили биллионы в день, а город Дюссельдорф печатал триллионы — бумажки с восемнадцатью нулями. Все эти самодельные триллионы везли по городу в мебельных и санитарных фургонах, в гробах, везли целыми колоннами, деньги были смертельно больны, и лучше всего было бы их потихоньку в этих гробах и похоронить, но все эти дешевеющие с каждым километром, пахнущие дешевой краской и дурной печатью бумажки никогда не добирались до кладбища, люди, словно мародеры, грабили эти гробы, чтобы в ближайшей лавке самым бессовестным образом сменять эти трупы на что-нибудь съедобное, но только ведь ничего съедобного не было.

Оборотной стороной этого чрезвычайного денежного положения было чрезвычайное поло-

жение с продуктами питания, а точнее, полное отсутствие молока, картошки, муки, одежды, угля, о чем в голос трубили все газеты. Младенцы умирали, потому что не было молока, дети переставали расти, теряли в весе; превратившись в маленькие, легкие комочки, умирали они от туберкулеза, старики гибли от голода и попросту замерзали насмерть в своих квартирах, выпекание пирогов и булочек было сочтено роскошью и запрещено, люди питались одним только военным хлебом или больничным хлебом — разные названия для одной и той же смеси, которая, по словам сведущих людей, состояла из соломы, древесной коры, бобов и щавеля да к тому же содержала кое-какие добавки, о которых вслух лучше не говорить. Люди так жалели, что их город находится не в Африке, там хоть можно бегать голышом, до того все устали носить рваные башмаки, костюмы, рубашки, пальто. Все единодушно считали, что пришли времена хаоса, и опасались произносить фразу, что, мол, хуже уже некуда, потому что каждый на себе испытал: было совсем плохо, и опять становилось еще хуже. Не только весь уклад жизни человеческой, но и сам человек был ниспровергнут, он лежал во прахе, гол и наг, и готов был околеть, как собака,

пред ликом Господним.

«Будь человеком», — ежедневно писали газеты. «Будь человеком», — от руки нацарапано было на афишной тумбе, народные полевые кухни, раздача питания в школах, пункты выдачи поношенной одежды и угля. «Будь человеком». Город спасался последними крохами порядочности, которая еще сохранялась, она означала, что на каждом углу из общественных котлов разливали суп, но и для этого требовался особый ордер, и только он давал право встать в длинную очередь, отстояв которую счастливчик получал пол-литра супа из большой поварешки. Еще были люди, сохранявшие верность и веру, честь и достоинство, представление о праве и законе, которые не могли пойти воровать, когда на шее у них красовался орден «За заслуги перед Отечеством», которые, дожив почти до конца дней своих, просто не в состоянии были переступить через себя и выпросить льготный талон на суп и тем самым подписывали себе смертный приговор, потому что по новым законам жить не могли. Но когда истощились и эти общественные кухни и у города Дюссельдорфа не было больше ни пфеннига, ни биллиона на безработных, на раздачу пожертвований, на социальную помощь, вот тогда уже

совсем официально не стало никакого порядка и остался один только призыв «Будь человеком», и люди, которым совсем уже нечего было есть, взломали двери магазинов и стали брать все, что им было нужно, — «Будь человеком», — они громили склады, несли картошку, муку, фасоль, сахар, соль, селедку и яблочное повидло, — «Будь человеком», — они несли все это за пазухой и под юбками, они быстро организовали свой порядок, на страже которого стояли собственные охранники с пистолетами в руках, — «Будь человеком», — а когда полицейские, непонятно для кого и для чего, все-таки пытались навести порядок, то оказалось, что их уже никто не боится, им приставляли пистолеты к груди, и они отступали. Когда же полиция вернулась, вооруженная ружьями и французскими танками, то в Обербилке ее встретили ружейным огнем и ручными гранатами, и снова началась стрельба ради кусочка хлеба и ложки повидла, и были убитые с обеих сторон, «Будь человеком» и «Во имя порядка».

Фэн умело жонглировала пропусками, видами на жительство, суррогатными деньгами и валютой, пересчитывала марки на франки и фунты, свой кошелек она давно выбросила и засовывала пачки денег под белье и, обложенная со всех

сторон банкнотами, по нескольку раз в день пересекала границы зон, минуя зеленых, синих и французских полицейских, занимаясь, как и многие другие, мелкой контрабандой, которую вела между разными народами, правившими на маленьком клочке земли под названием Дюссельдорф. Железные кресты, прусские медали «За заслуги», стальные шлемы, увенчанные орлами, она обменивала у бельгийцев, англичан и французов на коньяк, сигареты и тушенку, а по ту сторону границы, в Германии, получала за это у крестьян сало, белую фасоль и картошку. Благодаря такому вот сложному натуральному обмену, ценой невероятных усилий она умудрилась сохранить своей семье жизнь, и это был подвиг, за который правительство, щедро выдававшее ордена за загубленные на войне жизни, никогда не выскажет ей свою признательность, потому что штык в животе противника — это было законно, достойно всяческих похвал и делалось во имя высочайших ценностей, таких как Бог и Отечество, а шматок сала, да еще тайком пронесенный через границу, был в лучшем случае нарушением многочисленных параграфов Гражданского кодекса, служил всего-навсего спасению от голодной смерти, высшие интересы не защищал

и, безусловно, заслуживал наказания. Примерно так звучал комментарий Густава, который Фэн приходилось выслушивать по три раза на дню.

Густав теперь опять был при деле, рана на ноге у него вновь открылась, и виной тому был Капповский путч, эти проклятые имперские войска, которые захотели вернуть кайзера. И когда началась всеобщая забастовка, перестрелки с солдатами, когда вновь в Обербилке появились убитые и Густав сновал повсюду, ввязываясь в перепалки с членами народной дружины, состоявшей из прежних рабочих советов и отогнавшей-таки вояк от Дюссельдорфа, после чего эта народная дружина опять ненадолго взяла власть в свои руки, — во всей этой суматохе кто-то, видимо, ударил Густава по ноге, а он слишком поздно это заметил, рана у него снова налилась темной кровью, и теперь он заботливо уложил ногу на подставленную табуретку и, отпуская саркастические замечания, начищал свой армейский пистолет, отобранный у какого-то офицера.

Капповский путч запомнился Фэн только тем, что толпа солдат с проезжающего мимо грузовика открыла стрельбу по очереди к полевой кухне, все женщины тут же бросились на землю, а Фэн в этот момент как раз получала свой паек, поэтому

ей пришлось бросаться на землю прямо с судками в руках, и потом она долго спорила, как считать: получила она свою положенную порцию, или надо наливать снова.

Фэн тоже поначалу не заметила, что добряк Герман и пан Козловский вдруг ни с того ни с сего начали расхаживать в зелено-бело-красных шарфах, ведь в Обербилке каждый, кому не лень, размахивал каким-нибудь цветным флажком, у одного — флажок стрелкового общества, у другого — какая-то своя республика, кто ж их разберет. Но добряк Герман имел в виду кое-что посерьезнее, он, употребляя все свое красноречие, в красках расписывал занимающуюся зарю нового светлого будущего всего человечества под названием Рейнская республика. Эдакая нейтральная республика, с той стороны — Германия, а здесь — маленький рай, эта самая Рейнская республика. Добряк Герман уже ощущал себя гордым гражданином на французский манер, украшал свою речь французскими словечками; входя в комнату, говорил «Бонжур», благодарил — «Мерси», спрашивал — «Коман алле-ву?» и после каждой фразы повторял любимые слова Густава: «Се ля ви». Пан Козловский на просьбы своих посетителей тоже отвечал теперь изящным «Авек плезир» и, как ни

парадоксально, мечтал о новой родине, несмотря на то что был поляком. Многие поляки мечтали о том же, в первую очередь те из них, кто вполне уже ощущал себя немцем, но немцы обходились с ним как с иностранцем; те, кто после войны уехал во Францию, но потом стал вновь тосковать по Германии, — и в результате образовалось эдакое рейнско-польское государство между Францией и Германией, смесь польского танца и рейнской снисходительности, польского сумасбродства и рейнского жизнелюбия, смесь, создававшая атмосферу свободы.

Когда настал торжественный день провозглашения Рейнской республики, добряк Герман и пан Козловский тоже почувствовали, что пришел их час. Они гордо шагали по улицам под своим флагом. Густав с тоской смотрел им вслед из окна, а Фэн заметила: «У тебя, поди, кошки на душе скребут, вот бы ты сейчас вприпрыжку следом побежал, да никак». Густав обиженно заковылял назад, к своей табуретке, вытянул больную ногу и стал начищать пистолет.

Рейнская оборона — отряд защитников новой республики, две тысячи до зубов вооруженных мужчин, — уже с утра дала присягу на верность еще не существующей Рейнской республике. Она

взяла на себя охрану порядка в Дюссельдорфе, столице Рейнской республики, сопровождая походные колонны людей, пришедших из Рейнланда и Рурской области к зданию городского театра, со ступеней которого должны были провозгласить новую республику.

Перед городским театром образовалось двадцатитысячное войско, которое подарило директору театра самое прекрасное представление под открытым небом, какое он когда-либо видел. Над головами реяли флаги всех цветов: зелено-бело-красные, черно-красно-золотые, черно-бело-красные, старинный прусский орел сторонников кайзера, красные флаги коммунистов, военные знамена ветеранов и бело-желтый флаг какого-то польского церковного прихода; подходя с разных сторон, толпы людей сталкивались, создавая прямо-таки шекспировскую сценическую неразбериху, синие и зеленые полицейские образовали заслон перед напором отрядов рейнской обороны, французские войска клиньями врезались между полицией и рейнцами, отбирая у полицейских оружие, а когда защитники Германского рейха ударили в тыл французским войскам, из боковых улочек налетели коммунисты, и тогда коммунисты и бойцы рейнской обороны начали отбирать

оружие друг у друга. Толпа двигалась, теснилась, напирала, кружила, в муках рождая новое государство, и вот наконец со ступеней городского театра, в микрофон, через громкоговорители, оно было провозглашено. Народный хоровод закружился в сложном лабиринте, поглощая самое себя, толпы людей хором выкрикивали: «Да здравствует республика!» — при этом одни имели в виду Рейнскую, а другие — Веймарскую республику. По флагам тоже уже невозможно было ориентироваться, они невзначай оказывались среди совсем чужих сторонников, все становилось с ног на голову, знаменосцы стояли среди чужих отрядов, и вскоре выяснилось, что флаги здесь никому не нужны, они только мешают, разве что древки могли на что-то сгодиться, а когда объединенные хоры республики сбились с такта, потому что их начали перекрикивать другие, соседние хоры, и в единый рев смешались национальный гимн, гимн во славу кайзера и «Интернационал», — тогда вся эта толкотня стала просто-напросто опасной, люди, чтобы выбраться из тисков толпы, пускали в ход кулаки, грудью теснили друг друга, замелькали полицейские дубинки, французские каски, лошади вставали на дыбы, блестели сабли, угрожающе рычали танки,

раздался первый выстрел, множество выстрелов грянуло в ответ, и вот уже застрекотало со всех сторон, и никто теперь был не в силах остановить этот неудавшийся спектакль, и директор городского театра бросился на пол в своем кабинете — запланированный праздничный фейерверк, который должен был расцветить небо, разыгрался на земле, противно засвистели пули, ударяясь о стены домов и рикошетом попадая в пробегающих людей; на улицах города разыгралось то, что потом называли кровавым воскресеньем и что стоило жизни многим людям, которые пытались спасти свою родину.

Пану Козловскому досталось саблей по голове от какого-то проскакавшего мимо всадника, а Козловскому все было нипочем, сабли только ломались о его голову. Добряк Герман вернулся домой в нижнем белье, потому что в густой толпе ему пришлось поднять флаг высоко вверх, он героически сосредоточился на своем флаге и совершенно не заметил, как люди, тщетно тянувшиеся к флагу, содрали с него всю одежду. Теперь он сидел на кожаном диване, держа в руках обрывки флага, и плакал: «Что же это такое? Берлин Берлином, а мы-то при чем?»

Густав соглашался с тем, что Рейнланд всегда

стоял на пути между Берлином и Парижем и что Эльзасу приходилось расплачиваться за все интриги, которые наплели в каждой из столиц, но сейчас надо защищать Веймарскую республику, так он считал.

Козловский всерьез заявил, что столицу для разнообразия надо бы перенести в Рейнланд, туда, где всякий раз случается самая большая неразбериха, ведь Берлин никогда еще не оккупировали три народа сразу, хотя он этого тамошним людям от души желает, может, тогда они там, в своем Рейхстаге, немножко по-другому заговорят.

Разговор, как обычно, вертелся вокруг имперской обороны, городского ополчения, рейнской обороны, вокруг республики Советов, Рейнской республики, Веймарской республики, пока Фэн, которая сидела рядом с ними, штопая чулки, не спросила в своей грубоватой манере: «А Веймарская республика, она в каких землях-то?» Густав, который хотел было вскочить, да нога помешала, заорал, красный от гнева: «Здесь!» Тогда Фэн отложила в сторону чулок, и всем запомнилось, как она торжественно подняла руку, как для клятвы, и решительно сказала: «В Дюссельдорфе отродясь никакой Веймарской республики не водилось. Если б была, я бы заметила».

На этот раз мнение Фэн совпало даже с мнением бургомистра, потому что и он знал Дюссельдорф как «город сословных свар, как город спартакистов, сепаратистов, французов, где было осадное положение и военный трибунал, умирающий город».

8

Мария взрослела, и красота ее была исполнена нежной меланхолии. Иногда она часами неподвижно сидела в своем кресле, глядя прямо перед собой, и, если кто-нибудь заговаривал с ней, она отвечала неохотно и не сразу, а когда осторожно интересовались, не случилось ли чего, может быть, болит что-то, она решительно отвечала «нет», отрицательно мотая головой, и снова углублялась в свой воображаемый мир, который находился в стороне от мыслей и чувств окружавших ее людей. Думает ли она о чем-нибудь, спросил ее как-то доктор Леви, она опять сказала «нет» и покачала головой и сидела, неподвижно глядя в пустоту, не шевелясь, словно под гипнозом, напоминая сомнамбулу, нежные черты ее лица как будто расплывались, темные глаза становились еще темнее, черные гладкие волосы были откинуты на подголовник кресла, тонкие руки она скрещивала на груди, словно защищаясь от чего-то. Мечтательная отрешенность прекращалась внезапно: Мария резко вставала, бежала вниз, врывалась на кухню и уже через несколько секунд принималась за приготовление еды.

Необычайно стройная и хрупкая, она носила давно вышедшие из моды платья графини, сшитые из дорогих тканей, она подгоняла их по фигуре, добавляла новые детали, и они снова становились модными. Больше всего она любила перешивать бальные платья графини: тончайший шелк, светящийся рубином, бирюзой и кобальтом, диковинные изысканные узоры, парча, расшитая золотом и серебром, шелковый атлас с вплетенными прямо в ткань жемчужинами, — и поэтому выглядела Мария, как царица Савская, о чем графиня однажды неодобрительно заявила во всеуслышание, в присутствии гостей, ибо Мария носила фартук только на кухне, а выходя в гостиную, немедленно его снимала, и Спорить с ней было бесполезно, графиня давно отказалась от любых попыток, как она выражалась, предписывать что-либо своей Марии.

Мария делала только то, что хотела, и ничего с этим было не поделать, тут она была непоколебима. Она не терпела никаких указаний, она сама знала, что надо делать, таков был ее обычный ответ. Когда графиня поначалу попыталась настоять на том, чтобы при гостях Мария обращалась к ней не на «вы», а в третьем лице, как это принято было в старину, то разразился скандал,

и графиня долго еще сожалела, что ей пришло в голову выразить такое желание.

Мария вела хозяйство, она очень быстро этому обучилась, и вела она его так, как считала нужным. Она решала, какие необходимо сделать покупки, что сегодня будет на обед; когда случались приемы, она решала, какое блюдо за каким подавать, командовала поварихой, накрывала на стол и присматривала за тем, чтобы все шло как надо, вплоть до кофе и коньяка. Она определяла, когда пора делать генеральную уборку и когда — приглашать прачку. И поскольку Мария, несмотря на свою хрупкость и грациозность, могла неутомимо работать по двенадцать часов кряду, не чураясь никакой работы, следила за порядком в доме так, словно этот дом был ее собственный, то уже давно не находилось ни единого человека, который осмелился бы ей в чем бы то ни было перечить. Это был ее дом, и здесь все решала она.

Завоевать благосклонность Марии можно было только осторожными похвалами ее кулинарному искусству, но, если хвалили слишком откровенно, она сердилась, подумаешь, она и сама знает, что неплохо готовит, но, если хвалили умеренно и с толком, она коротко кивала, и если человек

похваливал не раз, сохраняя достойные рамки, то он имел шанс подружиться с Марией. Она придавала большое значение хорошим манерам и презирала грубость чванливых краснощеких обжор, требовавших добавки.

Истинным искусником в умении осторожно находить контакт с Марией был доктор Леви, настоящий гурман, человек, для которого еда была частью культуры и которого Мария по этой причине выделяла, позволяя ему такие высказывания, каких не потерпела бы ни от кого. Когда однажды Мария вошла в гостиную в золотой парче и с волосами, коротко отстриженными под мальчика, у него непроизвольно вырвалось: «О, явление народу принца Александрийского». У графики перехватило дыхание от испуга, она не решалась разжевать кусочек песочного печенья, который только что положила себе в рот, Мария оценивающим взглядом пробежалась по гостиной, убеждаясь в том, что все чашки и блюдца, все поддонники и чайники, каждая сахарница, каждый молочник, каждый графин для рома, для ликера, каждая вазочка для печенья и для фруктов, каждая пепельница, все вазы и каждый цветок в каждой вазе занимают свое предназначенное им место. Выходя из гостиной,

она быстро оглянулась и рассмеялась. Доктор Леви, почувствовав облегчение, разразился своим знаменитым оглушительным хохотом, хохотал он даже немного громче, чем обычно, тут же стыдливый смешок издала графиня, сидя по-прежнему с кусочком печенья во рту, наконец смеялись уже и гости, графиня была рада, что Мария рассмеялась, потому что в противном случае всем пришлось бы срочно убираться подальше. Позже графиня одарила доктора Леви, который столь легкомысленно поставил под угрозу мир и спокойствие в доме, строгим взглядом.

Однако эта игривая, а при гостях графини подчеркнуто легкомысленная манера доктора Леви, от души недолюбливавшего это собрание призраков, как он его называл, иногда наталкивалась на непоколебимые правила, которых придерживалась Мария. Когда однажды он выразил желание, чтобы роскошный рождественский стол на польский лад, эта череда блюд, одно вкуснее другого, ослепительный бордовый борщ, пироги с луком и сметаной, голабки с салом и майораном, неизменный карп и, наконец, в довершение этого великолепия, медовый пирог собственной выпечки, — короче, чтобы вся эта роскошь повторялась по большим праздникам, ведь жалко, что только

на Рождество Христово бывает так вкусно, Мария холодно ответила ему, что все это — традиционная еда, а традиции следует соблюдать, иначе получится, что у нас каждый день Рождество.

Графиня поспешно взяла доктора под ручку, обмахнулась своим кружевным платочком и попросила его никогда не заводить с Марией разговоров о традициях, потому что это дело заранее проигрышное. Доктор Леви на этот раз сдался, задумчиво отметив, что польский рух — это, похоже, такая штука, которая сидит у людей в голове и в сердце и не связана с границами земель, и чем чаще ее передвигают по карте туда-сюда, тем надежнее укрепляется она в самом существе каждого человека.

Раз в месяц в доме появлялась гельзенкирхенская родня, толпа мужчин и женщин, одетых в черное, они налетали вдруг, как птичья стая, спрашивали всех о здоровье, с завистью разглядывали на кухне ветчину и колбасы, прибывшие из поместья, торжественно, черной вереницей сидели на стульях вдоль стены, словно грачи на жердочке, если заговаривал один, все тут же начинали галдеть наперебой, и поскольку все хотели сказать одно и то же, пытаясь завершить одну и ту же фразу, то постепенно, в зависимости

от количества прибывших, складывался более или менее внятный хор. Они недобро косились на Марию, замечая, как быстро она взрослеет, и находили, что Мария выбивается из общей стаи, что из нее получилась эдакая райская птица, пестрые крылышки которой никак не уместятся в их ровном чернокрылом ряду, на их общей жердочке. Прежнее различие между Лукашами подземелья, работавшими во тьме, и Лукашами наземными, жившими на свету, вновь обозначилось.

Пауль Полька, которому вновь удалось собрать свои мысли в кучку, никогда не расставался теперь со своим кларнетом и носил его под мышкой в черном футляре, независимо от того, где был и что делал: сидел ли за домом в саду, прогуливался ли мимо шахты или же сидел вечерком у своего глухого отца за рюмкой шнапса или кружкой пива. «Кларнет у него всегда под мышкой», — хором уверяли все гельзенкирхенцы. «А ночью лежит наготове у него в постели», — добавляли они, ведь когда подкрадываются сны, выползая из заваленного бункера, он тут же спускает ноги с кровати, хватает кларнет и наигрывает несколько тактов. «И только тогда снова засыпает», — кричали хором гельзенкирхенцы.

Пауль Полька, который всегда говорил, что Ма-

рия унаследовала мягкий, мечтательный облик своего отца, его черные волосы, но, надо надеяться, к ней не перешла его меланхолия и что, надо надеяться, ей передалась хоть отчасти жизнерадостная натура ее матери — страсть к танцам и пению; итак, Пауль Полька, одолев всеобщее недовольное бурчание и уверенно солируя среди стихших голосов, громко заявил, что если речь идет о Марии, то ведь любую мелодию можно сыграть по-разному, главное — не сбиться с такта. Хор гельзенкирхенцев запортил свое выступление тем, с чего начал, говоря, что Мария похожа на отца «как две капли воды» и поэтому остается надежда, что ее гельзенкирхенская натура еще проявится.

Пауль Полька достал из футляра кларнет и, церемонно поклонившись, сыграл на прощание «Еще Польска не сгинела», и это был достойный реверанс в сторону «фон» Лукашей, а те выслушали песню с надлежащей благосклонностью. Затем вся стая удалилась, хлопая крыльями и щебеча, и во всеобщем гомоне слышалось все время одно и то же: «выбилась из общей стаи» и «похожа как две капли воды»; они уносили с собой ветчину и колбасы и вскоре исчезали за горизонтом, в последний раз помахав Марии,

лицо которой белело в увитом плющом окне, а отзвуки их голосов быстро терялись под просторным небом Нижнего Рейна.

Над предчувствиями Марии, которые впоследствии не раз спасали жизнь ей и ее детям, все поначалу только смеялись. «Сегодня приедут гельзенкирхенцы», — она это знала, сама не понимая почему, но всегда оказывалось, что она права, — гельзенкирхенцы действительно приезжали. Наступали и другие события, которые Мария предсказала мимоходом, не думая, просто подчиняясь какому-то чувству. Мария не любила об этом говорить, это было ей скорее неприятно, тем более что все над ней подшучивали. Подшучивали до того самого дня, когда графиня сломала ногу: Мария умоляла ее не выходить в этот день из дому, рыдая от ярости, и не потому, что графиня обозвала ее глупой польской гусыней, а потому, что она села в коляску, не обращая внимания на предостережения Марии, и ее повезли лошади, при взгляде на которых сразу становилось ясно, что несчастье непременно случится. Когда графиню со сломанной ногой вытащили из-под опрокинутой коляски, она поклялась себе, что отныне будет прислушиваться к предостережениям Марии, но слова своего не сдержала. Когда летом

они садились в поезд на Берлин, чтобы добраться до Познани, Мария, уже сев, внезапно вскочила со своего места, схватила вещи, выпрыгнула и, громко крича, стала требовать, чтобы графиня немедленно вышла из поезда, который принесет им несчастье. Тогда графиня схватила зонтик и, высунувшись из окна вагона, стала больно лупить им Марию, но Мария стояла на перроне как вкопанная, не шевелясь, и графиня, яростно молотя ее, так вывернула себе руку, что ее, стенающую от боли, пришлось вывести на перрон. До следующего утра дело оставалось неясным, а утром все прочли в газете, что в Марконии сошел с рельсов поезд, и доктор Леви, сверившись с железнодорожным расписанием, установил, что именно в этом поезде и предстояло ехать графине и Марии, и тут уж ему пришлось признать, что произошло настоящее чудо.

Поползли пересуды. Но Марии трудно было в точности описать свои предчувствия. Провидицей она не была, у нее просто появлялось какое-то смутное чувство, которое она не могла объяснить. Иногда это было недомогание, которое длилось неделями, и Мария все время находилась в подавленном состоянии до самого момента несчастья, и после этого недомогание тут же проходило,

так что лишь потом становилось ясно, что оно означало, хотя за несколько часов до несчастья ее состояние настолько резко ухудшалось, что можно было определенно догадаться, когда оно случится. Или же озарения у нее возникали молниеносно, как это случилось в поезде, и тогда нужно было мчаться туда же, куда мчалась Мария, например на другую сторону улицы, а через секунду фургон с пивом врезался в прилавок ровно в том месте, где вы только что стояли.

Мария объясняла свои смутные чувства так: всеобщее несчастье, которое правит миром, вдруг начинало сгущаться вокруг нее. Ибо мир так или иначе казался ей постоянной, ежедневно и ежечасно повторяющейся катастрофой, воплощением хаоса, беспорядочными остатками незавершенного акта творения, где царили несчастье и разрушение, болезни и бедствия, страдания и смерть. Что такое счастье, она не знала. Чувство счастья было ей незнакомо, поэтому не было и предчувствий, которые указывали бы на радостные и приятные события. Радость и счастье всегда возникали только на фоне самых страшных ударов судьбы и были поэтому сомнительны, вызывали раздражение, казались обманной завесой, за которой скрывается несча-

стье. И если Мария с раннего утра порхала по дому, пела и смеялась от переполнявшей ее радости, она никогда не забывала добавить: «Пусть птичка утром радостно поет, под вечер в лапы кошке попадет».

Такими вот присловьями, запас которых был неисчерпаем, которые собирали и передавали из поколения в поколение, Мария сопровождала все события дня и ночи, ведь как только заканчивался день, сразу наступала ночь, а от ночи, кроме сна, ничего хорошего ожидать не приходилось, потом проходила ночь, опять начинался день, и было не угадать, что он принесет, оставались только предчувствия, и если верить этим предчувствиям, то ничего, кроме страшных событий, Марию впереди не ожидало. Защитой от таких событий могли служить только мудрость веков и меры предосторожности. Если дорогу перебегала черная кошка, нужно было немедленно повернуть назад, зайти в дом и начать весь путь сначала. Трубочист приносил несчастье, если шел тебе навстречу, но если он нагонял тебя, то надо было идти с ним в ногу, не отставать, и тогда через год ты найдешь клад, но при этом нельзя оглядываться на него через плечо, иначе на тебя немедленно обрушится несчастье. Если же в

ухе зазвенело, «в левом вести золотые, в правом — черные, худые», то надо быстро подумать о любимом человеке, иначе вскоре ты останешься на свете один-одинешенек. Кладбище можно обходить только слева направо и ни в коем случае не справа налево, но только в нечетные часы, в четные — нельзя, тогда мертвецы тебя не тронут. А если в дом прокрался черт и из-за этого то и дело бьется посуда и не сохнет белье, то надо в полночь взобраться на крышу и налить в каминную трубу святой воды, вот и все, тогда черт сто раз подумает, прежде чем еще раз заявиться в твой дом. А вообще черт в любом обличье остается чертом, и если в темноте идешь через лес, то «нужно язык попридержать да что есть мочи домой поспешать», — вставляла свое веское слово графиня. И если день проходил без больших неприятностей, что для Марии было настоящим чудом, то случалось это только благодаря волшебной защите и благословенному действию всех этих древних поверий, и усилить их можно было крестным знамением, призывая на помощь нужных святых или же Святую Марию Матерь Божию, а еще — многократно повторяя одно и то же заклинание, но говориться все должно точно, без ошибок и оговорок, тут если ошибешься, ска-

жешь не так, то слова не подействуют.

Всем этим присловьям конца и края не было, они рассчитаны были на всю долгую жизнь, и, вооруженная всем этим богатством, Мария, казалось, могла жить спокойно, но не успевала она с горем пополам пережить день, как начиналась ночь, а за нею опять день, и кто его знает, как оно обернется, разнообразные ужасы поджидали Марию на каждом шагу, но она не чувствовала себя несчастной, ведь она была исполнена решимости все на свете преодолеть, да и нрав у нес был стойкий, непреклонный, жизнь била через край, и до чего Мария любила всякие танцы, песни, на месте ей никогда не сиделось.

Все это у Марии уравновешивалось для нормального мыслящего человека совершенно непонятным и поэтому загадочным образом, в каких-то высших сферах, и равновесие между не такими уж важными повседневными делами и сутью своей жизни она находила в непостижимом, прямо-таки мистическом спокойствии. Судьба наверняка готовит ей еще немало испытаний, которые поставят под угрозу всю ее жизнь. Она это знала. Она это предчувствовала. Она бы не смогла все это выразить, но ощущала очень отчетливо. И тут было еще нечто такое, что никто

не смог бы себе представить, потому что у большинства людей не хватало для этого фантазии и никто особенно не задумывался о том, чего можно ожидать от человечества; и даже если люди задумывались об этом, то никто из них все равно не заглядывал так далеко, как эта сновидица в своих кошмарных видениях. Мария ожидала от этого мира только самого худшего, кто-нибудь другой, нося в себе подобные мысли, давно бы расстался с жизнью, но Мария нашла для себя точку гармонии. Да, она ожидала самого худшего, и пусть оно настает, все равно когда, ведь она знала, что оно настанет, и еще знала, что она с ним справится, что она справится с чем угодно.

Если заклинаний было недостаточно, она со свечой в руках отправлялась в часовню Штоффелер возле кладбища, на ту окраину Обербилка, которая находилась в низине, в то место между часовней и кладбищем, между крещением младенцев и погребением умерших, где царили чудеса и поверья, увечные и паломники, молва и женские пересуды. Нижняя окраина была противоположностью верхней окраине жилого квартала, где царили разум и рациональность, труд и производство, шум, лязг и огонь заводов, где правили мужчины.

Путь сюда из Кайзерверта был дальний, но часовня Штоффелер была посвящена четырнадцати святым чудотворцам. Когда-то раньше здесь хранилась щепка от креста, на котором распяли Спасителя, это тоже придавало часовне святости, но все-таки святые чудотворцы были для жизни важнее: Мария точно знала, кто из них в какой беде помогает, и понимала, чего просить у Ахатия, Эгидия, Варвары, Блазия, Христофора, Кириака, Дионисия, Эразма, Евстахия, Георга, Катарины, Маргариты, Панталеона, Вита.

Но это она делала только в самых крайних случаях, больше она ни за чем в церковь не ходила, она не бывала ни на службах, ни на исповеди, ни у причастия. Мария исповедовала свою собственную веру, которая была ближе к тому древнему священному польскому дубу, чем любая церковная колокольня из камня при всей ее древности и почтенности, несмотря на священный трепет, который она внушала. То, что она пользовалась святой водой, было своеобразной данью уважения, зато священники вызывали у нее скорее неприятное чувство, ведь она выросла среди шахтеров и видела, как они мылись дома в чане с водой, и приходилось тереть им грязную спину, поэтому попытка какого-то мужчины велеречиво

обращаться к людям, стоя перед самым алтарем и изображая эдакого ангела, казалась ей таким лицемерием, что она если и бывала в церкви, то садилась в самый последний ряд, и никакими силами нельзя было ее переубедить и уговорить сесть поближе. Все, кто ее знал, видели ее в церкви только в последнем ряду. Тем самым она избавлялась и от назойливых монахов, ходивших с церковными кружками, но, если кто-нибудь из них все-таки приближался и требовал у нее денег для церкви, одного взгляда Марии было достаточно, чтобы он поспешно ретировался.

У Марии был свой собственный бог, и все самое важное она решала с ним один на один, у нее была и своя собственная градация грехов, она знала, когда нужна была тихая молитва, а когда за невольную ложь приходилось расплачиваться тяжким трудом. Тут у нее никогда не было никаких сложностей, она была сама по себе, и никто не смог бы разобраться в этом сугубо личном храме веры, никто не понимал систему, по которой Мария строила свою жизнь и которая, согласно ее представлениям, состояла из труда, честности, скромности, порядочности и правдивости и в справедливости которой ни один человек и ни один священник никогда не мог ее упрекнуть.

Но свечка в часовне Штоффелер все равно в эту систему входила, такая помощь разрешалась в крайних ситуациях, в самых тяжелых случаях, и прежде всего Мария приходила сюда, чтобы воззвать к помощи Четырнадцати святых угодников. «Успокоительный чай из четырнадцати трав» — так однажды назвал эти походы доктор Леви, а Мария в ответ заметила, что умным людям часто недостает самого важного — способности понять суть вещей.

В те дни, когда Мария отправлялась в часовню Штоффелер, графине приходилось довольствоваться сухомяткой, потому что такой поход длился целый день, с утра до вечера, причем Мария времени не жалела и частенько шла обходными путями. Например, она по пути всегда навещала колонну Девы Марии возле церкви Святого Максимилиана. Дева Мария одиноко стояла на мощной, высокой колонне, скрестив на груди руки, словно ей было холодно, она стояла слишком высоко и была недосягаема для взывающих к ее помощи, длинные волосы ниспадали на плечи и спину, и венец из остроконечных звезд сиял у нее на голове. Она смотрела вниз, на землю, от которой люди ее оторвали, смотрела почти вертикально вниз, и, если встать у самой

колонны и поднять голову вверх, можно было сразу погрузиться в мир видений, потому что лицо Девы Марии смотрело тогда прямо на тебя, а если на небе быстро бежали облака, то фигура святой начинала двигаться, она парила над тобой, улетая вместе с облаками, голова начинала кружиться, и можно было, теряя равновесие, так и свалиться на землю. Мария всегда стояла и смотрела до тех пор, пока не пошатнется, и в самый последний момент перед падением ей все-таки удавалось удержать равновесие. Ей это очень нравилось.

9

Магазин Вильгельмины в старой части Дюссельдорфа теперь уже лишь смутно напоминал о прежних блистательных временах изобилия товаров. Пылью пахли пустые полки, касса не издавала больше энергичного звона и ржавела где-то в углу, музыкальные колокольчики, звеневшие когда-то у входных дверей, давно уже перекочевали к старьевщику. Того, в чем люди теперь отчаянно нуждались, у Вильгельмины не было, а прочие товары стали для них никчемным хламом, и их никто не покупал.

Поэтому Вильгельмина превратила тайные ночные соблазны военного времени в официальное послевоенное предприятие, она стала продавать лепешки из тертой картошки. Нанятая ею работница чистила и терла картошку, Вильгельмина швыряла сырое тесто на раскаленную сковороду, добавляя лишь маленькую капельку жира, и продавала горячие лепешки прямо с пылу с жару. Все это она делала в задней, подсобной комнате, а магазин служил лишь прихожей, из которой все проходили к горячей плите. Чтобы привлечь покупателей, Вильгельмина держала

дверь магазина открытой, надеясь, что запах картофельных лепешек распространится по улице и привлечет голодных. Запах, конечно, распространялся и подманивал многих, но денег в карманах у голодных не становилось от этого больше, поэтому и оборот не возрастал.

Вильгельмина сентиментальностью не страдала и считать умела. Она махнула рукой на магазин и, недолго думая, выскочила замуж за хозяина одного респектабельного ресторана в старой части Дюссельдорфа, который давно уже не просто, как говорится, глаз положил на ее фигуру, нет, оба глаза положил. Теперь Вильгельмина ночи напролет простаивала за совсем другой стойкой, теми же округлыми механическими движениями крутила блестящие, никелированные краны пивной раздачи, ловко и привычно наливала за день сотни кружек темного пива, элегантным движением двигала их по стойке, плавным движением руки доставала у себя из-за спины бутылку со шнапсом и выверенным движением, поглядывая метким взором, наполняла маленькие рюмки: одна порция, двойная, тройная. Поглядывая из-за стойки, она царила в пивной, как когда-то в своем магазине, и очень скоро бесшабашная толпа студентов и худож-

ников окрестила ее «мамочкой», потому что за кровяную колбасу, именуемую здесь «фленц», за «ольк», то бишь лук, и за рогалики — местные булочки — она разрешала расплачиваться картинами.

Вам помочь был здесь таким же завсегдатаем, как и отец Абрахам. Вампомочь гордо ковылял теперь, стуча деревянной ногой, приобретенной после похорон одной вдовы, которая потеряла на войне троих сыновей и от отчаяния выбросилась из окна, он же сам так расстроился, что слезы застлали ему глаза, и он угодил под собственный катафалк. Он рассуждал теперь значительно меньше, зато пил гораздо больше. На скромные добропорядочные похороны спроса уже не было, в моду вошли пышные погребальные церемонии, людям хотелось потратить побольше денег: чем хуже жизнь, тем помпезнее похороны, и, прожив всю жизнь без Бога и Церкви, требовали непременно, чтобы у гроба был священник. Вампомочь не понимал всей этой «похоронной роскоши», и лживые надгробные речи были ему противны.

Отец Абрахам служил теперь сторожем в большом универмаге, и по ночам, в дни дежурства, когда он бродил среди мертвых товаров, которые для кого-то были жизненно важны, у него было

много свободного времени, чтобы как следует поразмышлять об отсутствии справедливости, представавшем его взору во всей красе: с одной стороны — ценники, висевшие на каждом товаре, а с другой стороны — безработные, которые спали на вентиляционных решетках около освещенных витрин, пытаясь согреться теплым воздухом, поступавшим из подвала. Теперь он с особым интересом углубился в чтение Гражданского и Уголовного кодексов и читал эти книги, то и дело с досадой мотая головой, и постепенно к нему все чаще и чаще стали приходить доверители, чье дело в суде казалось безнадежным, им вот-вот должны были объявить обвинительный приговор, но в его глазах они были невиновны, им просто не хватало алиби. Для отца Абрахама, который просто не мог представить себе, что есть люди, которые лгут, эти случаи были подтверждением тому, что законы несут людям одну только несправедливость, что вовсе не люди, а сами законы виноваты в том, что невинных людей осуждают как преступников. Он старался досконально разобраться в каждом случае, и если приходил к выводу, что потерпевший по всем законам жизни невиновен, то по зрелом размышлении просто сам находил для этого

человека нужных свидетелей, в крайнем случае и сам выступал в качестве свидетеля в пользу несчастного, ибо справедливость он ставил превыше всего, тут его убеждения совершенно не переменились, а под клятвой в суде он понимал нечто такое, что призвано в критической ситуации защитить человека от произвола закона.

Густав и Вильгельмина теперь реже виделись. Густав жил у Фэн как у Христа за пазухой, а все его заумные философствования терпели фиаско, разбиваясь о ее здравый смысл, и Густав не возражал, потому что Фэн по-своему была права. Ведь она выросла в Обербилке, в том мире, где мерилом мышления была повседневная жизнь. Все, что не имело отношения к сегодняшнему дню, то попросту не существовало, и никакой учитель, никакой священник, никакая газетная статья не могли поколебать эту убежденность — даже сам Густав не мог. «Что есть, то есть, а чего нет — на то и суда нет». Это была та философия, которую приходилось признать, ибо она аналитически безупречно в одной фразе формулировала тот факт, что между словом и делом есть разница. Каждое утро с восходом солнца становилось ясно, как на самом деле выглядит мир, как на самом деле живут люди и что они в действительности

думают, и, трезво поразмыслив, можно было понять, что определяет поступки людей. А когда солнце близилось к закату, люди брали в руки газету или слушали радио и, узнав, что сообщается о событиях дня, начинали думать, что все эти сообщения приходят к ним не иначе как с Луны, настолько далеки от реальности были эти слова. Густав, который по отношению к миру и людям никаких иллюзий не питал, был тем не менее эдаким романтическим идеалистом и называл философию Обербилка беспощадным, немилосердным реализмом, циничным сарказмом, лишенным полета, когда люди не верят даже тому, что Земля вертится, и когда каждый человек для них — просто голая тварь. Фэн коротко отвечала, что жизнь есть жизнь, а все остальное — это одни только слова и кто верит словам, тот, значит, просто выпендривается.

Всякий раз, сказав эту фразу, Фэн долго и выразительно смотрела на Густава, и если по всем признакам Густав ничего отвечать не собирался, то она подтаскивала к окну свой соломенный стул, клала длинные ноги на подоконник и подставляла лицо солнцу. Фэн выглядела словно Кармен на пачке сигарет с таким же названием: ее черные жесткие волосы, заплетенные в косу,

были откинуты за спину, а спокойный взгляд, волевое лицо с резко очерченными скулами, крупные руки вдохновили бы любого дюссельдорфского художника к созданию полотна «Андалузская крестьянка». Однажды Обронски и Болье уговорили ее сыграть цыганку с трубкой в зубах в какой-то венгерской оперетте, которую ставил Дюссельдорфский музыкальный театр, потому что настоящие цыгане наотрез отказывались выступать на сцене. С актерской карьерой ничего не вышло, потому что Фэн, которая говорила только на дюссельдорфском диалекте в его обербилкском варианте и считала его немецким языком, на премьере зацепилась на сцене за тюк сена и отпустила по этому случаю громкий комментарий, равного которому публика во время представления венгерской оперетты еще не слыхивала. Фэн была дочерью сицилийца и словенки, своих родителей никогда не видела, ее удочерил дворник Якоб, а выросла она у бабушки Тинес.

Бабушка Тинес жила в мансарде, лет ей было как минимум сто, по крайней мере она всех в этом уверяла, и считалась полноправным членом семьи не только потому, что приняла и вырастила Фэн, но и по той причине, что душа ее была

открыта для всех, она всегда была готова помочь и делом, и советом, утереть слезы, успокоить, найти добрые слова и уверить в том, что мир отнюдь не так плох, каким он являет себя каждый день во всех своих мерзких проявлениях. Она жила, опираясь на свой ясный, открытый навстречу людям разум, с любвеобильным сердцем, и мудрость прожитых лет подсказывала ей, что основные невзгоды ее собственной жизни уже позади. Она ютилась под кривой крышей, окруженная неугомонными цыплятами, маленькими желтыми пуховыми комочками, которые суетились на полу возле теплой плиты, потому что из закутка рядом со своей комнатой она устроила курятник, и он каждый день приносил ей свежие яйца, а раз в неделю — курицу на суп. Яйца она выдерживала в меду и ела их в таком виде, ведь если питаться такими вот медовыми яйцами, можно прожить как минимум до ста лет, что и подтверждалось ее примером. Кроме того, от всех недугов у нее обязательно находилось наилучшее средство. Если болели уши, помогали ватные жгутики с теплым оливковым маслом, если болело горло, надо было завернуть в платок горячую вареную картошку и обернуть вокруг шеи, при судорогах помогал дым от горящего гусиного пе-

ра, который надо было вдыхать, если были тесны башмаки, в них нужно было налить мочи и так оставить до утра. Многие женщины Обербилка тайком приходили к ней за советом: она могла приставить ухо к животу и сказать, кто должен родиться, мальчик или девочка, карты говорили ей, получится ли из жениха достойный супруг, во время войны она привязывала обручальные кольца к волоску жены и держала волосок над портретом мужа, который был где-то далеко на фронте. Если кольцо вращалось вокруг портрета по кругу, это означало, что муж жив, если же оно начинало раскачиваться туда-сюда, значит, он погиб. Иногда она толковала все ровно наоборот, потому что при виде женщин, сидевших рядом с нею с испуганными глазами, переводя взгляд с кольца на портрет мужа и обратно, сердце у нее разрывалось от жалости, ведь в конце-то концов правда существует не для того, чтобы делать людям больно.

Жанно, Элизабет и Фридрих подрастали, и рядом с ними были Густав и Фэн, Якоб и бабушка Тинес, добряк Герман и Вильгельмина, при этом никто персонально не занимался их воспитанием, о них заботились все, у кого руки доходили, и кто во что горазд. Фэн кормила их и одевала,

Густав внушал им философский взгляд на мир и анархистские убеждения, бабушка Тинес выполняла роль доброй старушки советчицы, и к ней они шли со своими детскими бедами, Вильгельмина при всякой необходимости снабжала их деньгами, Якоб рассказывал им сказки обо всех богатствах мира, собранных с помощью его метлы и возвращенных владельцам, а добряк Герман помогал им делать уроки, да и сам попутно узнавал что-нибудь новенькое.

Так что родителей в общепринятом смысле слова у них не было, никто не следил за тем, чтобы они прилично себя вели, чтобы были опрятно одеты, никто не спрашивал, чем они сейчас заняты и что собираются делать, никто не интересовался, откуда у них деньги. Поскольку во всем этом семейном клане каждый делал то, что хотел, и то, что ему вздумается, — все трое росли в обстановке максимальной свободы.

Никто не заметил, как Жанно отправился в Базель, чтобы повидать своего родного отца. Эта мысль пришла ему в голову прямо на главном городском вокзале, когда он всего-навсего собирался ехать в Кельн. То, что Жанно исчез, семья заметила только через четыре дня, когда пришло письмо из Базеля. Жанно всегда был тихим и

замкнутым, ранимым и неразговорчивым, любил уединяться и вел свою, особую жизнь. Над его кроватью висели все фотографии матери, которые он только смог собрать, и он считал, что все они принадлежат ему. Портреты в черных, золотых и серебряных рамках, роскошью напоминавшие церковный алтарь, и с каждого улыбается Ивонн, тут же болтались украшения, которые она когда-то носила. Густав, который в обращении с Элизабет и Фридрихом бывал порой груб и прямолинеен, проявлял в отношениях с Жанно странную робость. Увидев Жанно, он видел глаза Ивонн и тут же умолкал. Если бы Ивонн не повстречалась ему в Женеве, то она была бы до сих пор жива, — вот какие потаенные мысли вертелись у него в голове, но вслух об этом он никогда не говорил, и вообще эта тема была под запретом. Как и сам Жанно. Жанно позволялось делать все, что он хочет, и он молчаливо существовал в своем собственном мире.

Во втором письме из Базеля сообщалось, что Жанно намеревается обучаться на золотых дел мастера на ювелирной фирме своего родного отца. Густав считал, что не имеет никакого права препятствовать его желанию, ко всеобщему удивлению, смахнул со щеки слезу и что-то пробор-

мотал про лицо Ивонн, таким его раньше никто не видел, но затем, чтобы снять неловкость, он прикрылся фразой: «Умелые руки — золотое дно». Учитывая его собственные несвершившиеся прожекты, можно было считать произнесенные слова плодом его горького жизненного опыта, и его детям, Фридриху и Элизабет, еще предстояло ощутить этот опыт на себе.

Элизабет, голубоглазая блондинка, симпатичная, пухленькая, была настоящей бестией, как называл ее Густав. Смешливая, задорная, всегда сияющая, она без всякого труда могла выжать из себя слезы, которые крупными каплями катились по щекам, производя впечатление безутешного горя, и вот так, смеясь и плача одновременно, она добивалась чего угодно. Когда какой-нибудь, выражаясь языком Фэн, «плюгавый кавалерчик» в лаковых штиблетах и лайковых перчатках заходил за нею, чтобы сопроводить на танцы, Густав высовывался из окна и орал ей вслед: «Веди себя как положено, а то башку намылю!» Элизабет сияла, улыбалась и рыдала, и все сходило ей с рук. А если ее ловили на какой-нибудь хитрости, то она немедленно разыгрывала святую невинность и притворялась простофилей. Тогда она вела себя как сущий ангелочек. Помимо

этого, у маленькой Эльзхен обнаружилась тяга к высшему обществу, к соблюдению приличий, она хотела быть настоящей дамой, а сведения черпала в иллюстрированных журналах, первым эту тягу ощутил на себе Фридрих. «Веди себя прилично», — шипела она, если Фридрих стоял рядом с ней, засунув в карман даже одну руку. «Веди себя прилично», — шипела она за обедом, если Фридрих наливал себе тарелку до самых краев. С накрашенными ногтями и завитыми волосами, она сидела за столом и, стараясь держаться прямо и изящно, упражнялась в умении есть устрицы, к ужасу Фэн, которая никогда в жизни такого не видала. Когда белокурые кавалеры Эльзхен, с орхидеями в петлицах, теперь уже шпалерами стояли под домом, не спуская глаз с окон, Густав объявил свою знаменитую панацею, которая помогала от любой дури: «Умелые руки — золотое дно», пусть Элизабет отправляется учиться на портниху. Поскольку ей, баловню судьбы, как обычно, повезло, то она сразу оказалась в знаменитом Доме мод недалеко от Кенигсаллее, и уже через несколько месяцев ее обучение портновскому мастерству прервалось. Среди тканей, платьев и модных моделей она чувствовала себя как рыба в воде и начала сама предлагать эски-

зы моделей и подыскивать нужные ткани, это доставляло ей огромное удовольствие, у нее обнаружился талант, а поскольку сам молодой хозяин модного дома поощрял ее попытки, она вскоре, оставшись после работы, сочинила вместе с ним целую коллекцию на следующий сезон.

Фридрих, с курчавыми волосами и, по мнению Густава, почти римским профилем, нос и подбородок словно на старинной медали, сообразительный, все схватывающий на лету, с насмешливым взглядом умных глаз и приветливой улыбкой, ничего в этой жизни не боялся, ему уже ребенком слишком много пришлось пережить. Небольшого роста, подвижный, сильный, отчаянный сорвиголова и проныра одновременно, Фридрих мгновенно ориентировался в любой ситуации, быстро реагировал на перемены, сразу ухватывал суть вещей, скрывавшуюся за словами, он был, как нарочно, создан для тех времен, когда на человека, ведущего размеренный образ жизни и имеющего постоянную работу, смотрели как на бога. Фридрих везде умел пристроиться, всюду находил спасительную лазейку, всегда умудрялся разнюхать местечко, где можно подзаработать, то здесь поднесет, то там подсобит, и вечно вел какие-то мелкие торговые делишки;

если людям срочно что-то требовалось, то они просто спрашивали Фридриха, и почти всегда Фридрих мог все достать. Еще в раннем детстве он постоянно ходил на добычу вместе с Фэн, он с малолетства знал, как все в жизни устроено и на что бывают способны люди, если хотят выжить. И то, что он повидал, подействовало на его взгляды; его легкомысленная жизненная позиция: «Завтра хоть потоп» — сформировалась очень рано. Что будет завтра, он себе представить не мог, завтра было для него столь же далеким, как страны Востока, сказочно далеким. Кто его знает, что будет завтра, ни один человек не знает, оставалось только безнадежно махнуть рукой. Жизнь заключалась только в том, что есть сегодня, «что есть, то и есть», синица в руке, а за журавлем пусть другие гоняются.

Он быстро соображал и быстро считал, поэтому в каждой сделке победа бывала обычно на его стороне, но он все равно пользовался всеобщей симпатией. Порой ему случалось, сохраняя вполне дружелюбный вид, влепить кому-нибудь затрещину, но всерьез на него никто не обижался, наоборот, его любили еще больше, ведь какие россказни можно было об этом распустить, о том, как будто бы он, как честный человек, подбил ко-

му-то глаз, тому, кто пытался его надуть, а когда его призывали к ответу, он лишь вежливо отвечал: «А вы что, не заметили, что он мухлюет?» Все истории о нем заканчивались присказкой: «Ну, на него сердиться нельзя» — и, несмотря на всю его ветреность, друзей у него было хоть отбавляй. Он знал каждого, он знал, где что можно достать, а где что продать, он был гениальным продавцом, и, поскольку он был так ловок, всякий, кому требовался помощник в магазине, в первую очередь думал о Фридрихе. Он приходил, за один день осваивался настолько, что уже через неделю мог сам успешно вести дело. Однако эта феноменальная способность быстро входить в курс дела и разбираться в нем омрачалась, к великому сожалению, тем, что через две недели он уже начинал подыскивать себе новое занятие, начинал интересоваться уже чем-то другим, ибо то, чем он в данный момент занимался, теперь было ему известно, и он начинал скучать и предпочел бы заняться чем-то другим. Он был перекати-поле, то здесь, то там, и везде его любили, всюду ему были рады, он был всегда под рукой, только на свой лад, и к тому же он был рубаха-парень и тратил деньги так же легко, как и зарабатывал, всегда в компании друзей.

Он обладал поразительной способностью входить в положение каждого человека, внимательно выслушивать любого, соглашаться с ним, вникая в его взгляды и воспринимая всерьез его образ мыслей, поэтому в душе этих людей теплилась благодарность, им казалось, что они наконец-то встретили понимающего человека, который воспринимает всерьез их самих и их взгляды. Для Фридриха, который с молоком матери на всю жизнь воспринял в родном Обербилке неумолимое ощущение реальности, абсолютную трезвость по отношению к людям и миру, все эти люди были невинными болтунами, милыми безумцами, неповинными в том, что никто не объяснил им, как все в мире на самом деле устроено, и поэтому теперь с ними приходилось обращаться как с неизлечимо больными, терпеливо их выслушивать, оберегать их от слишком ясных мыслей, защищать их от реальности, ведь они были так счастливы, лелея свои сумасбродные взгляды, а если и страдали иногда, то ни за что бы не согласились расстаться со своими страданиями. Кто имел право их переубеждать? И какие убеждения надлежало им внушать? И где в таком случае истина? Фридрих очень рано понял, что большинству людей необходимо ка-

кое-то конкретное представление о мире, пусть даже ложное. Если они к тому же во все это свято верили, тем лучше. Сам он безо всякого труда мог освоиться в любой действительности и любую действительность мог себе представить, потому что знал, что это всего лишь мысленное представление, которое не имеет к реальности никакого отношения, тут у него была прививка на всю жизнь, поэтому он мог безо всякой опасности для себя вдумываться в забавный ход мыслей других людей, хотя он был немало удивлен, узнав, какие непостижимые хитросплетения мыслей наглухо застряли в иных головах, сколько там всякого тумана, который мешает людям просто и ясно видеть и слышать мир, открытый их глазам и ушам. Но этот мир можно было толковать очень по-разному, у каждого имелась своя уникальная интерпретация, рассказ о которой всякий раз завершался словами: «Разве я не прав?» И Фридрих отвечал: «Конечно прав» — и при этом заговорщически подмигивал другому приятелю, стоящему рядом, что означало: разумеется, прав ты, а не он.

Густав довольно долго все это наблюдал, а потом применил свой знаменитый тезис: «Умелые руки — золотое дно». Фридрих пошел учиться на

токаря. Профессия не интересовала его совершенно, он скучал смертельно, но выдержал целый год, а потом взял лист железа, выгнул из него маленькую неандерталку с выпуклыми формами и подарил ее мастеру, за что в тот же день был уволен. Дома Фридрих делал вид, что по-прежнему ходит учиться токарному делу, рано утром он выходил из дому, вечером возвращался, а весь день проводил, лежа на травке в городском саду и греясь на солнышке, и собственное будущее его нимало не заботило.

Однажды летом, лежа в послеобеденный час рядом со своим велосипедом, он приметил на соседней лужайке толпу людей, которые суетились вокруг большого темного ящика на тонких ножках. По одну сторону ящика прыгали люди с сильно накрашенными лицами, в париках и костюмах прежних веков, они спорили, бросались друг другу в объятия, целовались и каждые четверть часа повторяли все сначала. По другую сторону ящика стояли возбужденные мужчины, которые что-то кричали в жестяные рупоры, размахивали руками, то и дело подходили друг к другу. Они отличались от первой группы только тем, что на них не было таких старинных костюмов, но и они каждые четверть часа обнимались,

поздравляли друг друга и, казалось, занимались чем-то необычайно важным, хотя издалека никак нельзя было понять, в чем же заключается важность всех этих разнообразных действий.

Внезапно вид заслонил собой грузный человек во фраке, поверх которого был накинут красный шелковый плащ, он вручил ему тяжелую жестяную коробку и адрес и произнес сиплым шепотом: «Возьми велосипед и отвези это немедленно по адресу. После вернешься и подойдешь ко мне. Я снимаю кино. С этого момента ты назначаешься ассистентом режиссера».

«С этого момента», согласно любимому выражению режиссера, Фридрих вошел в «съемочную группу», так называлась эта толпа людей. Режиссер, который до того был циркачом и выполнял смертельные прыжки через огненный обруч в бочку с водой, причем с любой высоты, сохранил с тех времен свой красный шелковый плащ и теперь в новом качестве делал все, что было в его силах, и по-прежнему прыгать головой в огонь было его основным занятием; на любой вопрос относительно гонорара или зарплаты он отвечал всегда одинаково: «Фантазии, фантазии, фантазии» — и никогда не забывал добавить, что он гордится своей съемочной группой. Он

снимал кино под девизом: «У тебя все получится» и нужных людей попросту выуживал на соседней улице, говоря им торопливо: «Вы ведь так мечтали сняться в кино, я вижу»; он попеременно назначал их то на главные, то на второстепенные роли, а если они не очень соответствовали его представлениям, то тут же становились осветителями или ответственными за реквизит, и только оператора он не мог увольнять и переназначать — большой темный ящик внушал ему ужас, он не знал, как с ним обращаться, и для него было полной загадкой, как в нем получается кино. Как режиссер он знал только одно: все, что он велит делать актерам, должно происходить прямо перед этим агрегатом, если же они увлекутся и сместятся слишком сильно влево или вправо, то они выйдут из кадра, и на это зря потратится пленка, а значит, и деньги, следовательно, таких ситуаций следует избегать. Поэтому в то время, когда перед камерой разыгрывалась сценка, он всегда стоял позади камеры и непрерывно кричал: «Оставаться в кадре!» Позже он стал называть все это режиссурой и после каждого отснятого эпизода принимал поздравления. С тех пор слово «режиссер» окончательно вошло в обиход среди своих и утвердилось как обозначение

совершенно никчемного человека.

Сногсшибательной кульминацией всех его картин было падение с лестницы, без которого не обходился ни один фильм и которое он исполнял лично. Посреди лужайки стояло сооружение, изображавшее лестничный пролет, режиссер взбирался на лестницу, добравшись до верха, сосредоточивался, делал знак оператору, тот начинал крутить ручку камеры, и режиссер падал с лестницы во фраке и красной накидке: он катился вниз По ступенькам и — в этом заключалось все его мастерство — умудрялся при этом не уронить с головы цилиндр. Сцена была впечатляющей и поражала зрителей в каждом его фильме. Когда оператор, которому режиссер задолжал зарплату уже за несколько месяцев, заставил его трижды подряд скатиться с лестницы, каждый раз с искренним сожалением говоря: «Шеф, опять, к сожалению, не успел снять», между изрядно уже помятым режиссером и оператором произошла драка, которую вся съемочная бригада дружно принялась снимать на пленку, и снимала до тех пор, пока пленка не порвалась. Это была одна из главных кульминаций всего съемочного процесса, как позднее признался и сам режиссер. Другая кульминация произошла как раз в тот самый

день, когда снималась заключительная сцена счастливой развязки, и в последнюю секунду хеппи-энда, когда герой заключил в объятия спасенную невесту, явился судебный пристав и наклеил на камеру и на все, что стояло вокруг нее, маленькие ярлычки, таким образом лишив хеппи-энда не только этот фильм, но и все последующие.

Фридрих, который под лозунгом «У тебя все получится!» быстро поднялся по должностной лестнице от курьера, отвозившего кассеты с пленкой в проявочную мастерскую, далее побывав осветителем и ассистентом режиссера, до руководителя съемок, причем все это за пять дней, то есть за два отснятых фильма, теперь в качестве заместителя режиссера и ответственного за прокат сидел уже в своем бюро, которое находилось прямо над кинотеатром «Аста Нильсен» и вся обстановка которого состояла из одного только плаката: «Дюссельдорф станет городом кинематографа!». Крах кинокомпании отнял у него прекрасную мечту. Он целыми днями просиживал в кино, смотрел все фильмы, которые шли в городе, он был в полном восторге от этого волшебного преображения, когда действительность превращается в кинофильм. Как бы хотел

он перенести на экран те тысячи миров, которые роились в головах людей, показать их всем, но мечта осталась мечтой, а действительность — действительностью.

Когда Густав прознал, что обучение давно закончено, он посмотрел на Фридриха долгим взглядом, а потом сказал: «Ну что ж, приглядись, может, найдешь себе что-нибудь по душе». Фридрих начал приглядываться и нанялся сначала на пивоварню, сидел рядом с водителем в кабине массивного фургона с пивом, который тянули два бельгийских тяжеловоза, страшно неповоротливые. Он разносил маленькие бочонки по пивным, а большие бочки сбрасывал сначала на подушку, потом скатывал через люк в подвал, со всеми хозяевами вскоре перешел на «ты», везде его угощали пивом и шнапсом, на свой страх и риск он попробовал заняться еще и перевозкой муки, наняв в пивоварне упряжку лошадей, стал возить мешки с мукой с мельницы по пекарням, таскал двухсоткилограммовые мешки, но не учел, что корм для двух лошадей стоит в день довольно дорого, бросил это дело, потом несколько недель таскал мебель, помогая разным семьям при переезде на другую квартиру, волочил тяжеленные шкафы с четвертого этажа одного дома

вниз, а затем на четвертый этаж другого дома наверх, вскоре получил предложение поработать управляющим в ночном питейном заведении, но и оттуда ушел через пару недель, потому что ночные подсчеты кассовых чеков ему смертельно надоели, снова переключился на торговлю, стал составлять смеси травяных настоек для аптек и уже мечтал о том, что купит во Франции лавандовые плантации и будет поставлять лаванду производителям духов, но потом отправился вдруг на ярмарку торговать жареным миндалем, познакомился мимоходом с изготовителем ламп и принялся гнуть проволоку для абажуров, через неделю бросил эту скучную работу и устроился в магазинчик, торговавший жареным кофе. Здесь ему понравилось, для каждого покупателя он умудрялся подобрать зерна нужной кондиции, и он всерьез начал уже подумывать о том, чтобы выкупить заведение, но тут хозяин сообщил ему, что весь в долгах. Потом он работал на Карлсплатц, где располагался городской рынок, стоял за прилавком, где торговал гусями, утками, курами, яйцами и сливочным маслом, благодаря ему оборот быстро удвоился, ему удавалось продать даже самую старую птицу, он действовал убеждением и вел с хозяйками непрерывные

доверительные беседы, которые очень способствовали торговле, он все время зарабатывал деньги и тут же их тратил, потому что в городе теперь не было ни единого человека, который его не знал бы, он со всеми был на «ты», а кабаков вокруг рыночной площади было пруд пруди.

10

Графиня лежала на возвышении в бронзовом гробу, Мария сидела около гроба, выпрямившись, застыв, не шевелясь. Она обмыла графиню, обрядила ее в приготовленную на этот случай особую льняную рубаху и с помощью парикмахера уложила ее в гроб.

Теперь она сидела у открытого гроба, в изголовье, на маленькой табуретке без спинки и весь день вежливым кивком головы отвечала на скорбное бормотание друзей и знакомых, подходивших к изножью гроба, — так, словно она была дочерью и единственной наследницей и вдобавок ко всему новой госпожой в этом доме.

Она и ночь провела у открытого гроба, несла ночное дежурство возле покойной, сменяла оплывшие свечи, которые в четырех массивных серебряных подсвечниках стояли вокруг гроба и от которых переменчивые тени метались по всей комнате, а все остальное время молча сидела на табурете, смотрела на тени, плясавшие по стенам, то разделяясь, то вновь соединяясь в своем неверном танце, провозглашая жизнь, будя воспоминания. Она думала о тех, прежних

дежурствах у гроба в домах шахтеров, которые лежали в грубых дощатых гробах; наскоро обмыв, их прямо в шахте положили в гроб, так что туда насыпался уголь, она вспоминала старинные истории о кладбищенских памятных торжествах в честь умерших, эти дни на польских кладбищах отмечали целыми семьями, вспоминала историю о пустой могиле, из которой восстал некогда один из Лукашей.

В утренних сумерках тени померкли, и воспоминания уступили место дневному ритуалу. Гроб закрыли, графиню повезли на отпевание в церковь, Мария первой шла за гробом, во время отпевания она тоже стояла в первом ряду и неподвижно наблюдала за ходом церемонии.

После отпевания тяжелый гроб подняли на катафалк, Мария следила за тем, чтобы погрузили все венки, потом села в такси и поехала следом за черным катафалком, который медленно продвигался по улицам, и в окошечко черного фургона могла видеть бронзовый гроб графини. На грузовом вокзале гроб втащили в товарный вагон, Мария подписала накладную, обозначив место назначения: «Поместье Лукашей под Познанью близ Бомста», двери задвинули и запечатали пломбой, еще два часа Мария прождала возле

закрытого вагона, она стояла одиноко, терпеливо и совершенно спокойно, наконец вагон дернулся, лязгнул и покатился по рельсам прочь. Мария поспешила домой, ведь во время погребения дом ни в коем случае нельзя оставлять совсем пустым, иначе мертвецы вернутся назад, об этом она узнала, когда была еще совсем маленькой, поэтому парикмахеру велено было не ходить в церковь, он сидел взаперти и охранял дом. Придя домой, она обнаружила его у входных дверей в мундире польского улана, с саблей наголо.

Мария продолжала вести хозяйство, как будто графиня была жива. Она не отменила ни одной из своих обязанностей, настояла даже на том, чтобы продолжались воскресные торжественные чтения из польской истории, как доктор Леви ее ни отговаривал, и парикмахер по воскресеньям скучным голосом продолжал читать эти старые, надоевшие истории тем знакомым графини, которые по-прежнему приходили в дом. Мария отвечала теперь за дом, никто не смел ей перечить, она присматривала за всем, ничего не разрешалось менять, все должно было остаться на своем месте, и делала она это не только из благодарности, хотя, разумеется, и по этой причине тоже, она всегда помнила о своей графине,

она никогда не забывала о том, чему она у нее научилась, что узнала, но прежде всего она делала это из чувства долга, поэтому она и осталась, она знала, какова ее задача, она исполняла долг перед графиней, ей надлежало вести дом, пока брат графини не примет свое решение.

Решение пришло в письме из Познани, брат постановил продать дом, она передала письмо маклеру, потом водила по дому покупателей и, наконец, присутствовала при заключении договора купли-продажи.

На следующий день, когда новые владельцы переступили порог дома, Мария упаковала свои вещи в корзину с крышкой, добавила к прежним реликвиям благословленные самим Папой коралловые четки, как-то подаренные ей графиней, погрузила корзину на тележку и повезла ее к доктору Леви, который предложил Марии вести его хозяйство. Доктор Леви до смерти перепугался, увидев Марию, которая внезапно, без всякого предупреждения явилась у него на пороге, и сказал, что мог бы прислать за ее корзиной носильщика, но Мария ответила, что это ее личное дело и что она не хотела никого затруднять. Она перетащила тяжелую корзину в свою комнату, распаковала вещи, а уже через два часа подала

доктору Леви обед.

Доктор Леви уже давно вел частную врачебную практику в старой части Дюссельдорфа, недалеко от площади Карлсплатц, откуда с раннего утра начинал доноситься шум и гомон рынка. Он знал все болезни своего квартала, знал беды людей, он видел их рождение и их смерть, наблюдал крушение браков и безработицу, измерял давление и выстукивал легкие. Из его рабочего кабинета открывался вид на улицу, ведущую прямо к Рейну, и вереница газовых фонарей выстроилась вдоль нее в парадном строю, все на одинаковом расстоянии друг от друга, а из приемной виднелся вход в подвал соседнего дома, там всегда играл какой-то ребенок, который, увидев в окне доктора, неизменно показывал ему язык.

Его приемную нельзя было назвать прибежищем скорбящих, но постоянное зрелище болезней и невзгод с годами сделало доктора чувствительным меланхоликом, он смотрел на человечество с невольным скепсисом и ради отвлечения по вечерам читал Гёте. У него было знаменитое издание, выпущенное по повелению великой герцогини Софии Саксен-Веймарской, он постепенно достал себе все 133 тома, и они заменяли ему мир, были его опиумом, его пуленепробиваемой защитой

на этом свете. Он не просто читал, он произносил строки вслух, чтобы ощутить речь, звучащую в пространстве, он сидел наедине со звуком своего голоса, освещенный настольной лампой, громко декламировал стихи, читал себе вслух романы и пьесы, наслаждался «Прологом в театре», диалогом Фауста и Мефистофеля, стихами о природе, благозвучием речи в романах, он декламировал ночи напролет и на следующее утро начинал прием, находясь еще во власти прекрасных открытий минувшей ночи, которые помогали ему пережить кое-какие открытия предстоящего дня, позволяя надеяться, что за всем тем, что он ежедневно слышал и видел, скрываются движения разумной человеческой души. Язык литературы уводил его в некий несуществующий мир, он порождал в нем обманчивую надежду, за которую потом он заплатит жизнью.

С холостяцким хозяйством доктора Мария управлялась безо всякого труда, в воскресенье у нее был выходной, а доктор Леви шел в гости или же готовил себе сам; раз в месяц приходили поочередно то господа из Общества любителей искусств, то из Филармонического общества, и к этому она тоже быстро привыкла.

Если ночью доктор Леви не ложился и сидел

в кабинете за своим большим письменным столом, под настольной лампой, положив перед собой стопку голубоватой бумаги и записывая толстой автоматической ручкой какие-то свои, как он выражался, «никому не нужные мысли», или же часами сидел у окна, глядя на строй газовых фонарей, уходящий вдаль вдоль ночной улицы, — Мария тоже не шла спать, не уходила в свою комнату, она сидела на кухне и ждала. Доктор Леви тщетно пытался уговорить ее пойти наконец-то спать, она только отрицательно мотала головой; если он не спит, она тоже не будет спать, а вдруг он захочет горячего кофе. Доктор Леви втолковывал ей, что раньше он ведь и кофе варил сам, но никакие аргументы на Марию, как известно, не действовали, — по своему обыкновению, она делала все согласно каким-то одной ей известным законам. Ведь теперь она здесь, отвечала Мария, и если господин доктор Леви пожелает ночью выпить кофе, то это ее забота. Доктор Леви сдался и теперь частенько просил принести ему кофе в кабинет, потому что никак не мог смириться с тем, что Мария сидит там, на кухне, одна и часами ждет.

Если ночью вдруг звонил телефон и доктора Леви вызывали к больному, Мария тоже вставала,

помогала ему надеть пальто, давала чемоданчик и дожидалась его возвращения, чтобы спросить, не желает ли он чего-нибудь. Она ложилась в постель только тогда, когда слышала, что он пошел в свою спальню. Все его доводы, что, мол, раньше он вставал по ночам сам и ей действительно нет необходимости вставать в этих случаях, звучали впустую. Она вежливо улыбалась, приветливо кивала доктору Леви, находила трогательными его заботы о ней, но, как только раздавался ночной звонок, она уже стояла у дверей, держа в руках пальто и чемоданчик.

Генуэзец был постоянным партнером доктора Леви по шахматам, он появлялся неожиданно и нерегулярно, пропадал на два-три месяца, а потом снова являлся без предупреждения, и вот он уже, сияя, стоит в дверях, вытянув вперед руки, в одной он держит вырезанное из дерева, совершенно неизвестного в здешних широтах, божество, в другой — китайскую, индонезийскую или мексиканскую вазу, широким жестом вручает подарки, а из карманов пестрого шелкового костюма начинает вытаскивать прочие привезенные им драгоценности: безделушки из золота и драгоценных камней, причем непонятно, сколько они стоят и стоят ли что-нибудь

вообще, все эти аляповатые брошки в бархатных коробочках и невообразимо размалеванные фарфоровые и керамические вазочки, и неизвестно было, какими тайными, волшебными силами обладают все эти изготовленные из розового дерева, алебастра и слоновой кости маленькие фигурки, — четырехрукие и многоногие, они застыли в своем церемониальном танце или же, сияя голым черепом и выпятив живот, грозно пожирали мир всеми своими тремя глазами.

Хохоча, он бросался в ближайшее кресло, закидывал ногу на ногу, чиркал невообразимо длинной спичкой, зажигал египетскую сигарету в золотом мундштуке и наслаждался произведенным эффектом, который мог усилить еще больше, демонстрируя паспорта, согласно которым генуэзец оказывался голландцем, датчанином, мексиканцем. Благодаря этому в банке на Кенигсаллее, куда никто и входить-то не решался, он получал любую валюту. В своей большой белой шляпе, широкие поля которой наполовину закрывали его покрытое бронзовым загаром и прорезанное морщинами лицо и слегка раскосые глаза, выпятив широкий подбородок, выставив напоказ всегда улыбающийся рот, вызывающе ослепительный и не затененный шляпой,

он, охраняемый всеми своими божествами, подобно морскому пирату, входил в этот храм и возвращался с голландскими гульденами, американскими долларами, английскими фунтами.

Он никогда не представлялся по имени, а всегда говорил только: «Я из Генуи. Мы, генуэзцы, живем на море и во всех остальных частях света, куда можно добраться морем. И в сущности, мы лондонцы, — всегда подчеркивал он, — к Италии мы никакого отношения не имеем».

Таково было его свидетельство о рождении, согласно которому он был гражданином мира, при этом он не добавлял никаких подробностей, как это делают обычно другие люди, когда, называя место жительства, профессию, упоминая жену и детей, достают из бумажника визитные карточки и фотографии, стараясь ничего не забыть и не упустить. Он знал, что его появление — загадка для окружающих, он любил загадывать загадки, он наслаждался ими, как другие наслаждаются выходным днем. Когда Мария спросила доктора Леви, где живет и чем занимается генуэзец, выяснилось, что доктор знает только номер почтового ящика «до востребования» в Амстердаме, принадлежащего некоей фирме, которая импортирует ром, и больше ничего узнать не удалось.

Когда генуэзец приезжал в город, он останавливался всегда в отеле «Брайденбахер Хоф», самой дорогой и фешенебельной гостинице города, и являлся всегда поздно вечером, без предупреждения, два-три раза в неделю, чтобы сыграть с доктором партию в шахматы. Можно было предполагать, что именно шахматы помогают ему убить время в долгих морских путешествиях, хотя доктор заметил однажды Марии, что этот генуэзец скорее не шахматист, а любитель покера, он всегда играет так, словно у него припрятаны в рукаве по крайней мере две ладьи и королева, а пешкой вообще жертвует безо всяких колебаний. Но он любил этого парня, который столь разительно отличался от его ежедневных пациентов, и скучал без него, если после трех-четырех недель постоянного общения тот снова внезапно исчезал, не прощаясь, без всякого предупреждения, просто его больше не было, и все, а в отеле «Брайденбахер Хоф» отвечали только: «Господин отбыл в неизвестном направлении».

Он исчезал и появлялся одинаково неожиданно, без каких-либо объяснений, не принося извинений, господин семи морей, и, если его спрашивали, он говорил: «Дела, дела», садился, словно вчера только встал с этого кресла,

придвигал шахматный столик и делал первый ход, начиная игру. Доктор Леви придвигал свое кресло к столику, они бесшумно передвигали нефритовые фигурки по зеленым и черным нефритовым клеткам шахматной доски, доктор Леви — сосредоточенно, генуэзец — скорее небрежно, болтая о том о сем, рассказывая всякую всячину, бродячие сюжеты из всех портовых городов мира, кочующие с одного континента на другой, истории, которые, не успев причалить в одном месте, тут же на всех парусах мчались в следующий порт. Могло случиться, что какая-нибудь история начиналась в Байе, имела комическое продолжение в Занзибаре и затем трагически завершалась в Бомбее. Если Мария выносила к шахматному столику бутылку вина, генуэзец использовал эту паузу, чтобы продолжить беседу, он с упоением рассказывал о Малакке, где как-то решил отдохнуть в заброшенном дворце султана, из окон которого было видно море, напоминавшее расплавленное золото в свете вечернего солнца, — зеленое, словно нефрит, под муссонными дождями, ослепительно синее в полуденный штиль; он рассказывал о малайцах, китайцах, индийцах, которые вместе с потомками португальцев и голландцев жили среди

полной мешанины разных языков, среди малайских, китайских, индийских, португальских и голландских храмов, занимаясь своими житейскими делами среди мистерий, богов и демонов. Изредка они занимались морским пиратством, подавая его как спор между двумя различными богами, но в остальном жили мирно, пушки завоевателей давно проржавели, форты обратились в руины, царили однообразные, мирные, толковые будни, царство разума. Какой-нибудь Гитлер здесь был абсолютно немыслим.

На упоминание о Гитлере доктор Леви отозвался раздраженной репликой:

— Этот Гитлер и у нас немыслим. Все-таки разум — это европейское достояние, а вовсе не азиатское.

Генуэзец поднял обе руки, как бы защищаясь:

— Да, я знаю, в этих широтах господствует сей широко распространенный предрассудок, но вы поезжайте в Малакку, увидите мистерии, демонов, ведь это точные копии людей, в Малакке об этом хорошо знают: демонов не подпускают близко, только раз в год это случается, там устраивают празднество и приносят жертвы богам, но все остальное время соблюдают величайшую осторожность.

— Перестаньте, не хочу больше слышать про Малакку, — ответил доктор Леви.

Но генуэзца было уже не остановить:

— В Европе царит миф о том, что здесь — самые высокие идеалы и самые нетленные ценности, за которые не жалко жизнь отдать, в Малакке этого никто не понимает.

Доктор Леви грубо оборвал его:

— Вы все ставите с ног на голову. Европейские нации — это культурные нации.

Генуэзец расхохотался:

— Культура годится здесь только на то, чтобы убивать других людей доброй воли, без культуры это называлось бы убийством, а с культурой, в свете высшей миссии, это — благородное деяние. Немецкая нация, немецкая сущность, немецкое искусство, священные ценности Запада — все это пропахло кровью и бойней, торопитесь в Малакку, там люди живут вместе с богами, китайское кладбище находится между малайским и индийским, голландцев-протестантов хоронят чуть выше того места, где похоронены португальцы-католики, у них очень терпимый разум, вы не находите?

Мария любила танцевать. Генуэзец, искушенный в людских страстях, однажды явился только

для того, чтобы сводить Марию на танцы, танцы были для нее неодолимым соблазном, это была ее страсть. Вместо прежних танцевальных вечеров были теперь «Кристалл-палас», «Эрмитаж», «Юнгмюле», где оркестры играли на американский лад и назывались «Бармиксер-Чарли», здесь царили чарльстон и джимми, здесь флиртовали, давали непомерные чаевые, одевались по последней моде, здесь то и дело звучала фраза: «Хэлло, и ты здесь?» Она танцевала без передышки, и генуэзец наконец сдался, он больше не мог; тогда она стала танцевать одна. Люди, встав в кружок вокруг площадки, хлопали в ладоши, отбивая такт, оркестр барабанил ритм, вращающиеся огоньки бара кружились вокруг Марии, и она сама кружилась вместе с ними, оркестр трижды подряд сыграл «тайгер-рэг», потому что генуэзец платил валютой, и Мария могла танцевать сколько угодно; саксофон, постанывая, выводил соло, резкие ликующие вскрики трубы долетали до потолка, ударник до последнего изнеможения бил в барабаны и литавры, да так, что удары отдавались во всем теле и звон литавр оглушающей пеленой опускался вокруг Марии.

Когда они вместе с генуэзцем подошли к стойке бара, оркестр прервал свою обычную программу

и заиграл очень медленно «Джорджия он май майнд», любимую песню Марии, и выманил Марию на танцевальную площадку, где она, кружась спокойно и плавно, начала свой танцевальный вечер, щека к щеке с генуэзцем, а солист оркестра с придыханием нашептывал в микрофон «Джорджию».

Валюта генуэзца творила чудеса, Мария пила только шампанское, она носила теперь короткие юбки, прозрачные шелковые чулки, туфли на высоких каблуках, тонкую цепочку на щиколотке, она начала курить, пользуясь длинным перламутровым мундштуком, и сидела, смущая мужчин своим взглядом и со знанием дела перебирая длинную нитку бус из перламутра, завязанную посредине в толстый узел и спускающуюся почти до края юбки, она носила вызывающе большие мексиканские серьги в виде колец, которые контрастно подчеркивали нежный овал ее лица и стрижку под мальчика, она красилась по последней моде и не могла уже представить вечера без танцев.

Доктор Леви убрал подальше шахматную доску, он снова сам варил себе крепкий кофе, снова, как прежде, сам вставал на ночные вызовы, впрочем не совсем так, как раньше, ведь теперь ему не

хватало Марии.

Когда однажды ночью Мария очень поздно вернулась домой, она увидела свет в его кабинете, а дверь кабинета была распахнута настежь, и это означало, что он хочет с ней поговорить. Она вошла, полная решимости, уверенная, что никаких упреков не потерпит. Доктор Леви сидел в кресле, в своем старомодном тяжелом пальто, что-то перебирая в чемоданчике.

Мария спросила:

— Тяжелый случай?

Доктор ответил:

— Прободение слепой кишки. Срочно отправили в больницу.

Мария все стояла в дверях, кутаясь в свое белое пальто с высоким шалевым воротником. Доктор Леви встал, тяжелое пальто сползло вниз по плечам, он успел его поймать и швырнул через всю комнату в кресло, потом молча бросил взгляд на газовые фонари за окном. Мария ждала, она знала, что ему всегда требуется разбег, чтобы начать разговор, он должен сначала все сформулировать и только после этого заговорит.

— Пауль Полька сказал, что любую мелодию можно сыграть очень по-разному, главное — не сбиться с такта.

— Он хочет поехать вместе со мной в Малакку и построить там дом.

— Мечты, обращенные в реальность, становятся весьма банальной действительностью, такой, что даже не верится, что когда-то она была мечтой. Исполнение желаний — это утрата желаний, ведь то, что имеешь, уже нельзя обратно превратить в мечту. И наступает состояние, которое очень похоже на похмелье.

— Почему вы против?

— Потому что это совсем не тот человек, который способен построить дом, он кочует на всех парусах из гавани в гавань, иначе зачем ему три паспорта?

— Вы играете с ним в шахматы.

— Зачем он играет со мной в шахматы, я понятия не имею, он мне до сих пор этого не объяснил, во всяком случае у него вовсе не шахматы в голове.

— У него в голове импорт и экспорт, ведь он бизнесмен.

— Не думаю, импорт рома, парочка бочек, больше для отвода глаз; что он на самом деле экспортирует, никто не видел, но денег это приносит действительно очень много. Импорт-экспорт, нет-нет, он гораздо уютнее чувствует себя под

пиратским флагом.

— Вы что, ревнуете?

— Нет, у меня просто есть определенные обязательства перед графиней, и я знаю, что ей бы все это очень не понравилось. Кроме того, я чувствую ответственность перед гельзенкирхенской родней, ведь они всегда так понуро выглядят, потому что работают по двенадцать часов в сутки.

— Он ведь тоже свои деньги зарабатывает, только по-другому.

— Деньги зарабатывают трудом, все остальное россказни. Даже сам Рокфеллер не на бирже начинал.

— Все это ерунда, — заявила Мария, сделав непроницаемое лицо.

Доктор Леви повернулся и внимательно посмотрел на нее:

— Не упрямься. Какая из тебя авантюристка?

— А он разве авантюрист?

— Люди такого типа работают одновременно на разведки двух разных государств. Это придает им загадочности и шарма. Но такого человека в любом случае пристрелят рано или поздно.

— Вы все это обсуждали с ним во время игры в шахматы?

— Не исключено, что он из тех, кто указывает

людям путь в землю обетованную и тем или иным способом доставляет их туда. Но делает он это в любом случае не потому, что верует, и не из убеждений, для него это — спорт, ему это доставляет удовольствие, потому что приносит много денег. Он любит деньги, ему нравится эффектная жизнь и эффектная Мария. Он из тех, кто может поманить обманчивым раем. Такая сделка выгодна, только если заключаешь ее ненадолго, а потом придется расплачиваться разочарованиями.

Доктор Леви открыл окно, сырой, холодный воздух хлынул в комнату, разговор был окончен и больше уже никогда не возобновлялся. Генуэзец больше ни разу не появился. Мария больше не хотела танцевать. Будни наступили столь же стремительно, как когда-то и улетучились.

Через три месяца в кабинете доктора Леви ночью зазвенели стекла, Мария услышала этот звон из кухни и бросилась в кабинет. На письменном столе лежал булыжник с намалеванной на нем звездой Давида, чернила из ручки доктора текли по голубой бумаге, заливая буквы, на ковре у окна блестели в свете лампы мелкие осколки стекла. Доктор Леви стоял лицом к стене, он громко произносил слова молитвы, раскачивался, плакал.

Потом он обернулся и заговорил с Марией на

каком-то непонятном языке, которого она не понимала; он не сразу осознал это, перешел на немецкий, упал в кресло.

— Меня всегда преследует несчастье. Можно уйти куда угодно, отправиться на все четыре стороны, но, куда бы ты ни пришел, тебя все равно побьют камнями.

Мария закрыла окно портьерой и собрала осколки. Доктор Леви наблюдал за ее работой, потом снова заговорил:

— Талмуд, Библия, Коран. Разные они или все-таки похожи? Вавилонское столпотворение или совместное созидание? Каждый считает, что он ближе к Богу, что он — единственный в своем роде, что только он обладает истиной, и поэтому проламывает другому череп. Глупость, высокомерие и жажда убийства. — Он встал и улыбнулся. — Это и есть мои никому не нужные ночные мысли.

Когда история повторилась, доктор Леви попытался объяснить Марии, что ему придется ее уволить. Мария ничего не поняла, она совсем не разбиралась в политике; она вообще уже ничего больше не понимала, когда доктор выдал ей блестящую рекомендацию на именной бумаге доктора Кристиансена, подписанную доктором

Кристиансеном, и добавил:

— Если будет сделан официальный запрос, доктор Кристиансен все подтвердит.

Доктор Кристиансен жил этажом выше, он был врачом-пульманологом, Мария была знакома с этой семьей, она иногда помогала им по хозяйству, когда случались семейные праздники, но нынешнюю ситуацию она совершенно не понимала.

Доктор Леви сказал:

— Пока это только мера предосторожности, на всякий случай. — Он выглядел беспомощно и улыбался крайне смущенно. — Для любого историка все очень просто. Один побеждает, другой терпит поражение, кто-то отрекается, а кто-то нет, мирный договор либо подписывают, либо рвут в клочки, и затем все логично развивается по хорошему или по плохому сценарию, понятная цепочка причинно-следственных связей. Но если ты сам находишься внутри нее, все становится очень запутанным, и тогда существует сотня вероятных вариантов на будущее.

Мария упаковала свои вещи в корзину. Доктор Леви нанял носильщика и велел отнести вещи в монастырь Святой Анны, который находился напротив Академии художеств. Сестра Ансберта

предоставляла молодым девушкам, потерявшим работу, ночлег и приют.

11

Фридрих обладал чертами характера, которых у Марии не было вовсе, большей противоположности и вообразить было невозможно. Авантюрист в делах повседневной жизни, легкомысленный до крайности, он импровизировал на каждом шагу, радовался каждой мелочи, был обуреваем совершенно беспричинным оптимизмом и жил под девизом: «Ничего страшного, все образуется». Здравомыслящий и жизнерадостный, лукавый и ироничный, изобретательный и остроумный, он не испытывал особого восторга перед буржуазным укладом и находил жизнь вполне сносной. Одной недели торговли на рынке хватало, чтобы следующую неделю ничего не делать. Зачем осложнять себе жизнь? И полной противоположностью всему этому был серьезный, почти трагический характер Марии, ее чувство долга, ее горделивая меланхолия, ее внезапные приступы гнева и смутные предчувствия, уверенность в том, что судьба жестока, а жизнь тяжела, и если она не тяжела, то это и не жизнь вовсе. Фридрих, куда бы он ни бросил взгляд, видел только синее небо и яркие лучи солнца, а Мария уже пред-

чувствовала грозящие из-за горизонта мрачные, как ночь, тучи, несущие беды и несчастья. Ей нужен был человек, и она наверняка сама смутно чувствовала это, человек, который, не теряя спокойствия, пожмет плечами, видя сгущающиеся над нею тучи, заглянет ей в глаза и рассмеется, а Фридриху, у которого семь пятниц на неделе, сегодня то, завтра это, — и он это тоже втайне понимал — нужен был кто-то вроде Марии, с ее непреклонностью и могучей, неисчерпаемой жизненной силой, чтобы вывести его из тупиков, куда он часто попадал, на прямую дорогу.

Впервые они встретились вечером накануне Дня святого Мартина, попав в толпу детей, которые с фонариками в руках или с вычищенными внутри тыквами, куда были вставлены свечки, ходили от одной двери к другой, выкрикивая слова малопонятных песенок, но, прислушавшись, можно было разобрать, о чем они: мол, здесь живет человек богатый, и пусть живет он долго-долго, того они ему желают, если он поделится своим богатством; мол, тому откроется Царствие Небесное, кто щедро отдаст свое имущество. Коекому свое имущество было милее, чем Царствие Небесное, и тогда дверь оставалась закрытой, а дети начинали кричать и шуметь еще больше,

слышались угрозы, они кричали, что, мол, дом-то у жадины стоит на одной ноге и так вместе с жадиной скоро и провалится в тартарары, и с воплями «Жадина! Жадина!» бежали к другим, более щедрым хозяевам, все скопом кидались на брошенные им яблоки, орехи, конфеты, шоколадки, ползая по земле, собирали все это в свои маленькие мешочки, дело было не простое, один отпихивал другого, но никому не удавалось одержать верх, и каждому что-то доставалось.

Проведя минут десять в толпе детей, на разные голоса кричащих: «Человек богатый — Царствие Небесное — жадина», — в этом беспорядочном нестройном хоре, диким эхом отзывающемся по всем улицам, Мария тоже вместе со всеми закричала: «Здесь живет человек богатый», и ее понесло в толпе детей, пробивающей себе дорогу кулачками и пинками среди гуляющих на вечерней улице, а когда ей на голову кто-то бросил старый башмак, она вошла в раж и яростно закричала: «Жадина, жадина!» Тогда Фридрих впервые увидел, как Мария мгновенно переходит от гордой невозмутимости к вспышке внезапных чувств. Растолкав всех локтями, она размахнулась изо всех сил, и башмак полетел назад, в то самое окно, откуда его бросили; но,

поскольку окно в этот момент как раз закрыли, раздался звон стекол, и лучше всего было теперь быстренько затеряться в толпе среди темноты. Мария мчалась так быстро, в неистовом порыве проскальзывая в толпе, что Фридриху стоило больших усилий ее догнать.

К удивлению Марии, святых Мартинов в городе было пруд пруди, в одном месте это был рыцарь на испуганной лошади, в коротком плаще, в доспехах, которые гордо сияли в свете фонарей. Какой-то нищий в рваных обносках, едва прикрывавших тело, пал перед ним на колени, рыцарь снял с себя плащ, разорвал его пополам и протянул одну половину нищему, отвесив смиренный поклон, причем, кланяясь, он чуть не упал с лошади. Тут же появился другой святой Мартин, в обличье благородного епископа на понурой белой лошадке, помавая своим епископским жезлом и благословляя всех налево и направо, он с трудом пробирался через толпу. И вот он уже удаляется, кивая и снисходительно улыбаясь, но еще долго сияют издалека драгоценные камни на его епископской мантии — знать, добрые, богоугодные дела неплохие барыши приносят.

Никто толком не знал, откуда родом все эти народные гулянья и когда впервые стали отмечать

этот праздник. Сохранились смутные воспоминания о том, что такой обычай существовал некогда в Италии и его принесли сюда итальянские ремесленники да французские торговцы, а здесь он привился, пустил новые корни, хотя прежний облик легенды о святом Мартине сохранился. Фридрих знал только, что слово «капелла», то есть часовня, происходит от слова «капе», имеется в виду шапочка святого Мартина, которая в древности хранилась в каком-то маленьком специальном помещении, все это рассказал ему Густав, лучше разбиравшийся в таких вещах.

На следующий день отмечали праздник «Хоппедитц», это было начало карнавального сезона. В этот день все собирались у памятника курфюрсту Яну Веллему, который вместе со своим гигантским конем нерушимо, как прошлое, стоял на своем постаменте, звучали шутки и смех, все веселились без конца, просто так, «радуясь жизни», как здесь говорили, то есть смеялись ни над чем, просто чтобы посмешить других, хохотали вовсю, понимая, что жизнь коротка и что смерть подстерегает каждого, что и этот карнавал завершится и придет Великий пост и что «вся эта маета», как они именовали недолгие годы земной жизни, гроша ломаного не стоит — слезы одни,

и почему бы не посмеяться надо всем заранее. Люди склонялись друг к другу, пытливо заглядывали в глаза, словно спрашивая: «Ведь ты тоже человек, как и я?» — и, читая утвердительный ответ, ликовали, по лицам разливалось блаженство — отблеск совершенной гармонии. Но уже через несколько минут на том же самом лице читались следы сомнений, появлялись тревожные морщины на лбу, появлялось то горестное выражение, которое исчезало, только если снова приблизишься к другому человеку с вопрошающим взглядом: «Ведь ты тоже человек?»

Мария не понимала, чему они смеются, этот смех заранее сводил на нет все труды человеческие, делал все никчемным и бессмысленным, все цели объявлялись недостижимыми, все порывы и усилия были тогда лишь напрасной тратой дней дарованной Богом жизни. И тогда единственным достойным образом жизни будет молчаливая неподвижность, когда ты сидишь в пивной за кружкой, наблюдая всю эту безумную суету, которая началась, увы, с сотворения мира и закончится, только когда настанет конец света. Но из-за этого ни в коем случае не стоит портить себе жизнь, поэтому ничего нельзя считать надежным, важным, значительным, ничего нельзя

принимать всерьез, а время карнавала как раз больше всего подходит для того, чтобы показать, что все люди — просто-напросто сумасшедшие, и в таком случае умный человек сам сделает первый шаг, объявив сумасшедшим самого себя.

После «Хоппедитца» наставали дни адвентов с их ранними холодными ночами. Фридрих и Мария встречались где-нибудь в одном из городских трактиров, где, спасаясь от холода, все сидели на скамьях тесно, плечом к плечу и судачили обо всем на свете. Фридрих был со всеми хозяевами заведений на «ты», это давало ему право уходить не расплачиваясь, ему везде давали в долг, а Мария этого еще не знала и удивлялась, когда Фридрих, небрежно помахав рукой, уходил, бросив на ходу: «Позже рассчитаемся». Так или иначе, они каждый вечер оказывались в парке Хофгартен, шли по петляющим, блестящим от инея дорожкам, и наступившие холода заставляли их теснее прижаться друг к другу.

Вот так добрались они однажды до фонтана Тритон, с которого начиналась Кенигсаллее. Тритон, античное божество, сын Посейдона, которого неизменно изображают в виде того существа, в которое он потом обратился, и он сам не ведает, кто он на самом деле, итак, сын По-

сейдона, которого талантливая рука скульптора сделала символом этой улицы, Тритон, получеловек-полурыба, с гарпуном в руке, сидел, оседлав гигантское морское чудище, слепо уставившись на освещенные искусственным светом витрины, из которых, собственно, и состояла вся улица, а свет витрин падал на лица стоявших перед ними людей, освещая их всеми цветами искусственной радуги, но только с одной стороны, веером отбрасывая обманчивые цветные тени. Длинный, прямой, как стрела, ров с водой под деревьями делил всю улицу на светлую и темную половины и, покрытый тонким льдом, превращал свет сияющей радуги, падавший на фигуры богов, в неясный сумрак. Там, где фонтан соединялся со рвом, была во льду небольшая полынья, и на дымящейся воде качались два лебедя, спрятав головы под крыло.

— Смотри, это мы, — сказала Мария.

— Тогда нам с тобой надо следить, чтобы вода до весны не замерзла, — сказал Фридрих.

По воскресеньям, в дни адвента, бывали традиционные семейные сборища, и, помимо ритуальных песен, здесь исполнялись все песни, которые когда-либо породил немецкий Рейн и немецкое студенчество, тут же пели и новые, только что

сочиненные карнавальные песни. Марии эти сборища очень нравились, здесь каждый проявлял свою неповторимую индивидуальность, Мария старалась не пропускать ни одной встречи, и скоро она оказалась в эпицентре семейства, справа от Густава, на кожаном диване, слева громоздились книги. Густаву Мария нравилась, хотя некоторые ее высказывания он комментировал с большим сарказмом, а Мария безо всякого стеснения давала ему отпор, и Густав ценил эти перепалки, ведь по сути дела они вели между собой вечный, организованный по всем правилам риторики спор о Боге и мире, из которого никто не мог выйти победителем. Свет сталкивался с тьмой, страсть к переменам — с умением терпеть, критический разум — с иррациональными поступками, ясное логическое мышление — с непостижимой жизненной позицией, опирающейся на мистические истории. Густав нашел кремень, о который он мог натачивать свой острый нож, но, хотя это помогало ему оттачивать мысли и доводить до блеска свои формулировки, все же с годами пришло понимание, что время этих его слов прошло, зато кремень остался цел и невредим и на нем нет никаких следов ножа.

Потом пришло Рождество, и праздновали его

так, как будто до того усердно постились, — с раннего утра и до позднего вечера пили и ели все, кто хоть раз где-нибудь в пивной похлопал кого-нибудь из семейства Фонтана по плечу со словами: «Мы теперь друзья!» В этой суматохе было уже ничего не разобрать, люди приходили сами, и никто не помнил, кто чей друг, все ели и пили, оставались ночевать, если было уже поздно, сидели за столом и на следующий день. Марии казалось, что она входит не в квартиру, а на шумную рождественскую ярмарку.

После Рождества праздновали Новый год, так что непрерывное застолье почти не прекращалось, и были все основания с достоинством продолжать праздник, который длился фактически до Крещения, а Крещение тоже праздновали в память о бедняжке Ивонн, которая когда-то привезла эту традицию из Бадена. Самодельный пирог с запеченной в него фасолиной каждый год, с непостижимой неизменностью, короновал Густава, объявляя его Бобовым королем, Фэн блестяще удавалось все это подстроить, а Густав ценил и ритуал, и картонную корону, матовый блеск которой сопровождал его на протяжении долгих лет. Мария обрадовалась, что именно Густав придает такое важное значение Кре-

щению, празднику Трех Волхвов, которые, как известно, стояли у колыбели нашего Господа, и сказала об этом Густаву. Густав ответил, что это прекрасный пример тому, с какой ловкостью политики могут использовать чудеса. И, начиная год, стоит не забывать об этом поучительном примере.

А тут уж и карнавал стоял на пороге; стоило поторопиться с костюмами, фантазия у всех усердно заработала, никто в Обербилке не хотел упасть лицом в грязь. Швейная машинка Фэн стучала бесперебойно, прошивая метры ткани, Густав делал эскизы масок, Фридрих и Элизабет украшали квартиру. Мария, наблюдая всю эту суматоху, задавала себе вопрос, когда же это семейство занимается серьезным, напряженным трудом, и поэтому частенько рассказывала о своей шахтерской родне из Гельзенкирхена, о тяжелой посменной работе под землей, и все слушали ее внимательно, рассказ трогал их, но такая жизнь не встречала понимания, а Элизабет всякий раз говорила: «Да, действительно, есть люди, которые любят работать».

Розовый понедельник, день карнавального шествия, показался Марии каким-то извержением вулкана, в памяти остался потом только шум и

гомон, царившие в городе с самого утра, нарастающее подземное рычание, переросшее к вечеру в оглушительные крики, неуправляемый лавовый поток людей в костюмах, судорожными толчками стекавший по улицам, шумные змеи, состоящие из людей в масках, гирляндой обвивающие каждого, увлекающие всех в единый человеческий клубок, а он беспорядочно и непредсказуемо катился вперед, переваливаясь через все подряд, уворачиваясь от повозок, выбрызгивая конфетти, из клубка торчали руки и ноги, взывая к помощи, нащупывая землю, приходя в себя и тут же включаясь в общий хоровод, покалеченные отставали, но это, казалось, никого не трогало, так и должно было быть, сокрушительный лабиринт, в котором не было нити Ариадны, варварское буйство со вспышками скабрезного юмора, змея, лоснящаяся силой и агрессией, жестокость, скрытая за безобразными масками, а уже через секунду все это превращалось в слезливую размягченность, в беспомощную нежность, в пресыщение жизнью, которое заставляло вновь с издевательским хохотом, молотя всех налево и направо, кинуться в безумную толпу.

Мария не видела за всем этим настоящей радости, ей казалось, что люди выполняют непри-

ятную обязанность, участвуя в этом празднике, что в головах у них совсем другие заботы и на душе кошки скребут, но они все равно танцуют, кривляются, подпрыгивают, неистовствуют в ночи, восстав против всего, что их окружает и что они не в силах изменить.

Поэтому она удивилась, когда в Пепельную среду, на первой неделе Великого поста, увидела множество сияющих лиц, на которых ясно было написано, что и этот наступивший год будет прекрасен, как всегда, к ним наконец-то вернулась прежняя довольная широкая улыбка, помогавшая им преодолеть невзгоды, раскаленная лава остыла, воцарились спокойствие и мир. Все происходило очень быстро; только что все кипело, и вот уже успокоилось, никто и не заметил. В Обербилке можно было наблюдать, как убежденные коммунисты с черными крестами на лбу выходили из церкви, еще не сняв карнавальных костюмов, с масками печальных клоунов в руках расходились по домам, тихонько напевая «Интернационал».

Мария с нетерпением дожидалась этой среды, но ею зима еще не заканчивалась. Предстояло еще участвовать в подготовке весеннего праздника Компартии в парке Фольксгартен, рисовать

плакаты, собирать реквизит для детского праздника, готовить мешки для бега в мешках, ложки и сами яйца для катания яиц, Фэн участвовала в хоре и целыми днями разучивала «Слушай, слушай, что за шум» и «Желтую карету». Обронски и Болье устанавливали посреди своего магазина колониальных товаров кукольный театр и занимались ремонтом кукол, потому что праздник в парке Фольксгартен всегда служил сигналом к открытию сезона. Добряк Герман был противником КПГ, но всегда соглашался поработать кассиром, пан Козловский продавал напитки, Биг Бен следил за порядком, а некоторые господа коммунисты, облачившись в «обербилкские рубашки», то есть в нижние рабочие рубахи, в которых они и на работу ходили, и на праздник, и в них же спали, подходили к Густаву и шепотом просили помочь им составить речь, потому что положение в мире сейчас такое непонятное и после карнавала они до сих пор все никак опомниться не могут, да и то, что пишут в партийной газете, никто, кроме главного редактора, понять не может; появился Кальмеской, проповедуя от имени царя Соломона, собираясь во время праздника возвысить свой голос против политических беспорядков, где-то на задворках стучали молот-

ками цыгане, ремонтируя свои повозки, ведь и для них начинались теперь светлые денечки странствий, и они тоже собирались участвовать в празднике. А когда наконец-то праздник начался, и все стали собираться в парке с красными гвоздиками в петлицах, и открылось катание на лодках на пруду в парке — это было симпатичное небольшое озерцо со множеством бухточек, на котором зимой Мария и Фридрих катались на коньках, выписывая кренделя и восьмерки, то убегая далеко друг от друга, то снова сближаясь, — тогда Мария, сидя в лодке вместе с Фридрихом среди всей этой праздничной кутерьмы, взяла в руки весло, направила лодку в уединенную бухту, вырываясь из окружения других лодок и уходя из-под любопытных взоров, и там, в бухте, сказала Фридриху, что теперь им срочно надо пожениться. Издали, из музыкального павильона, доносились ликующие звуки свирели.

Улица Ке, или Кельнерштрассе, пугая своим иногородним названием, прорезала все жилые кварталы Обербилка, прямая как стрела. Среди фабрик и заводов, которые выходили на нее то фасадом, то задворками, окружая улицу высокими темными бастионами своих стен, теснились жилые дома, магазины, пивные за-

ведения, мастерские ремесленников, и все эти пекарни, мясные, молочные и продуктовые лавки, сапожники, портные, прачечные, рюмочные, танцплощадки, кинотеатры и похоронные бюро составляли случайную, никем заранее не продуманную смесь из жизни, работы, удовольствий и смерти. День и ночь, одна за другой, шли долгие трудовые смены, лязг металла и стук молотков раздавались в заводских цехах, грохотали башенные краны, выли сирены и паровые гудки, через улицу, пыхтя, проезжали локомотивы под пронзительные свистки сцепщиков. Люди жили среди всех этих звуков, спали в комнатах, стены которых трескались и вибрировали от постоянного шума. Все это напоминало непрерывные подземные толчки, пиво дрожало в кружках; во время сеансов в кино, когда показывали фильм про Дикий Запад, перестрелка между белыми людьми и краснокожими сопровождалась глухими ударами парового молота, но все это действовало на людей успокаивающе, их чувства напоминали ощущения пассажиров океанского корабля, которые, слыша отдаленный шум работающего дизеля и гребного винта, убеждаются, что их судьба в надежных руках машины, и беспокойство их одолевает только тогда, когда наступает тишина.

Так же и тут — толчки и удары гигантских машин высотой с многоэтажный дом, изготовлявших сталь для стального мира людей, доказывали, что пока еще для людей найдется работа, зато тишина была страшна, как смерть. Приходил ли рабочий со смены, стоял ли у дверей своей квартиры или же у пивной, у магазина, возле кинотеатра, где первый сеанс совпадал с окончанием смены, собирался ли на работу, стоял ли у проходной с пропуском в руке через несколько минут после того, как вылез из постели, успев по дороге купить хлеба и пропустить рюмочку, ибо все открывалось с началом первой смены, — он прислушивался, удостоверяясь, что жизнь идет.

Из мелких заводов, принадлежащих разным владельцам, образовался один завод и один район города, сталепрокатный завод, трубопрокатный завод и котлостроительный завод объединились, к их общему названию добавилось название городского района, и получились «Обербилкские сталепрокатные заводы» — «Обербилкер Штальверке». Все они принадлежали одному человеку, которого никто никогда не видел, и все это, вместе взятое, входило в крупнейший горнометаллургический концерн Европы, которым управлял тот же самый человек, захвативший все, ему

принадлежали теперь и гельзенкирхенские шахты; и гельзенкирхенцы, опускаясь под землю, добывали теперь уголь тоже для него, а сам концерн располагался в одном из самых мрачных зданий города под названием «Штальхоф»: тесаные плиты, чугунное литье, узкие стрельчатые окна, словно испанский королевский дворец, построенный на вечные времена, где до Судного дня будет сидеть кардинал, Великий инквизитор, верша свой Страшный суд.

Правда, для многих было утешением, что в самом начале Кельнерштрассе, не доходя до сталепрокатного завода, находилось правление, КПГ, здесь же выпускали и газету «Фрайхайт», которую, как надеялись товарищи коммунисты, читали и в «Штальхофе», а в одном из номеров, кстати, сообщалось, что господин Великий инквизитор сталепрокатных заводов пригласил политика Гитлера выступить с докладом на заседании клуба промышленников города, а после доклада от всей души пожелал успеха его движению и сам очень прочувствованно аплодировал, в то время как на холодной улице, на самой красивой площади города — Корнелиусплатц, где весной несколько дней подряд цветут магнолии, стояли люди — это левые партии и профсоюзы

вышли на демонстрацию протеста, хором выкрикивая: «Гитлер — это война».

Это были новости из другого мира, которые не вносили перемен в ход жизни на улице Кельнерштрассе, но приводили к демонстрациям, люди под красными и черными флагами, словно на похоронах своего соратника, шли от редакции газеты «Фрайхайт» мимо сталепрокатного завода к рыночной площади Обербилка, самому центру района, где обычно строились все баррикады, и потом — в направлении кладбища Штоффелер, где покоились герои, где жизнь склонялась перед смертью и где колонны демонстрантов рассеивались.

Колонны людей, словно туго натянутые нити основы, шли по трамвайным и железнодорожным путям, сходясь в одной точке. Люди торопливо, как ткацкие челноки, сновали туда-сюда, перебегая от одной колонны к другой, оставляя после себя невидимый узор своей траектории, и все равно неминуемо уходили потом в чугунные ворота заводов. Единый ткацкий станок рабочего квартала ткал свой собственный узор. Машины и уголь вместе создавали гигантскую энергию, которая намного превосходила энергию людей, придумавших сначала ткацкие станки, потом за-

водские станки, людей, которые добывают уголь для этих станков, неутомимо выгребая его из недр земли. Все они превратились теперь в маленькую деталь единого гигантского механизма, в деталь, которой легко найти замену, а сам механизм мог теперь существовать и без них, людей отправили в отставку, они не были больше творцами своего мира, не они правили на этой земле, они были лишь маленькими, беспомощными тварями, которые находились в подчинении у машин, тонкой уточной нитью в ткани нового мира.

Вместе с добряком Германом, у которого оказался мотоцикл и который знал, где дают в кредит под проценты, Мария объезжала один мебельный магазин за другим. Она присмотрела квартиру и теперь покупала две кровати для спальни, две тумбочки с лампами, комод с зеркалом и четырехдверный платяной шкаф, все из цельного дуба, а для кухни посудный шкаф из трех секций из американской сосны с тремя выдвижными ящиками, три дверки вверху и три внизу, верхние — застекленные, еще один такой же шкаф из одной секции, стол, четыре стула, плиту с вытяжкой, почти новую, которую по случаю спроворил ей добряк Герман. Плита представляла собой эдакого монстра из никеля

и эмали и напоминала старомодный сейф, вся конструкция сгодилась бы, пожалуй, на топку для локомотива, поднять ее было трудно даже вчетвером, в какой-нибудь заводской столовой она бы очень пришлась к месту. Мария расплачивалась наличными, она сняла все деньги со своей сберкнижки, всю свою сиротскую пенсию и всю зарплату, этим накоплениям семейство Фонтана немало удивлялось, потому что бережливость была ему доселе неведома.

Мария окончательно вступила в этот величественный семейный союз, который был для нее какой-то экзотикой. Личная свобода сбивала ее с толку, в Гельзенкирхене все ложились спать в одно и то же время, если один вставал со стула, другие поднимались тоже и быстро забирались в постели. Здесь же один в изнеможении валился в постель, а другой в этот момент как раз вставал, прихорашивался и шел в город, причем это могло случиться в любое время суток: утром, днем и вечером. Завтраки, обеды и ужины происходили когда попало, Фэн готовила, когда ей вздумается, и все тоже приходили и уходили, когда им вздумается. Было неясно также, кто ходил на работу, а кто нет, при этом работа вовсе не означала что-то постоянное. Даже Густав, глава семьи,

казалось, вел несколько видов деятельности одновременно, говоря попросту: «Да есть тут у меня кое-какая работенка», и если что-то срывалось, в другом месте обязательно открывались прекрасные перспективы, на постоянную работу он никогда не решался, она помешала бы его многочисленным увлечениям. Если Фэн нужны были деньги, каждый шарил у себя в карманах, нет ли там чего, если денег оказывалось маловато, то и стол был скудный, а если собирали много, то Фэн закатывала настоящий пир, стол ломился, а если совсем ничего не было, то всегда можно было отправиться в ресторан к Вильгельмине, она кормила в долг и тут же забывала об этом. Мария была новым цветом в гамме, новым видом плетения, вяло обвисшие нити основы натянулись заново, их пронизала свежая, крепкая уточная нить, было похоже, что вот-вот появится новый узор. И Густав, который ощущал все это именно так, пригрозил Фридриху поркой, если тот не постарается вести себя впредь должным образом.

Мария твердо сказала, что венчаться будет в церкви и по католическому обряду. Что касается детей, то тут тоже нет никаких сомнений, крещены будут в католическую веру. Эта был первый бой, который Мария объявила семейству

Фонтана, — и выиграла его без труда. Ни церковь, ни религия никого здесь не интересовали, никто даже вспомнить не мог, когда он в последний раз был в церкви. На вопрос Марии, в котором крылась насмешка: «А вообще-то Фридрих и Элизабет — крещеные?» — Густав с невинным видом ответил: «Я думаю, нет». Внутренне ужасаясь, Мария сказала ему, что ведь он должен по крайней мере иногда вспоминать о церкви, но Густав помотал головой и сказал в ответ «Я еще никогда в жизни не бывал в церкви». Тогда Мария потребовала показать ей метрики. Густав продолжал в задумчивости сидеть на своем кожаном диване, потом провел рукой по гладко выбритому затылку, пожал плечами и принялся рыться на книжных полках, а Мария удивленно на него смотрела. В разделе «Доисторическая литература» он обнаружил Библию, полистал ее, но метрик и там не оказалось. Густав погрузился в неясные воспоминания, события самых давних времен всплывали отчетливее. «Поначалу-то все были гугенотами», — пробормотал он, но это и без того все знали, история семейства была всем известна: шелковая мануфактура в Лионе, Фонтана в Изерлоне, где развился мощный семейный клан, совестливые пасторы, честные торговцы,

гордые владельцы фабрик, которые по-прежнему выпускали изделия из меди, до сих пор сохраняли верность своей традиционной отрасли, они навели справки даже о флорентийских Фонтана, узнали, что Фонтана переселились в Лион из Флоренции, те-то уж точно были католиками, некоторые, может быть, и из секты вальдеисов. Густав, который до сих пор еще сохранял контакты с изерлонцами, припомнил, что те искали какую-то семейную Книгу Ткацких Узоров, и еще вспомнил, что его отец получил от одного дюссельдорфского нотариуса бумаги, целый сундук никем не читанных пыльных документов, написанных еще старинными буквами; несколько десятилетий назад он однажды их видел, но никогда не разбирал, и книга, может быть, тоже там. Где же сундук? Густав захотел найти книгу. Фантазия у него разыгралась. Теперь его интересовала эта книга, и больше ничего. Но ответа на вопрос о метриках Мария так и не получила. Она не интересовалась прошлым, ей нужны были метрики. Фэн сказала: «Если Фридриха не крестили, то и метрик никаких нет, тогда ему придется креститься сейчас, вот тогда он и получит небесное свидетельство». Мария пришла в ярость и закричала: «Вы что, все язычники

тут?» Густав заорал в ответ: «Язычники — самые терпимые люди на земле, они ни во что не верят, зато уважают чувства каждого, у кого есть вера». Мария начала все с другого конца и попыталась найти метрики в школе, но и от школы толку было мало, Элизабет и Фридрих учились в светской школе д-ра Шранка, в лучшей школе города, по всеобщему мнению, но религия там тоже никого не интересовала. Тогда Мария приступила к инквизиторскому допросу Фридриха, добиваясь от него, чтобы он вспомнил, католик он или протестант. Фридрих не знал. Ничего не знала и Элизабет. Помнят ли они причастие? Или конфирмацию? Фридрих прекратил все это гадание на кофейной гуще, сказав, что на рынке его прозвали мусульманином, потому что он здорово умеет торговаться.»Мария сдалась, в глазах у нее блестели слезы, этого Густав уже никак не мог вынести, он выдавил из себя: «Спросите Вильгельмину, может быть, Ивонн что-то с ними делала, мне кажется, она была протестанткой».

Вильгельмина нашла-таки в семейном архиве кое-какие следы протестантской веры, метрики тоже обнаружились. С помощью такого вот ловкого обходного маневра Густав отвоевал себе значительное преимущество в споре о свадебном

угощении, ведь вопрос о том, что подавать в начале: борщ, зуппа павезе или консоме натюр, определял ход и завершение всего угощения, и вот это для Густава действительно было религией, ибо речь шла о достижениях цивилизации. Фэн было все равно, готовить она не умела, а Густав, как раз именно по этой причине, знаком был с кулинарным искусством, имея точные представления о традиционном и соответствующем случаю свадебном угощении; свои принципы вдруг обнаружились, ко всеобщему удивлению, и у Фридриха, и он их упорно отстаивал, — в общем, Мария, Густав и Фридрих сцепились не на шутку, нелегкая борьба и многочасовые препирательства едоков картофеля и едоков макарон завершились компромиссом: перед венчанием будут польские закуски, после венчания — итальянские, а вечером для всей семьи будет устроен классический французский торжественный ужин. Вопрос о напитках Густав использовал как козырного туза; он намеренно не спорил ни о бордо, ни о бургундском, ни о шампанском, согласился даже до и после венчания пить польскую водку, но при одном условии: в церковь он не пойдет. Фэн сказала, мол, почему бы ему не пойти, ведь священник — из коммунистов, но

Густав оставался тверд, сказав, что священник, кажется, всего лишь занюханный социал-демократ. Требование Густава поставило под удар весь план свадебных мероприятий. Назревал раскол, компромисс срывался, и Мария решила уступить. Хорошо, сказала она, пусть Густав остается дома. Теперь все проблемы были решены, каждому казалось, что он настоял на своем, ни один из главных вопросов жизни и веры не был продан за чечевичную похлебку, обе семьи сохранили достоинство и могли теперь объединяться.

Свадебное угощение вышло небывалым: ни в сказке сказать, ни пером описать. Поскольку каждый понимал закуску по-своему, поскольку Мария хотела продемонстрировать, на что она способна, а Густав с Вильгельминой тоже решили не упасть лицом в грязь, родился свадебный стол, по сравнению с которым чудесное кормление хлебами, про которое говорится в Библии, было жалкой комедией, весь дом мог бы не один день питаться всеми этими яствами, Густав потом целый год расплачивался с долгами, потому что он решил своего не упустить и заказал в магазине Мюлензипен самые лучшие, выдержанные вина.

Элизабет придумала отметить сначала заключение свадебного контракта — кто его знает, а

вдруг что-нибудь сорвется, молодые в реке утонут или церковь сгорит, — поэтому тут же подала кофе и торты, это было единственное, за что она отвечала во время праздника, ей было поручено сварить крепкий кофе и испечь большие торты, которые она щедро украсила взбитыми сливками. Правда, и здесь возникли некоторые трения, потому что Густав, орудуя рожком со взбитыми сливками, изобразил на темно-красной поверхности торта с вишнями серп и молот, а Мария в свою очередь украсила шоколадный торт сливочным силуэтом Девы Марии Богоматери Ченстоховской, но ей пришлось объяснять всем, кто это, ведь эту икону здесь никто не знал. Далее сама свадьба должна была состояться в церкви Святого Иосифа.

Церковь Святого Иосифа на площади Святого Иосифа, куда вела улица Святого Иосифа, стояла, храня свое неприметное триединство, всего в нескольких десятках метров от Кельнерштрассе, главной артерии района, и недалеко от рынка Обербилк, который был сердцем района, — следовательно, церковь могла считаться душой района, местным Ватиканом. Отсюда, как от площади Святого Петра в Риме, разбегались в разные стороны улицы и переулки и уже одними сво-

ими названиями обозначали границу. К улице Круппа вела маленькая улочка Ван-дер-Верффа, названная так в честь придворного художника курфюрста Яна Веллема, заботливые городские власти наверняка решили, что немножко культуры этому кварталу не повредит, и, поскольку сей голландец был к тому же автором проекта Роттердамской биржи, выбор названия для улицы не казался таким уж глупым, он, по крайней мере, способствовал развитию мыслительной деятельности, рабочие то и дело в недоумении останавливались около таблички с названием и пускались в глубокомысленные рассуждения, пытаясь догадаться, что же это за неведомый фабрикант, которого столь великодушно увековечили бок о бок с Круппом.

Едва приметная дорожка вела от площади Святого Иосифа, минуя фабрики и жилые дома, к дому, где располагалась епархия Русской православной церкви, а рядом с нею — монастырь милосердных сестер, которые, видя в стрельчатом окне епархии икону с изображением Богоматери, чувствовали по крайней мере духовное единение с православными. Целыми днями сестры милосердия, словно белые голубицы, сновали туда-сюда в своих белых крылатых

чепцах, украдкой бросая смиренный взгляд на православную Марию, и спешили в больницу Святого Иосифа, где ухаживали за престарелыми, больными и новорожденными.

Окруженная фабричными стенами из желтого кирпича, темная каменная церковь была частью фабричной архитектуры жилого района, и дети удивлялись, почему из башни, похожей на богато украшенную фабричную трубу, никогда не идет дым. Но главной ценностью, безусловно, была лужайка перед церковью, на которой мирно кустилась зеленая травка. Газон был разделен на две половины, отчего казался больше, и любители природы могли прогуляться по тропинке между ними и вдобавок обойти весь газон вокруг, получалась самая настоящая прогулка по парку. Кроме того, газон, эти жалкие несколько квадратных метров, был обнесен прочной железной решеткой, и люди могли подолгу с удивлением разглядывать травинки, словно это были диковинные животные в зоопарке. Можно было с чистой совестью утверждать, что травинок здесь было меньше, чем прутьев в решетке, но все равно такую драгоценность стоило надежно охранять, дети прижимали носы к решетке, просовывали сквозь нее руки, гладили траву и

удивлялись, что она такая мягкая, прямо-таки льнет к рукам, не то что камень или железо. А по утрам в воскресенье появлялся священник и приглашал всех на службу, и коммунисты говорили, что газон перед церковью — это происки церковников.

Надо сказать, что церковь Святого Иосифа была особым приходом, она соответствовала своей среде, она ведь выросла из нее. Рим был далеко, кельнский кардинал сюда не наведывался, поэтому церковные правила здесь толковали в соответствии со здравым смыслом. День покровителя церкви, Святого Иосифа, должен был, согласно христианскому календарю, отмечаться 19 марта, так установил Рим, но святого с чистой совестью объявили рабочим человеком, и День покровителя праздновали теперь 1 Мая, в День солидарности трудящихся. Рабочие, которые выходили на запрещенную демонстрацию, выступая за свои запрещенные цели, спасаясь от полицейских дубинок, бежали на площадь Святого Иосифа, где всегда можно было сделать вид, что ты пришел праздновать День покровителя церкви.

В этот день бело-желтые церковные флаги соединялись с красными флагами коммунистов и

черными флагами анархистов, а Союз атеистов и Общество свободы духа со своими плакатами «Бог умер» и «Долой Церковь!» тоже находили себе приют под сенью Единоспасающей, ибо Святой Иосиф был покровителем всех спасающихся бегством. Священник окроплял собравшихся святой водой, сопровождая действо громогласной латынью, ловко, плавно и великодушно наделяя благодатью и полицейских, у которых вода капала с фуражек, а сами блюстители порядка выглядели так, словно у них градом катятся слезы; церковь напоминала торжественно украшенный алтарь, как во время Крестного хода в честь Праздника тела Христова, всюду красные транспаранты, на которых большими буквами были написаны требования рабочих о справедливости на земле, — они так и стояли, прислоненные ко входу, пока полиция не удалялась.

За день до свадьбы Мария с ужасом обнаружила, что у Фридриха и вправду нет ни одного приличного костюма, а тот, в котором он ходил постоянно, был куплен по случаю у кого-то из друзей, и, небрежно натягивая его, он говорил: «Ну что, не так уж он и плох». Ну не было у него хорошего костюма, подумаешь, что тут такого, это лишнее, зачем нужен хороший костюм? «Он

нужен для венчания в церкви», — сказала Мария и дала ему денег. Фридрих отправился в путь, но добраться ему удалось только до ближайшей рюмочной, где постоянно сидели боксеры да велосипедисты, обмывая победы и поражения, — здесь у Фридриха была куча друзей, и деньги улетучились в один момент. Мария снова снабдила его деньгами, на этот раз он отправился в город окольными путями, «и не вводи меня во искушение», поэтому до старой части города добрался благополучно, но там его опять поджидала толпа друзей, «только по пиву — и все». Пошатываясь из стороны в сторону, он к ночи едва доплелся домой, оправдываясь, что всего-то по кружечке выпивал, но со всеми, ведь кругом — закадычные друзья, которым не откажешь, так что деньги опять исчезли.

Мария, которая в этот момент, распалясь, спорила с Густавом из-за того, как должна выглядеть кухня, — ей хотелось, чтобы там все блестело и сияло, а Густав предпочитал разложить все кругом как попало и оставить до завтра, — увидев Фридриха, крикнула: «Доставай костюм где хочешь. Если завтра утром ты не будешь стоять на пороге церкви в приличном костюме, никакой свадьбы не будет». Густав пробормотал что-то

вроде: «Вот что значит якшаться с попами» — и после этого долго вытирал красные капли с лица, потому что Мария в сердцах шмякнула большую поварешку в котел с борщом.

Фридрих развернулся кругом и чеканным шагом промаршировал в забегаловку штурмовиков, где у него тоже было полно друзей, там вошли в его положение и дали на время мундир штурмовика, в который он там же и облачился. В мундире он и переночевал, не снимая его, на диванчике у одного из приятелей, а утром, ровно в десять, явился в своем коричневом наряде к церкви Святого Иосифа и сказал Марии, которая уже ждала его там: «Вот мой новый костюм». В ответ Мария влепила ему такую затрещину, что бедный священник, который в этот момент как раз показался на пороге, перепугался и спросил, не это ли новобрачные. Фридрих, которому понятие «неловкая ситуация» было неведомо, тут же ответил: «Да», а Мария резко сказала: «Нет».

Положение спас добряк Герман, который артистическим прыжком вскочил на мотоцикл и через несколько минут уже вернулся, неся свой собственный черный костюм. Фридрих переоделся прямо в ризнице, священник дал ему еще и манишку, костюм и манишка не очень-то

гармонировали друг с другом, но в целом Фридрих выглядел теперь вполне сносно. Так или иначе, Мария готова была взять назад свое «нет» и вместе с Фридрихом войти в церковь, хотя Фэн тихонько нашептывала им на ухо: «Может, погодим с венчанием, а то Густав сидит дома с пистолетом наготове».

В церкви уже обосновалась гельзенкирхенская родня, молчаливая черная стайка людей, которые уныло и мрачно смотрели прямо перед собой; была там и сестра Марии Гертруд, которая после свадьбы намеревалась остаться в Дюссельдорфе и уже успела подозрительно близко сойтись с добряком Германом, а он в своем стремлении стать наконец добропорядочным буржуа уже близок был к тому, чтобы совершить решительный шаг, ведь он теперь, что называется, осел и все свои многочисленные делишки обделывал, сидя за окошечком почтового отделения. Элизабет не упустила возможности блеснуть в обществе и явилась в красном шелковом платье с глубоким декольте и в шляпе величиной с тележное колесо, на которой красовалась вызывающая шляпная булавка. Фэн была одета в черное платье, которое поочередно надевали все женщины их дома, когда шли на крестины, свадьбу, серебряную

свадьбу или похороны, никто не знал, кому оно, собственно, принадлежит, оно постоянно переходило из рук в руки, его подгоняли по фигуре и украшали соответственно случаю, на свадьбу — белым цветком, на похороны — траурной вуалью, и в таком виде, испещренное следами от швов из-за многочисленных подгонок то на полную, то на худую фигуру, было самым подходящим нарядом на любой случай. Мария, единственный человек, который принимал церковный обряд венчания всерьез, была в изящном темно-синем шелковом платье, слегка украшенном брюссельскими кружевами; прямая и сосредоточенная, стояла она в золотом сиянии алтарного света, ее темный силуэт напоминал облик Мадонны, она привлекала к себе все взоры и была центром всей церемонии.

Когда новобрачные, неся в руках картонку, в которую священник уложил мундир штурмовика, переступили порог гостиной, то увидели Густава, стоявшего посреди комнаты с пистолетом в руке, прямо под хрустальной люстрой. Он поднял пистолет, целясь во Фридриха и прищурив глаз, чтобы не промахнуться, Мария замерла, каждую секунду ожидая выстрела, Фэн, которая была в курсе всего спектакля и знала, что Густав не со-

бирается стрелять во Фридриха, но должен хоть раз выстрелить, чтобы поддержать свое реноме среди жителей Обербилка, спокойно подошла к Густаву, толкнула его руку вместе с пистолетом вверх, палец нажал на крючок, раздался выстрел, пуля угодила в люстру, отчего во всем доме случилось короткое замыкание и погас свет, Густав испугался больше всех, он сгорбился, стоя под градом хрустальных осколков, яростно швырнул пистолет о стену, наткнулся на стул, шина на его больной ноге сломалась, и теперь он, совершенно беспомощный, стоял на одной ноге, а из раны текла кровь.

Во всем доме выстрел восприняли как свадебный салют, как сигнал к началу свадебного пиршества, все двери квартир были распахнуты, всюду толпились люди, починяя перегоревшие провода, добряк Герман схватил скрипку, его брат уже раздвинул мехи аккордеона, призывно сверкнули перламутровые клавиши, добряк Герман, с чувством прижав пальцы к струнам, провел по ним смычком, его брат буквально слился с аккордеоном, корпус которого мгновенно раздулся вдвое, короче говоря, праздник начался, и его было уже не остановить.

Поскольку Фридрих танцевать не умел, Мария,

мгновенно выйдя из своего оцепенения, подхватила ничего не понимающую сестру Гертруд, и сестры закружились в буйном танце, стряхивая с себя пережитый испуг, прямо перед густой толпой людей, которые протискивались в комнаты, желая быть свидетелями происходящего, не важно, что это будет: смерть или свадьба.

На лестничных площадках тоже было полно людей, одни шли наверх, другие вниз, они заходили по ошибке в чужие квартиры, угощались там чашечкой кофе, а потом снова отправлялись на поиски праздничного стола, но никак не могли туда попасть, потому что встречным потоком их все время относило назад, а другие, наоборот, не могли никак выбраться из квартиры Густава, поток людей все время заталкивал их обратно. Биг Бен, который взялся следить за порядком, ведь сказано же было, что свадьба будет праздноваться «в узком семейном кругу», не мог справиться с потоком, и его все время относило стремниной то туда, то сюда. Кальмеской, проповедник Соломона, ухватился за дверной косяк и долго удерживался в этом положении с табличкой на груди, где написано было изречение этого дня: «Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть

и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них»; но в конце концов его тоже смыло общим потоком, поучительную табличку оторвало от проповедника бурной волной, изречение дня затанцевало поверх голов гостей, а сам проповедник потонул во всеобщем потопе. И только пан Козловский, привыкший перекрывать любой гомон своим зычным призывом: «Пиво для простого народа!» — уверенно пробивал себе дорогу, словно Моисей, неуклонно стремящийся к Красному морю, а за его спиной волны толпы вновь смыкались.

Вильгельмина, которая с годами сделалась значительно обширнее, возвышалась среди холодных закусок, как когда-то за своим прилавком, дела у нее хватало, потому что теперь уже собрались все. Полицейский Шмитц-Гранжан О'Фаолэн подходил к ней дважды, первый раз совершенно официально, в мундире, чтобы поздравить от имени полицейского участка, второй раз — тоже в мундире, но уже в частном порядке, чтобы отдать должное напиткам. Вампомочь, как всегда, жаловался, что цены на гробы опять подскочили, и с ужасом сообщал о том, что в моду все больше входят похороны в море, на корабле. Отец

Абрахам делился своими планами и рассказывал, что в ближайшее время напишет комментарий к законодательству, который упразднит все законы. Оба на всякий случай попросили бабушку Тинес погадать им по руке, чтобы узнать, от чего предостеречь молодоженов. Обронски и Болье написали и разучили свадебную пьесу, которую, не обращая ни на кого внимания, исполнили от начала до конца, и всеобщая суматоха их не смущала — как-никак, они были профессионалами.

Даже Густав снизошел до свадебной речи, начав с Андромеды и Плеяд, Кассиопеи и Магеллановых облаков, потом были упомянуты Геркулес, Цефей, Персей и Пегас, за ними — Лира и Щит, Корабль Аргонавтов и Волосы Вероники, от Северной и Южной Короны он перешел к Большой Медведице, потом — к Малой, за Медведицами последовали Псы, это была глубокомысленная речь о звездных системах и неподвижных звездах, о вечных законах и неумолимых орбитах, о механике звезд, которые вдалеке от земного шара ткут на небе свои неизменные узоры, видимые лишь тем, кто и днем смотрит на мир открытыми глазами, кому не приходится дожидаться наступления ночи. Кое-кто из гостей стал смутно припоминать, что, кажется, уже не раз слышал

похожий рассказ в планетарии, где Густав вел свои популярные экскурсии.

Заика Залем Баренбеек, который по утрам продавал цветы на рынке, а по вечерам показывал фокусы, приложил немало усилий, чтобы с цветами и подарками протиснуться к новобрачным. Всему городу было знакомо его знаменитое «Гладди-глади-гладиолусы» и «хри-хри-хризантемы», а сам он прекрасно знал цену своему заиканию: люди охотно покупали у него цветы, потому что им всегда нравится смеяться над недостатками других, «ту-ту-тупые ку-ку-курицы», — говорил Залем Баренбеек и, подмигивая, показывал глазами на свою кожаную суму, куда складывал дневную выручку. Его отец путешествовал по всему свету на парусных судах и научил его фокусам, которые собрал в разных странах мира, он раскрыл ему даже тайну индийской веревочки, и теперь по вечерам он показывал все эти фокусы на праздниках, юбилеях, посиделках и в клубах, и перед публикой его язык становился послушнее, он без запинки произносил: «Уважаемые дамы и господа!» — и потом два часа кряду все говорил, говорил — бегло и четко, каким-то ненатурально высоким голосом, а потом, за сценой, после выступления, снова начинал заикаться.

Приехал и Михаэль, двоюродный брат Марии, который по-прежнему, как он выразился, «занимался черной работой», но теперь уже не под землей, а исключительно на земле. Он женился на вдове трубочиста с четырьмя детьми, жил в Брюсселе, совсем забыл немецкий и почти ничего не мог сказать по-польски, зато кое-как говорил по-французски и общался со своей женой на какой-то невообразимой смеси языков, а жена была снова на шестом месяце, она всем приветливо кивала и в крайних случаях переходила на фламандский.

Из Базеля явился Жанно, он теперь был хозяином магазина бижутерии на Фрайештрассе; его жена, весь вид которой явно говорил о том, что Жанно женился на деньгах, но эти «деньги» являли собой абсолютную беспомощность, — итак, жена, маленькая серая мышка, скованная по рукам и ногам хорошим воспитанием и робкой предупредительностью, говорила всем только одно: «Экскюзе, мне не хотелось бы вам помешать».

Гельзенкирхенцы отвоевали себе целый угол, в котором обосновались, почтенные, радостные, но какие-то трагически торжественные и значительные, как, впрочем, и всегда. Обилие друзей и

знакомых было не по ним, в Гельзенкирхене свадьба считалась делом сугубо семейным, все, кто не входил в семейный клан, какими бы близкими друзьями они ни были, на свадьбу не допускались. Никогда семейная крепость не бывала так сильна, тверда и неприступна, как на свадьбах, крестинах и похоронах. А то, что происходило здесь, напоминало карнавал, и Марии еще доведется дожить до своей Пепельной среды.

Тем временем многие, совершенно не обращая внимания на свадебный разгул, карабкались вверх по лестницам, цепляясь за перила, забирались на чердак и, открыв люки на крышу, наблюдали за тем, что происходит внизу, на улице, кричали, махали кому-то, те, что внизу, ничего не понимали: это был тот самый момент, когда бойцы союза «Рот Фронт» призвали к сопротивлению, а штурмовики начали бить стекла, — развернулась открытая схватка, которой все давно опасались.

Перед расплывчатой панорамой Дюссельдорфа в комнате Густава суетился фотограф, самый знаменитый на всей Кельнерштрассе, единственный, кто явился на свадьбу во фраке, он тщетно пытался добиться порядка, который необходим был для свадебного фото, хватая каждого, кто

пробегал мимо и кто имел хоть какое-то отношение к жениху или к невесте, тащил его за рукав, сколько хватало сил, туда, где стоял на высоком штативе его фотографический ящик, покрытый черной тканью, указывал каждому его место, строго наказывая не шевелиться, ловил следующего, ставил его рядом, но, пока он ловил за ворот третьего, первые два уже убегали, и все начиналось сначала, а он, умудренный горьким опытом, пытался создать новую композицию, но все снова разбегались, или же в рядах начинались свары, поскольку прежние стояльцы, сходив за пивом, возвращались и начинали бороться за свои законные места, на которые был теперь поставлен кто-то другой.

И в тот самый момент, когда фотографу удалось добиться максимально возможного порядка среди всего этого беспорядка, в тот момент, когда хаос, как пестрая картинка в калейдоскопе, на секунду замер, остановился, начал излучать завершенность, надежность и веру в вечные семейные ценности, а фотограф с облегчением взялся за спусковой тросик, — в этот момент появился заика с полным ужаса лицом, он попытался что-то сказать, но губы его не слушались, слова не хотели слетать с языка, и пока глаза всех

стоящих перед фотоаппаратом все сосредоточеннее смотрели на губы заики, пока беспечность превращалась в любопытство, смех — в боязливое замешательство, передавшееся им от заики, все тело которого корчилось и ежилось от чудовищного усилия что-то сказать, выдавить из себя слова, и он уже почти задыхался от застрявших в горле, спотыкающихся слов, а люди, вместо того чтобы смотреть в объектив, уже не отрываясь смотрели на заику, судорожно замерев в парализующей их тишине, — в этот момент заика, наконец сделав последнее усилие, закричал своим ненатуральным, высоким голосом фокусника: «Уважаемые дамы и господа! Господин советник медицины доктор Леви повесился». Фотограф вздрогнул, дернул тросик, и фотографический аппарат запечатлел картину, на которой группа людей с полными ужаса глазами смотрит на что-то невидимое за его спиной, словно каждый из них в этот момент увидел будущее.